

А. ЯКУБОВСКИЙ
НИВЛЯНСКИЙ
БЫК

А. ЯКУБОВСКИЙ

НИВЛЯНСКИЙ БЫК

Я $\frac{70302-165}{078(02)-79}$ 151—79. 4702010200



ЗЕМЛЯНИКА В СНЕГУ



ЧЕТВЕРО

В этой повести нет преувеличений. Оглянитесь — город полнится брошенными животными; спросите егерей и лесников — в пригородных лесах появляются собачьи стаи. Я видел их сам... Но, чтобы не быть голословным, сошлюсь на журнал, уважаемый всеми охотниками, к которым я, по давней привычке, еще отношу и себя.

Я беру журнал «Охотник» № 9 за 1971 год. Вот данные работников Балхашской экспедиции ВНИИОЗ: в угодьях Прибалхашья держится около двух тысяч собак. Они охотятся стаей даже на кабанов. А это сильный и жестокий зверь.

Встречали стаи по десять-двенадцать собак в алтайских степях.

Старший наблюдатель Хоперского заповедника сообщает: зимой 1967/68 года собаки задрали двадцать четыре оленя, а волки всего трех! Он растил диких щенят — нашел их, и они выросли недоверчивыми, злобными. Это показало, что домашняя собака вполне может одичать. Как дикая одомашниться.

Уже отмечено появление помесей волков и собак. Живут в лесах и собаки, вовсе не знавшие человека. Но в большинстве случаев они брошены — в Прибалхашье ли, в степях ли Алтая, на землях Хоперского заповедника.

Это настрадавшиеся, озлобившиеся, «поумневшие» звери. Их любовь не востребовал человек, он пренебрег их преданностью.

Как же так получается? Зверь этот шел бок о бок с человеком из тьмы истории. Можно утверждать, что без помощи собаки человек не стал бы хозяином природы.

Отчего мы иногда видим свирепое отношение к ней? Я попытался в повести ответить на эти вопросы.

1

Когда темнеет небо и всюду зажигаются огни, приходит Час стариков. Приходит раз в сутки, на границе ночи.

Вот стрелки часов движутся к десяти вечера, к одиннадцати, а вся жизнь — к ночному сну, чтобы утром начаться снова. Свет из окон желтит верхушки тополей, небо еще сохраняет голубизну — пятнами.

И загораются огни на телевизионной башне, вспыхивает ранняя звезда. Красная. Дрожащая.

И выбегают на ночные вольные прогулки собаки и кошки, а старики становятся бодрыми. Жизненная их усталость, что портила стариковский день, сменяется бодростью.

В промежутке между десятью часами вечера и двенадцатью ночи старики почти молоды.

И если им есть где собраться и припасено варенья, то старики собираются. Они пьют чай и рассуждают о разных случаях жизни.

Говорят о том, что ушло, что есть, что любят. А ста-

рики еще очень способны любить — детей, внуков, чай, варенье, ночные туфли, солнце...

К середине августа 197... года сибирское лето уже повернуло к осени, и в лесах по-осеннему токовали глухари. Было одиннадцать вечера. Луна сияла, роняя красные тени. Алексин угощал Иванова. Старики были на пенсии уже лет по шести-семи, когда-то работали инженерами и слыли горячими охотниками. Ушли на пенсию. Иванов еще сохранил немалые силы: охотился, держал собаку. А вот Алексин силы неразумно потратил и теперь пытался вернуть их, занимаясь садоводством. Он копал, окучивал, прищипывал.

Жена Алексина расставила перед ними блюдечки с вареньем полутора десятка сортов: двух сортов вишни, черноплодной рябины, облепихи, пяти сортов смородины, шести — яблок. Но Иванову больше нравилось плодовое вино, что Алексин производил сам из яблок-падунков и белой смородины.

Старики рассуждали о прошлой охоте, о собаках, о великолепных старинных ружьях. Говорили о ружьях с различно устроенными стволами, вспоминали и складывающиеся — пополам! — двустволки. Германские.

Они наливали чай (или вино) и говорили об умерших собаках, какие они были чутьистые. Не нынешние, нет, куда им!..

— Слушай, друже, — вдруг сказал Иванов, потягивая кисленькое, даже глаза сводило, вино. — Почти даром отдается Гай.

— Какой такой Гай?

Алексин зацепил ложечку красносмородинового варенья.

Он поднял эту ложечку, чтобы лампа уронила на него свет, и залюбовался — рубин! Хоть в лазер его вставляй.

Подумав о лазере и отдав этим долг современности, Алексин проследил путь ягод из земли, сквозь корни

к ягодным кисточкам. Их же так сильно, так по-сибирски грело солнце. Оно вогнало в них невыразимо красный цвет.

Словом, Алексин замечтался.

— Будто не знаешь, — сказал Иванов, отхлебнув еще глоток и закусив хлебом с кусочком сыра в частых дырочках.

— От Цезаря Камышина и Цыганки Суслова?

— Он самый.

— Линия черных пойнтеров?

Алексин съел варенье и запил его чаем. И взволновался, так как любил именно черных пойнтеров, считая их лучшими собаками для охоты с ружьем.

— Черный пойнтер!..

Он встал и заходил по комнате — мог думать только на ходу. Он семенил, шаркая туфлями, подтягивая брюки. Память же его работала, пробегая долгий ряд предков черного пойнтера Гая, который отдается даром.

— Сколько ему лет? — спросил Алексин. Иванов начал припоминать, связывая возраст собаки с памятными датами. Но мешало выпитое вино.

— Он родился... значит... после того, как я у Кондакова перекупил трехстволку фирмы Гейма. Значит... Сейчас Гаю восемь месяцев.

— А я вспомнил родословную Гая. У него в жилах кровь чемпионов Хэндсон-Ара, чемпиона Хэндсон-Глэдис. У него в крови гены Джонни-Холинда Первого. Помнишь, тот самый, что разбился на охоте. Обо что он разбился?

— Набежал на пень в траве, — пояснил Иванов. — На полном ходу. А бежал километров сорок в час!.. Искал он тетеревов, поле было ровное, широкое, пустое, и вдруг обгорелый пень.

— Черный пойнтер, с огромной страстью к охоте... Отлично, я его возьму!

— Но зачем? — изумился Иванов.

— Охотиться!

Алексин остановился, схватив лацканы пиджака, будто вожжи.

— Тпру-у... — засмеялся Иванов. — Купишь? Да ты же не охотишься. Или забыл?

— Так коего черта он его продает? — спросил Алексин.

— Ну, во первых строках, владелец Гая — начинающий охотник, ничего не понимает в собаках и неумеха. Кроме того, грызет его жена — продай. Дом их сносят, дают квартиру. Отсюда и нападения жены: не хочет пускать собаку в новую, «с иголочки», квартиру.

— Надо перекупить собаку, иначе попадет в скверные руки — к воскресному охотнику. Или пижону. Родословная-то какая! А будет валяться по диванам, пропадет ее талант.

— Ее берет начальник стройтреста, — сказал Иванов, — занятый выше головы человек. Ты прав, пропадет собака!

— Сообразим! Черный пойнтер, в потенциале замечательный пес, ему угрожает диван... — бормотал Алексин.

— Из-под него можно бить зайцев на лежке, — вставил Иванов. Но Алексин не одобрял этой охоты.

— Молчи! Я собаку брать не могу, ты брать не можешь. Кто у нас в городе отличный собачей?

— Сам знаешь, у нас утятники да зайчатники. Им лаек подавай.

— А сколько он просит?

— Сотню.

— Слушай, возьмем пополам? А? Ты его натаскаешь, и мы продадим его неторопливо, с выбором, в хорошие руки.

Алексин сел и успокоился. Хорошо придумано — купить собаку пополам.

Иванов же завозился — стул вдруг стал чертовски неудобным. Хорошо Алексину кидать деньги, у него сад. Если продаст пуд-второй яблок, то и оправдает собаку. А что станет делать он, Иванов? Пенсия железно и по копейкам распределена.

— Не могу, супруга восстанет.

— Ладно, я плачу, — решил Алексин. — Подержу его до лета, а ты натаскаешь. Лады?

— Друже, если так... — Иванов перевел задержанное дыхание, — если так, я твой с потрохами, руками, ногами. Плесни-ка еще кислятинки... А цену мы собьем, будь уверен, и начальника я отважу.

2

— Продаешь щенка? — спрашивал Иванов мужчину. И осматривался.

Да, комнатка и мала и неудобна. Давно пора дать молодым людям что-то получше этой узенькой комнаты с печуркой, топящейся углем, с баком воды, поставленным в угол.

Это хорошо, что дают новое жилье. Плохо — это событие уводит из их жизни замечательную собаку.

— Жена грызет, — шепотом отвечал владелец собаки, мотая головой, большой и лысоватой. Тосковал, это видно; молод, но рыхлый какой-то.

— А ну покажь ее.

Хозяин вышел — он на время сборов и увязывания всего в узлы держал Гая в сараюшке. Жена его, высокая, с распущенными волосами, презрительно глядела на Иванова. Тот угадывал ее мысли: «Как не стыдно быть таким старым и красноносым. Неужели мой Петя (Коля, Ваня или Саша) станет когда-нибудь таким же?»

Дешево собаку она уступать не собиралась — трат

предстояло множество, а собака была с родословным древом. Но богатый покупатель уже отказался по телефону.

— Это редкая собака, — сказала она Иванову. — Много на нее охотников.

«Ври, голубушка», — думал Иванов. Он прикидывал, что будет дальше. Если это «дальше» представлялось даме с распущенными волосами в виде получения за собаку пачки денег, которые уйдут на наем грузовика, на перевозку вещей, то Иванов знал его гораздо точнее.

Он знал, что примерно через десять минут сюда придет Алексин и станет дико критиковать собаку, бегая и размахивая при этом руками.

Они будут делать вид, что незнакомы. Иванов махнет рукой на собаку, Алексин тоже махнет. Так они собьют цену со ста запрошенных рублей до пятидесяти: столько денег было у Алексина.

Петя или Саша привел собаку. Вел, отворачиваясь, ему было стыдно.

Иванов откинулся в кресле. Он рассматривал щенка, старался провидеть, что же получится в конце концов из этого подростка, в котором сейчас все не так. И хвост его слишком длинный, и лапы кривые. Что поделаешь: растет.

Но родословная щенка прекрасна, нос широко распахнут всем на свете запахам, морда объемиста. Значит, обонятельные нервы развиты в мощные образования, проводящие запахи из ноздрей в мозг.

Голова щенка широка и выпукла, а глаза веселые, с юмором. И стало Иванову жаль свою молодость, захотелось схватить собаку за поводок и удрать с ней домой.

Вот бы Алексин ахнул! Но щенок, кажется, скуласт. Не злобен ли он?

Пришел Алексин и спросил сквозь двери о собаке.

Красивая жена радостно улыбнулась, а Гена или Ваня сильнее затосковал.

— Здравствуйте! — входя, Алексин впился взглядом в щенка. — Этого уродца продаете?

— Почему же уродца? — обиделся хозяин.

— У него зубы редкие и неправильные.

Алексин схватил щенка. С ловкостью многократного собачьего судьи приподнял ему губы, открыв щенячьи, неровные зубы. «Однако же ловок», — рассердился Иванов. Но следовало работать по созданному плану.

— Мне что-то разонравились его зубы, — сказал он. — Ста рублей он не стоит. Он и двадцати рублей не стоит.

— Или купить кота в мешке? — задумчиво протянул Алексин.

— Он не кот, а собака, — сказала жена. — Вы на родословную смотрите.

— Я, милая, покупаю собаку, а не бумагу.

Но все же Алексин взял родословную Гая и стал читать, презрительно фыркая носом. Хотя он мог немало порассказать глупому хозяину о далеких предках Гая, что были записаны еще в английском Кинель-Клубе — шествие этой семьи пойнтеров в Россию началось из Англии.

Но Алексин не стал рассказывать. Наоборот, все силы он употребил на презрительное фыркание и сокрытие блеска глаз. Он был готов отдать и сто рублей. Иванов приметил это и пожалел деньги приятеля.

Он встал и очень строго посмотрел на Гая. Щенок заворчал.

— Собака будет злобная, — сказал Иванов строго. — И это еще не собака, а щенок. Он кое-что обещает, не спорю. Но все мы многое обещали в молодости и не выполнили обещанное в зрелые годы. Даю двадцать!

— Тридцать рублей! — сказал опомнившийся Алексин.

— Восемьдесят! — сказала жена.

Столковались на пятидесяти пяти рублях, и хозяева дали в придачу два ошейника, простой и парадный, с заклепками. Отдали поводок и отличного качества плеть.

— Вот-вот, — сказал Алексин, сворачивая ее и кладя в карман. — Плеточку-то вы не забыли приобрести.

Так черный пойнтер восьми месяцев от роду, по кличке Гай, потерял свой первый дом и обрел второй, временный — можно было считать его полубездомным.

Старики поспешили увести собаку.

Они вели Гая суетящимся, кипящим, готовящимся к переезду двором. Вдруг Алексин остановился.

— Слушай, — сказал он Иванову, дергая тянущего назад щенка. — Дом мне знаком. Почему?

— Еще бы, — сказал Иванов. — Ты же его и строил. А с покупочкой тебя, приобрел верхочута. Надо сбрызнуть покупку. Ставишь коньяк? А?

Но Алексин увильнул от прямого ответа.

— Начинаю вспоминать дом, — сообщил он Иванову.

Старики остановились и наблюдали суету жильцов, как при пожаре тащивших все из комнат. Несли чемоданы, узлы, фикусы в кадках, тащили пианино вчетвером, кряхтя и ругаясь.

Дом переселялся.

3

Там, где быть новым кварталам, вначале убирают старые дома. Ломают их.

Они еще стоят, щелястые и темные, в них живут.

Но в планах города эти дома уже мертвы. Их метят, ставят белилами номер дома, не тот, что он носил живым, а номер дома, обреченного смерти. А если у рабочих нет белил, то номер пишут черной краской: топором стесывают крошащееся старое бревно и пишут.

Затем уезжают владельцы. Если дом небольшой, то отъезд их малозаметен. Придет грузовик, в нем приедут грузчики. Они станут говорить хозяевам, как и что выносить и поднимать. И сами помогут.

Но если дом был старым общежитием, то отъезд из него суматошлив: гудят машины, бегают люди, старики тащат доедаемую жучками мебель, а им кричат вслед великовозрастные дети, что надо ее нести не к машине, а на свалку.

Остановится старик, держа крепкий еще стул или ящик, вынутый из пузатого комода. «Как же так, — думает он. — Это выбросить? Я его Лизавете, жене, дарил».

...Испуганные, улетают воробьи, что жили за наличниками окон, и голуби, ходившие по латаной крыше.

Сбегают мыши, что жили во множестве нор, прорытых всюду, в подполье и в рыхлых стенах дома.

Уползают пауки, двухвостки, косиножки. Но эти уходят последними, когда бульдозеры упирают плоские лбы в стены дома и начинают подталкивать его.

Стены трескаются, падают доски, рушатся потолки, поднимая вверх клубы известковой пыли, светлой и едкой, от которой свербит в носу и жжет горло.

Затем пыль садится. И видно, что дома нет, а лежит куча бревен и досок. Воет чья-то собака. Но лишь ночью приходят к бывшему дому — прощаться! — жившие в нем кошки.

Собака, та привязана к человеку, а кошка любит сам дом.

Вспугнутые суетой, то и дело к Гаю подбегали нюхаться знакомые собаки, чувствуя перемену в своей и его судьбе.

Приходил щенок такой окраски, будто его шили из разных лоскутков: белых, черных и рыжих; подбегала нервная рыжая собака, сухонькая и дрожащая. Кряхтя, подходил пес лет десяти-двенадцати, бело-рябый и без намека на породу, но с чертами всех на свете собачьих пород. И если к нему внимательно присмотреться, то можно было увидеть в его приспущенных ушах признаки легавой, в низком туловище кровь такс, а в широкой груди узнать дога.

И морда его была широкая и длинная. Это доказывало, что старик не обделен чутьем. Но беспородная собака.

«Сорная», — думалось Иванову.

Пес сел рядом и стал вздыхать. Он вздыхал глубоко и долго, и стало ясно, что просто тяжело дышал.

Дом стремительно пустел. Звенели выбитые стекла, трещали наличники окон (многие пытались просунуть в окно шкаф или стол).

Являлась на белый свет мебель, которой пришла пора исчезнуть либо на свалке, либо в квартире любителя старых предметов.

Хохочущие молодые люди вывалили из окна старинное резное бюро и превратили его в щепки и рыжую труху.

Да, Алексин узнал дом... Когда в двадцатые годы он вернулся смертельно усталый после гражданской войны, ему грезилась тихая работа садовода в городском парке, ибо воображал он себе Коммунистический город в виде прекраснейшего сада из красивых деревьев (включая и пальмы).

Но потребность была в строителях, чтобы дать жилье созидателям абсолютно новой жизни на земле. Тогда-то и родились эти дома в два этажа, построен-

ные бог знает из чего, но простоявшие половину столетия.

— Сады? Нет, брат, будь строителем! — велел Глухов, их отрядный комиссар, теперь сидевший в горкоме. Сказал громко — еще не отвык командовать. Алексин возразил, и Глухов обрушился на него.

— Что? Способностей нет! — закричал он. — Ты их поищи, поищи и найди!

Алексин еще не отвык подчиняться, — способности к строительству нашлись. Надо было брать знания и опыт.

Первые месяцы Алексин просидел чертежником-копировщиком. Потея ночами над учебниками, он через три месяца стал конструктором домов и принес немалую экономию городу, изобретя деревянные шпингалеты для окон, что сберегало металл. Но проектирование и надежное строительство домов!.. Год пришлось вгрызаться в учебники.

Неизвестно, одолел ли бы он их, но Глухов поговорил с Ивановым, желавшим в мирной жизни рисовать пейзажи, и они потели над книгами вдвоем. А через год уже ставили первые здания.

Начали с проекта театра оперы и балета и небоскреба в триста с чем-то этажей. Глухов театр и небоскреб одобрил, но обратил их, то есть Алексина и Иванова, просвещенное внимание (так и сказал — «просвещенное») на острую нехватку жилья. И кинул идею двухэтажных домов-общежитий.

— А небоскребы у нас, голуби мои, развалятся: ни опыта, ни материалов добрых нету.

Да, с материалами было не то чтобы плохо, а невыносимо. Не хватало кирпича, ограничивали в дереве: оно было валютой, нужной для покупки новых станков. Зато в изобилии давали опилки, горбыли и сколько угодно замечательной, превосходнейшей глины. Ее брали в городском овраге.

— Хоть ешь ее! А цемент бо-ольшой дефицит, — говорил Глухов. — Обойдитесь глиной.

Обошлись. Но работать кое-как Алексин не умел и не хотел.

Он разработал проект двухэтажного дома на двадцать однокомнатных квартир. Алексин был немного изобретатель и философ. Он рассуждал так: города в парках — это недалекое, но все же Будущее. Оно — впереди. А сейчас нужно глядеть на дома, как на машины для житья.

Да и кто знает, как все обернется? Вот и Чемберлен грозит, и Германия замахивается. Значит, дома должны иметь запас прочности. Где его взять? А вот где: можно сделать наружную обшивку этаким прочным внешним скелетом дома. Пример — хитиновый панцирь жука.

И произошло техническое чудо: гибли по старинке поставленные добротные дома, а алексинские щепки (так дразнили их) стояли.

Он сказал, что хочет смотреть, как будут ломать дом.

Иванов ответил:

— Наплачутся с ним... Пойдем-ка домой. Гай, пошли.

...Чай в этот вечер они пили дольше обыкновенного: Иванов опробовал пятнадцать сортов варенья, а Алексин хлебнул винца.

Скулил Гай тоненьким голоском.

А к брошенному дому двое парней в это время несли канистру с бензином.

— Во будет фейерверк! — говорили они.

Часов в двенадцать ночи Алексин пошел проводить Иванова. Выйдя на улицу, они обратили внимание на странное красноватое небо.

Оно было цвета сажи, перемешанной с клюквенным киселем. Пахло гарью.

— Что это? — удивился Иванов.

— Я бы сказал, что это пожар, но звуков не слышно.

— Айда до дома! — вдруг предложил Иванов. И точно, горел их дом. Должно быть, его поджег рассерженный бульдозерист.

Это был странный пожар — без людей, без пожарных машин: огонь не угрожал никому и ничему.

Пламя ревело, то и дело взлетали искры, мелькали над домом летучие мыши, бросая огромно-черные, бегучие тени. И было далеко видно, как светились глаза ночных кошек, пришедших смотреть на пожар.

Веяло сухим жаром. Три собаки сонно жмурились на огонь: пестрый щенок, рыжая собака и старый белый пес.

Сгорев, дом рухнул, и старики пошли прочь. За ними увязались все три собаки. Алексин нашел конфеты в кармане и бросил их. Но собаки не брали конфеты, а шли за ними.

Шел, смущаясь, пестрый щенок, ковылял грузный белый пес. В стороне бежала рыжая собака, диковатая. Бежала боком, словно готовясь укусить и тотчас отпрыгнуть.

— Бросили вас, — сказал им Алексин и повернулся к Иванову. — Вот чего я не пойму: живем мы сытно, а дома призрения для брошенных животных открыть не соберемся.

— Тоже придумал, — заворчал Иванов. — Дома призрения... Говори — для беспризорных, и все!

Он зазвал собак к себе и вынес им еду — колбасу, залежавшуюся в холодильнике, старый желтый творог,

хлеб и сахар. Потом долго стоял у окна, глядя, как уходит ночь, а собачья троица, понурясь, не ест, а сидит во дворе и ждет его слова.

Что он мог сказать? Что сделать?

Он лег спать, но сон не шел. Иванов ворочался, долго скрипел пружинами: нет сна! Тогда он встал и ушел пить чай на кухню. К нему явился, неся в зубах свою подстилку, Том, его гладкий и толстый пойнтер.

— Буржуй! — обругал его Иванов.

Так в день отъезда и пожара к бегавшим по улицам города кошкам и собакам прибавились еще бездомные кошки и собаки. Некоторых кошек взяли люди, а судьба трех собак получила необычное развитие. Тому виной были сибирские леса, обступавшие город, теплая зима, летевшая в Сибирь на ветрах Атлантики, да парни.

Черный щенок Гай, наплакавшись, спал у двери.

А по улицам метались три собаки. Одна из них была пестрым смешным щенком. Его хозяева торопливо уехали в то время, когда он бегал на улице, обнюхивая все, что нюхают на улице щенята: заборы, камни, окурки, кошек, сумки, ноги...

Рыжая Стрелка... Ее отказался брать зять старухи Александры Ивановны, что годы растила собаку. Желание тихих отношений в доме заставило ее бросить собаку.

Третьим брошенным, знакомым Гая, был пес Антон. Его держали в знак памяти об умершем отце. Дома он только спал, проводя остальное время во дворе или коридоре.

Когда его оставили, уехав на машине, он не стал гнаться и лаять.

— Видишь, — сказал муж. — Не очень-то мы ему нужны.

— Может, его подберет хороший человек, — ответила жена.

4

Когда подожгли дом, щенок дремал. Он слышал шаги тех, кто поджигал, и сквозь сон повилял им хвостом. Заскулил.

Это был добрый щенок. Он не имел имени, хозяин звал его просто Щен. Он был сыт: последний уезжающий вынул из холодильника кусок языковой колбасы. И пока рабочие поднимали его холодильник на машину, хозяин ходил по двору и смотрел, кому отдать колбасу. К нему-то и стал подползать на брюхе, повизгивая, щенок.

Он был в пыли, с мокрыми дорожками у глаз.

Уезжавший сунул колбасу щенку. И был рад — не пропала.

— Ты бы собаку не бросал, хозяин, — сказал грузчик. — Нехорошо.

— Не моя она, — ответил тот. — Чужая.

Машина ушла, рыча и пуская газы, а щенок съел эту очень вкусную колбасу. Затем послышался ужасный грохот — пришел и начал работать бульдозер.

Щенок убежал в палисадник и сидел под кленом. Около стояли два парня лет по пятнадцати, с волосами до плеч. Они курили, сплевывая, лениво переговариваясь о том, как надо ломать старые дома и на каком по счету толчке этот дом упадет.

— Румпель! — говорил один. — Спорю! Двадцать первый толчок свалит с ног эту халупу.

— Нет, Толик, десятый, — сказал носатый Володька по прозвищу Румпель.

К ним подошли двое Сережек — Окатов и Кутин.

— Даю три бумажки, если на двадцать четвертом толчке, — предлагал Окатов. Но с ним не спорили, боялись: чужие деньги он брал, а отдавать свои не торопился. А если попросить, молчал и улыбался. Но улыбка его узкого лица была странной. Как говорили в

классе девчонки, у него не глаза, а холодные стекляшки.

— Ставлю пять, если дом исчезнет раньше завтрашнего дня, — сказал он после пятьдесят пятого удара, когда бульдозерист махнул на дом рукой и задумался, не уйти ли ему, а сломать дом завтра.

— Согласен! — сказал Румпель.

— Разбейте! А деньги?

— Предки дают на химнабор.

Когда бульдозер ушел, щенок устроился спать под домом. И все прислушивался, не позовут ли его. Но слышал только шуршание и стуки опадавшей штукатурки. Затем прибежала Стрелка. Учуяв запах съеденной колбасы, она лизнула щенка. Прошел мимо, раскачиваясь, старый белый пес. Он вздыхал на ходу. А часов в двенадцать ночи к углу дома подошли Сережки. Они несли канистру бензина.

— Плакала Румпелева пятерка! — хихикнул Кутин. Окатов промолчал. Они прошли в дом. Вскоре невыносимая вонь бензина обожгла ноздри щенка и прогнала его на другую сторону улицы.

Там он сел. Фыркая, продувал нос и дивился на странное явление — дом осветился. В нижнем этаже окна стали красными, будто глаза страшного зверя, что снится иногда. Они смотрели на него, помаргивая. Страх!

Щенок прижался к земле и заскулил. Земля была холодная-холодная.

Стали краснеть, и моргать, и плеваться искрами и другие окна дома. И вдруг дом высунул из окон красные языки и стал ими облизываться. От него несло сухим теплом.

Щенок замерз. Он пошел навстречу теплу. Подошел и сел. Снова взлетели искры — рухнула балка. Щенок

завизжал и кинулся вдоль улицы. Но красное не гналось за ним. Когда он снова вернулся к горевшему дому — там уже сидели рыжая собака и белый пес. Затем подошли и стали разговаривать два старика. Они увели их всех троих. Но домой не взяли, пришлось спать в подъезде, на кирпичах.

Утром щенок бегал смотреть дом. Но его не было, а только скверно пахло и на его месте лежала сухая черная грязь.

Щенок убежал в чей-то сад. Там, забыв и дом и хозяев, он долго гонялся за стрекозой и не поймал ее. Но вышла из дома кошка. Она зашипела на него, оцарапала нос и прогнала.

На улице его часто останавливали люди, говоря друг другу, какой он смешной, даже удивительно. Они давали конфеты и пирожки, но с собой не брали.

Один человек присел к нему — щенок тотчас лег на спину. Сначала тот почесал голый живот щенка, а затем прижег огоньком сигареты. Потом он хохотал над людьми, которые собрались и ругали его. Даже упал на спину. И тут же заснул. Боль ожога была сильная, щенок бежал от нее и не мог убежать.

Теперь он жил в палисадниках, кормился тем, что ему давали.

Щенок стал грязен, длинная пестрая его шерсть свалялась. Щенка ожидала бы участь всех неприятного вида существ, но он имел веселый характер и был умен.

Довольно быстро он научился определять добрых людей и смело доверялся им.

Он нашел место, где мог спокойно жить. Теперь ночевать он ходил не в палисадники, а на склад пустой тары: познакомился со сторожами этого склада, людьми достойными, молчаливыми, сдержанными. Они не ласкали его, кормили только хлебом, зато и не обижали и часто разговаривали с ним.

— Вот, брат Пестрый, ты вроде бы беспризорник, —

говорил ему моложавый старик с бородой. — Как после гражданской войны.

— Беспорядок это — гнать живое существо, — замечал другой, морщинистый, бритый.

Спал Пестрый в огромной куче древесных стружек и опилок, пахших скипидаром, питался в кафе, где ему давали остатки. Играл с такими же бездомными и грязными собаками.

Он искал хозяев. Однажды Пестрый обходил рынок, нюхая мусорные ящики. И вдруг взял чутьем след хозяйки. И пошел-пошел по ее следу, а там и побежал.

След пах восхитительно. Он бежал, опустив нос к земле, и чуть не попал под машину. Пестрому сильно повезло: хозяйка купила полную сумку яиц и не рискнула с ними садиться в автобус, понесла их пешком.

Новый дом был недалеко, и щенок выследил хозяйку до дверей. Повизгивая, захотел войти в них, даже царапался. Но дверь оставалась закрытой.

Щенок скулил тонко и долго, но его не пускали.

Пестрый щенок вышел во двор.

Задрав голову, увидел на балконе мужчину в красной майке. Хозяина! Тот стоял и смотрел на него.

День был с северным ветерком, холодный. Но мужчина в одной красной майке ел красный и большой помидор. Он откусывал и лениво жевал.

— Нашел-таки, паскуда? — спросил он щенка.

Тот завертелся, виляя хвостиком· да, да, нашел, теперь все будет хорошо.

Он улыбался, ерзал, скулил, просясь в дом. Даже подпрыгивал — сидя! — показывал, что готов бежать к двери.

— Посуди сам, — рассудительно говорил ему мужчина, — на что мне ты? Вид у тебя безобразный, породы никакой, шерсть линючая. И раньше брать тебя не следовало. Ты моя ошибка.

— М-мм-м, — скулил внизу щенок. — М-мм-м!

— И тебе лишние переживания, и квартиру ты не украсишь. Но делать, видно, нечего.

Мужчина доел помидор и вышел во двор. Щенок бросился к нему в ноги. Припал.

— Ну и грязи же на тебе, — холодно сказал мужчина и толкнул щенка ногой. — И пользы никакой.

Он огляделся, не смотрит ли кто. Затем поднял ногу, прицелился и так поддал, что щенок взлетел и описал полукруг в воздухе. Перелетев штакетник, он упал в глину.

Его охватил страх. Щенок вскочил, крича, и побежал по улице.

— Вот и с плеч долой, — угрюмо пробасил мужчина.

— А и сволочь же ты, — сказал кто-то сверху. Мужчина в майке быстро поднял голову, оглядывая окна, и никого не увидел в них. Он пошел к двери подъезда, но упало мокрое на голову. Мужчина провел ладонью по волосам — плевок! В него плюнули! Кровь бросилась в голову. Он стал красен, как съеденный им помидор.

— Трус! Выходи! — заорал мужчина. Никто не вышел. Мужчина прошел к себе и в ванной долго мыл голову хозяйственным едким мылом.

Утром, когда он вышел на балкон поразмяться двухпудовой гирей, нашел дохлую крысу. Большую, мерзкую, сдохшую давно.

К ней привязана веревочка. Понятно, ее закинули на балкон. И тогда он напугался. Понял, его ненавидят мальчишки. А уж они найдут способ отравить ему жизнь. Их память крепка, прощать они не умеют.

Он сбросил крысу с балкона.

— Но ругался-то взрослый, — ворчал он. — У-у, проклятые...

Внизу разгорелся скандал.

— Кто мне гадость бросил? — визгливо кричала дворничиха.

— Дядя в красной майке, — пояснил тонкоголосый мальчишка.

— Эй ты! — визжала глупая дворничиха. — Ты, который в красной майке и живешь на втором этаже! Выходи! Погляди! Люди, да что же это? Дохлых крыс бросают!

Жена его вышла и поглядела с балкона: дворничиха держала крысу брезгливо, зацепив ее щеткой.

— Это тебя зовут, — сказала, вернувшись, жена. — Возьми совок и выброси ее в мусорный ящик.

Но следующим утром крыса снова была на их балконе. Она разбудила мужчину своим запахом на рассвете. Пришлось ее завернуть в газету и далеко унести, и закопать поглубже!

Пестрый щенок, перелетев кучу глины, бросился бежать. Со всех ног.

Он был неуклюж, еще толстоват, но бежал стремительно, взвизгивая на бегу.

Болел зашибленный точным пинком бок. Жгло нос, которым он ткнулся в кучу твердой глины. Но у киоска его вдруг угостили недоеденным пирожком, в другом месте он нашел мороженое. Кто-то уронил, и мороженое клевали воробьи. Лакомились! Щенок прогнал их и стал лизать сам. Даже пинок ногой забыл — так было вкусно!

Съев мороженое, щенок подумал и съел бумажку. Затем убежал на склад.

Там сидел сторож, тот, что постарше, в облаке вкуснейших запахов. Он готовился есть: вынул из сумки хлеб и помидоры, достал кусок вареного мяса и тонко порезал его ножом. Затем вынул из кармана челюсть, завернутую в носовой платок, отвернулся от щенка и вставил ее в рот. Постучал зубами — держится! И стал есть мясо.

Щенок подсел сбоку, заглядывая в рот. Старик жевал мясо и ворчал: оно было недоваренным, жестким. В конце концов он дал его щенку, сам же ел помидоры с хлебом: обмакивал в соль, перемешанную с черным перцем, и жевал. Неторопливо.

— Так и жить будем, — говорил щенку. — Впереди, конечно, суровая зима, но этим не смущайся. Пока я здесь, еда и жилье у тебя будет. А что с тобой случилось, это я понимаю. Но свет не без добрых людей, проживешь...

5

Стрелка чувствовала себя одинокой, но не очень тосковала. Ее и маленькой часто гнали из дому. Она привыкла и к ремню, и к щелчкам пальцем по носу: зять хозяйки не любил ее.

Когда грузили машину, Стрелка угадала податливость хозяйки: старушка покормила ее жареной картошкой и двумя котлетами, всхлипнула, пообещала найти.

И толкнула к двери — ступай!

Стрелка ушла. И раньше ей приходилось часто убегать: она живала бездомной по два-три дня. Потом ее снова впускали.

Она бывала даже в лесу.

Стрелка не голодала. На рассвете она обегала город и успевала сытно поесть: многие люди поздно вечером бросали из окна кости и хлеб.

Стрелка знала наперечет все богатые мусорные ящики в городе.

Она ловила голубей, чрезвычайно ловко прыгая на них: была легка на ногу, пружиниста, зверовата в движениях. В ней было много дикого, в ее маленькой сухой голове, в черной, будто обугленной, морде.

Дикое просвечивало и в ее выпученных карих гла-

зах — она боялась рук человека и не верила им. Потому ее редко угощали. Только однажды она сытно, даже брюхо отвисло, поужинала колбасой в компании с человеком, который не решался идти домой.

— Жена моя тигр, а жизнь погублена, — плакал он. — Ты ешь, а я еще приложусь. — И пил из бутылки, вынимая ее из кармана.

Он давал Стрелке колбасу, отрезая по маленькому кусочку, чтобы она слушала его исповедь до конца. Стрелка просидела с ним ночь, а утром проводила домой.

Она шла, глухо надеясь, что ее позовут в дом. Но человек и сам шел шаткой, неуверенной походкой. Должно быть, от страха.

Так поняла его Стрелка и убежала спать в одно известное ей место. Было оно среди брошенных строителями труб.

Эти трубы лежали долгие годы, среди них много раз вырастала и умирала трава: полынь, лебеда, просвирник.

Там Стрелка устроила свое логово. Но характер ее начинал портиться. Однажды мальчишки подманили и ударили ее камнем. В другой раз они подкараулили ее и заложили камнями оба выхода из трубы: она сидела голодной три дня.

С тех пор Стрелка встречала каждую протянутую к ней руку захлебывающимся рычанием.

Рычала и прикидывала путь отступления. Но сама не отходила — ей было тоскливо по временам.

Быть может, в конце концов и нашелся бы человек и оценил ее диковатую изящность.

Или, идя на рынок, ее встретила бы старуха и уговорила зятя пустить Стрелку.

Но случилось другое.

В день тоски, когда листья сыпались от холодного ветра, она убежала к дому, которого не было. Там уви-

дела Белого пса. Он шел, исхудавший, чумазый, с перекошенной легким параличом мордой.

Стрелка почувствовала — ему плохо, много хуже, чем ей. Она ощутила его несчастье... и пошла за ним.

Пес приковылял к дому. Но дом исчез. Теперь здесь был высокий забор, пахнувший сосновыми досками. Белый пес прошел сквозь этот запах прямо в щель. Он вошел в нее уверенно, будто в свой дом.

Стрелка постояла, слушая его уходящие шаги. Заглянула в щель и вместо двора увидела земляную яму. Будто пасть.

Яма распахнула глинистые желтые губы. Стрелка влезла в дыру и села у забора.

Работы по закладке фундамента кончились, и строители временно ушли, оставив краны дремать.

Их караулил сторож. Этот лысый старик ходил вдоль ямы и курил.

Белый пес шатающейся походкой брел краем котлована. Временами он останавливался и что-то жевал. И тогда к Стрелке приносился то запах хлеба, то извивающийся и быстрый запах колбасы — остатки вчерашнего ужина строителей.

Сторож начал ломать доски. Он разбивал их топором и складывал в кучу. Затем поджег. Теперь он сидел, глядя в огонь. Доски весело сгорели, оставив красные угли. К ним подошел и сел, греясь, Белый пес, подобралась Стрелка.

Сторож говорил о чем-то сам с собой. Стрелке это не понравилось, и она убежала. Она завыла из трубы и напугалась своего голоса. Вернулась на стройку: там, в теплой золе прогоревшего костра, спал Белый пес. Стрелка прилегла рядом с ним и тоже заснула. Крепко.

С тех пор она стала приходить на стройку и днем. А ночью больше не приходила: нашла сарай с автомашиной и спала в нем. Она охраняла этот сарай — так

решила. И хозяин машины прикармливал ее. Приносил ей теплый суп в большой алюминиевой миске.

Суп был густой, вкусный, с покрошенным мясом, иногда со сметаной или молоком. Постель хозяин тоже дал хорошую.

Кормить-то он Стрелку кормил, но домой не брал... Быть может, она и прижилась бы в конце концов. Но однажды Стрелка гуляла, и за ней погнались собачники. Они бежали, огромные, страшные, размахивали круглыми сетями. Пришлось убежать на стройку. Здесь было тихо. Сторож куда-то ушел. По кромке котлована брел пес, когда-то бывший белым. На кирпичах сидели парни и ели колбасу.

Они приметили собак и засвистели им. Белый пес привык к такому обращению — он заковылял к парням. Он шел к ним так прямо и уверенно, что и Стрелка побрела следом. Им дали конскую вкусную колбасу с белыми кусочками сала: такой Стрелка еще не ела. Парни смеялись над собаками, их широкие лица были красные, улыбчатые, веселые. Глаза блестели.

Они переговаривались между собой.

— Откуда берутся эти собаки? — спрашивал один.

— Ходят, заразу по городу носят. Надо их поймать, — говорил другой.

— Не дело это, — возразил первый. — Ловить несчастных. Ты им помоги!

— А если взбесятся? А? Что делать?

— Врешь ты.

— Десять уколов в брюхо хочешь? Чего болтать, схватим их.

И собак схватили. Нашлась веревка: их привязали к забору. Парни ушли, решив позвонить в трест очистки из ближайшего автомата. Чтобы приехали и взяли собак.

Привязанный Белый пес лег и задремал. Он верил — если привязали, то и отвяжут, надо ждать. И в памяти

его шли случаи, когда старый хозяин привязывал его за молодое баловство к ножке стола. И еще, когда они бывали в гостях, — чтобы пес не обижал хозяйских кошек.

Стрелка же, ощутив веревку, стала рваться. Петля стянула ее горло. Собака опомнилась. Она повернулась назад, припала на бок и стала жевать веревку.

Это была крепкая, выпачканная в машинном масле веревка. Но собака грызла и грызла ее.

Веселые парни не нашли в карманах двух копеек и не позвонили в трест очистки. И собаки дождались бы сторожа, тот отвязал бы и успокоил их. Но во двор заглянули Володька Румпель и Окатов. Увидели собак.

— Алло, собратья! Это вы нас выводили в люди? — сказал Окатов. Подобрав камень, он метнул его в Стрелку: та завизжала. Окатов швырнул камень в Белого пса — он взревел и поднялся.

Теперь у забора выли и метались на веревках две собаки. Окатов прикрыл ворота и, подперев их доской, пошел набирать камни.

— Расстреляем! — сказал он Румпелю. — Я, быть может, и не хотел быть человеком, а они вывели.

— Не хочу! — сказал Румпель.

— Тогда попрошу пятерку. Ну!

И Окатов глядел тем взглядом, которого (он хорошо знал это) все боялись.

— Лады!

— Сразу бы! Кого на себя берешь?

— Рыжую, она смешнее.

Окатов сложил камни аккуратной горкой. Его охватывала странно веселая злоба. И было ему и жутко, и стыдно, и хотелось кричать: «Я боюсь, боюсь и все же сделаю!» Но кричать не стоило, еще привяжутся. И нужно спешить, того и гляди сторож вернется на стройку.

— Темп! — велел Окатов.

Они взяли по камню и швырнули: Окатов — в Белого пса, Румпель — в Стрелку.

Кидали близко, промахнуться невозможно.

Металась Стрелка, то и дело взревывал старик пес. Окатов видел: перед ним вертелось что-то белое, оно расплывалось в глазах, его хотелось бить-бить-бить... И посмотреть, что из этого выйдет.

Румпель кидал в Стрелку лениво — камнем в бок, камнем в лапу, в заднюю, в переднюю... С забора им кричали пацаны:

— Эй! Что делаете!.. Мы вот скажем...

Вдруг Стрелка рванулась. Сильно. Надкушенная веревка лопнула, и собака бросилась на Окатова так нежданно, что тот упал на спину. Она рванула его зубами и унеслась к забору, в щель. Румпель швырнул ей вслед еще камень и метко. Она завизжала. Исчезла.

— Ты мне заплатишь за это, старик, — сказал Окатов, поднимаясь. Он вытер платком укушенную руку и перевязал ее.

И пошел за кирпичами-половинками.

— Да брось ты, — просил его Румпель.

— В тебя?

Окатов скалился, будто смеялся. Вот только глаза его были тоскливы. «Черт с ним, с психом, — думал Румпель. — Кончим дело, и сбегу, и дружить с ним перестану!»

Половинками кирпичей они стали добивать Белого пса. Вдруг Румпель вскрикнул и схватился за голову. Окатов повернулся — на них шли с камнями в руках мальчишки, человек десять соплячков. Одолели-таки забор.

Они были хитрые, эти соплячки, они шли россыпью и кидали, кидали издалека, с ловкостью окраинных мальчишек. Первый их залп попал в цель, и второй, и третий.

Окатов бешено орал на них, Румпель отступал к во-

ротам с достоинством почти взрослого человека. Пока они убирали доску и открывали ворота, в них летели камни.

Выскочив за ворота, Окатов припал к щели и стал разглядывать и запоминать детские рожицы.

— Проклятые микробы, — ворчал он. — Ничего, еще наплачутся!

— Пошли, — торопил его Румпель.

— А пятерку все равно отдашь, лениво бил.

Пришел сторож из магазина со свертком под мышкой. Он взял Окатова за плечо и удивился, какой рослый!

— Ты чего? — спросил он. — Чего подглядываешь?

— Отец! Попрошу не распускать лапы!

Окатов дернул плечом и глядел на него сверху — он был выше старика на две головы. Тот даже изумился — молодые, а такие длинные. Аж прогибаются. Совсем другое племя...

— Что делаешь, спрашиваю?

— Наблюдаю, как подрастающее поколение калечит животных, — сказал Окатов и быстро пошел. А из ворот бежали ребятишки. Они гнались за Окатовым и Румпелем, крича и грозясь. Бежали до одного, розовой окраски, дома. Там (это хорошо знал Окатов) жил знакомый его отцу хирург. Фамилия его Розов, занимается он в институте и заседает в родительском комитете. Это неприятно вежливый тип, едкий, будто кислота. С ним наплачешься, он такой.

— Доктора надо звать, доктора, — переговаривались мальчишки: они тоже знали Розова. И такая удача: он был дома, перекапывал грядку. К нему и ввалились в огород и стали просить — в один голос — пойти к собаке. Доктор пошел.

У полного доктора была одышка, шел он медленно. Хотя и пыхтел, будто все время бежал.

— Камнями били? — спрашивал он.

— Ага, дяденька, половинками!

— Ах... паразиты...

— Они в нашей школе учатся, одного кличут Румпелем.

— Вы... молодцы...

Белый пес лежал в кирпичной пыли, лапы его дрожали.

— Он же весь хрустит! — кричали им оставшиеся мальчишки. — Он будто с самолета упал!

— И я не узнаю собаку! — сокрушался сторож. — А ведь кормил вчера. До чего осатанели, проклятые!

— Ах наглецы, ах паршивцы! — твердил врач.

Он присел над собакой и ощупал ее. И та лишь покряхтывала, когда длинные тонкие пальцы врача пробегали по телу, задевая одно, нажимая другое.

Врач хмурился — пес был изломан. Расколот гребень лопатки, сломаны ребра... Плюсны раздроблены, их и не соберешь.

Практически эта собака убита жестоко и подло. Перебита ее переносица, сломаны обе челюсти. Будто пес побывал в молотилке.

«Усыпить бы его, — тоскливо думал врач. — И мучиться не будет. Дать морфия, чтобы отошел без мучений. Но хорошо бы и спасти, это будет великий урок и награда ребятам».

— Унесем его ко мне! — велел он и носовым платком вытер руки. — В чем бы его унести?

— Возьмите носилки, — предложил сторож.

Ребята схватили тяжелые носилки — в них носили бетонный раствор для мелких работ. Понесли собаку — доктор шел впереди.

Ребята, человек десять, сзади и с боков поддерживали носилки.

В коридор они внесли собаку предельно осторожно, на руках. Положили на пол. Доктор шепнул жене, и та увела ребят.

Он стал возиться со шприцем: перебирал ампулы и не находил морфина. Тогда набрал шприц димедрола.

— Все же легче тебе будет, старина, уверяю.

И уколол. Пес трудно дышал засыпая. Доктор же позвонил приятелю и спросил у него морфия. «Тут, старик, возникло такое дело...» — объяснил он. Затем набрал другой номер — ему пришла в голову одна мысль. Неожиданная.

— Мне бы Ивана Васильевича, — сказал он в трубку. — Да, да. Розов спрашивает. Слушай, есть пациент, на нем сможешь опробовать свой препарат. Безнадежен, множественные переломы!

— С ума сошел! — возмутился Иван Васильевич.

— Не человек это, собака! Ставь опыт. А переломы ее прямо для твоего клея. Она... безнадежно сломана для обычных методов.

— Ты уверен?

— Это прекрасная возможность опробовать костный клей! Но только я требую это делать под полной анестезией, боли пес вытерпел выше головы, его били хулиганы. Я думаю, и сердце у него неважное, и склероз...

— Посмотрим, — отвечал Иван Васильевич. — Ты сможешь его принести?

— Тяжел.

— Тогда выезжаю.

И через пятнадцать минут к дому бойко подбежал голубой «Москвич». Из него вылез бородатый толстый человек в белом халате. Он нес большую корзину.

Розов встретил его на крыльце.

Толстяк присвистнул и нагнулся, разглядывая собаку:

— Обработали!

Он вынул коробочку со шприцем, протер руки спиртом. Они сделали псу укол и уложили его в корзину. Бородатый набрал номер и по телефону велел «готовить все».

— Сразу и на стол, — сказал он Розову.
— А ты не теряешь время, — удивился тот.
— Поможешь?
— С удовольствием.
...В машине они говорили только об операции.

6

Стрелка проскочила в щель, задев гвоздь. И не остановилась лизать рану, бежала. На бегу тонко повизгивала.

Визг далеко обгонял Стрелку. Прохожие останавливались, глядели, а мимо них проносилась рыжая собака, и визг ее стихал в отдалении.

— Взбесилась, — предполагали прохожие.

Куда бежала рыжая собака?

Поблизости от города еще оставались леса. Летом там часто отдыхали горожане, сейчас же леса были поосеннему пустые.

В их тишину бежала собака.

Ей случалось и раньше убегать из города в лес. Стрелка уходила в компании городских собак, охотившихся в лесу за птичками, беспомощно гонявших зайцев: неслась их визгливая, пузатая, криволапая стая, выпучив азартные глаза. Взвизгивая и хрипло лая, они воображали себя охотниками.

Стрелка бывала в лесу. Но, побродив в нем день, вечером она видела его Ужасным Лесом, в котором бродил Волк. Ей вспоминалась хозяйка, и Стрелка возвращалась в город, радуясь смелости — была в лесу! Скуля и повизгивая, она рассказывала это хозяйке, и та слушала, кивая, оглаживая ее голову, и говорила:

— Хорошо, ты молодец...

В лесу Стрелка бывала летом, изредка весной или осенью и иногда зимой — мерещились волки за каждым деревом.

Сейчас, пробежав от высоких домов к низким и мимо них к торговой базе, огороженной дощатым забором, она переплыла речку и взлетела на бугор, поросший соснами.

Исчезла в лесу, стихали ее визги.

...Стрелка затаилась в лесном глубоком логу, в глиняном его закоулке. Сверху ей были видны клин неба да торчки сосен, пускавших запахи. Здесь же глина, песок, застоявшееся дневное тепло.

Утром она вышла к речке полакать воду, но увидела людей, шагавших с лопатами (Алексин вел Иванова в сад), и сбежала в лес. Ей кричали вслед, звали ее, но Стрелке казалось: в нее швырнут камень, тяжелый и острый.

От людей она уходила глубже в пригородный лес. И все гуще становился лес, смелее перемешивал желтые березы и красные осины с голубыми соснами.

В лесу было хорошо, покойно, безопасно.

В нем тишина, шорохи мелких зверей, стуки крыльев летающих туда-сюда дроздов.

В кустах перепархивают синицы. С ними вместе, единой стаей, летают поползни и дятлы.

И повсюду лежат упавшие листья, вороха мертвых листьев.

Среди них копошатся муравьи. Вот пень, в котором гудят шершни. Собака подошла — их сторожа заревели на Стрелку, и она убежала.

Собака вдруг ощутила неясную радость от тишины, вялого осеннего солнца и желтых листьев. Радость заливала ее всю, от лап до кончиков ушей, поднятых торчком; от носа, чуявшего лесные запахи, до кончика повиливающего, довольного хвоста.

Она весь день ходила в лесу, знакомилась, нюхала все.

Сунула нос в нору к барсуку, пробежалась за выскочившим зайцем, схватила в траве полевую красную

мышь и понесла ее не зная куда. Мышь завозилась в пасти, и Стрелка глотнула. Нечаянно.

Царапучий клубок прошел в горло и стал возиться и царапать внутри. Затих.

Собака перепугалась. Она вытаращила глаза, расставила лапы. Вытянулась.

Так и стояла, прислушиваясь к себе. И с тех пор ей казалось, что красная мышь живет в ней.

Следующую мышь она загрызла и съела мертвой.

Сытая, она переночевала под кустом дикой акации. Но утром обнаружила здесь муравьев, до сих пор не спавших из-за теплой осени. Они кусались, и Стрелка убежала. Вспугнула зайца и села на хвост от изумления, глядя на него.

Заяц скакал огромнейшими прыжками. Будто летел. Стрелка азартно визгнула и погналась, сгоряча то и дело налетая на кусты. Она кричала:

— Ай, ай-ай!..

Лес отозвался ей:

— Эй-эй-эй!..

И Стрелке казалось, что зайца гонит не она одна, а большая стая собак.

Это был счастливый для Стрелки день — она убежала далеко, в сплетение глубочайших лесных оврагов, где ее не смогли бы найти. Это успокоило собаку: лес будет ее домом, здесь она всегда сможет укрыться.

Ночью Стрелка убежала в город. Она долго рылась в знакомых мусорных ящиках и хорошо поела. На рассвете ушла в лес: вдоль домов, мимо спящей базы и шлеп-шлеп-шлеп через речку.

И вот он, лес... На лужах его тонкий ледок, поблескивают промерзшие за ночь купола муравейников, лежит змея — окоченевшая, будто мертвая, от приморозка.

Стрелка проспала до середины дня. Потом встала, напилась в лужице, что скопил родник, понюхала кисло

пахнущий муравейник. Затем лениво гонялась за бурундуком и чуть-чуть не схватила вылетевшего из куста тетерева.

Но промахнулась, зря щелкнула зубами. И убежала на огромное картофельное поле, клином входящее в лес. Там причуяла куропаток — запах нависал над полем, словно шатер.

Она прыгнула в середину этого густого и сладкого запаха. Птицы разлетелись, подняв пыль, и Стрелка задохнулась ею.

Остаток дня собака провела, напрасно пытаясь схватить какую-нибудь птицу. Даже подкралась к последнему в этих местах глухарю, токовавшему по-осеннему лениво. Но тот был в сварливом настроении. И, жестоко клюясь, он гонял Стрелку между деревьями.

Ночью Стрелка снова убежала в город. Быть может, она бы постепенно превратилась в пригородную собаку, что не может прожить без города, а в нем не находит свое место.

Но в один холодный день она поймала зайца, разоспавшегося в кустах.

Заяц глупо влез в куст шиповника, из которого был один выход. К нему-то нечаянно подошла Стрелка.

Однажды ей повезло с тетеревом, раненным охотником-браконьером. Затем она наловчилась охотиться сама. Все реже и реже она появлялась в городе.

Ей везло! Егеря, хранившие лес от браконьеров и бродячих собак, не заметили ее — Стрелка в лесных оврагах проживала одна, бродячие ватаги собак не забегали так далеко. А вот кошки, те приходили и лазали к птицам на деревья. Но даже они бывали редко. В полное господство Стрелки попал кусок леса площадью в два-три квадратных километра. Достался без драк и рычания: проживавшие здесь барсуки бродили себе потихоньку, городские коты претендовали на одних только птиц, да и тех ловили на деревьях, а лисы еще

не перебирались на зиму к городу, к его мусорным свалкам.

Жители леса отлично ладили между собой: лоси питались осинами и тем сеном, что косили им егеря.

Мыши обитали в травах, землеройки и кроты — в норах.

Белки, бурундуки, дрозды, синицы, дятлы, поползни шатались где им заблагорассудится. Как-то Стрелка лаяла на бурундука, евшего рябину. Он брал ягоды с той ветки, которую быстрыми клевками очищал серый дрозд. Это кормящееся содружество чем-то возмутило Стрелку.

В этот же день Стрелка нашла барсучью широкую нору и проследила, что жил в ней, кроме барсука, еще и кот, похожий запахом на того, что вырос с ней когда-то. Он так же густо пах паутиной, съеденными мышами и птичьими перьями.

Стрелка приходила к норе и долго нюхала ее. Барсук сердито гудел, а кот шипел на нее из теплого земляного нутра.

Она лаяла на них, ей хотелось в нору, она звала играть, но те не выходили.

Однажды она встретила этого кота, черного, возвращающегося с охоты. Он нес в зубах сороку, птичий хвост волочился по жухлой траве. Стрелка подбежала к коту, весело помахивая хвостом. Но кот бросил сороку, зашипел, выгнулся.

И вдруг залез на сосну.

Он висел на ней, впаяв когти в толстую кору, а Стрелка ждала внизу. Потом она стала есть сороку, а кот сердито выл. Наконец он спрыгнул вниз и с ужасным криком пробежал в нору.

На время Стрелка позабыла его, увлекшись ловлей белки, та жила в гнезде, сплетенном на сходе веток двух сосен. Таким образом, у гнезда было два выхода, что приводило в отчаяние жившую невдалеке куницу.

Затем все переменилось.

Однажды Стрелка остановилась у ручья: барсук, живший с котом, лежал на бережке. Стрелка насторожилась — зверь не пил, он просто лежал, всунувши нос в воду. Дыхания его не слышно.

И чем-то незнакомо и страшно пахнет. Стрелка подняла голову — по ту сторону ручья, у обомшелой коряги, стояла огромная кошка. Рысь.

Стрелка зарычала и ощетинилась.

Рысь забежала сюда из тайги. Она увидела барсука, пившего воду. Она подкралась к нему и готовилась прыгнуть и схватить. Тот поднял голову, посмотрел на нее и закряхтел странно: рысь замерла, а барсук сунулся носом в воду. Умер от страха.

Стрелка, попятившись, ушла. Рысь перепрыгнула ручей и взяла барсука, встряхнула его и понесла: он был ее добычей.

Лишь через неделю Стрелка прошла к норе и долго слушала завывание кота. Затем собака на локотках влезла в нору и стала устраиваться в ней, рыть, делать ее шире и удобнее.

Кот, вякнув напоследок, сбежал из норы и ушел из леса в город.

Но Стрелка жила в норе всего несколько дней: вдруг проснулась от враждебного запаха. Подняла голову — на нее глядела лиса. Из другого хода жутко светила глазами вторая лисица. Они зарычали вместе, и Стрелка быстренько выползла в запасной ход и сбежала.

С той поры в норе жили лисы, пришедшие зимовать около города. А Стрелка нашла сгнивший черный стог и спала в нем.

Выпал снег. Стрелка пышно обросла зимней шерстью. Теперь она умела мышковать, не хуже лисиц искала и находила под снегом мышиные зимние городки. Она сделала нору в стогу, ей было тепло спать.

Зима этого года была мягкой, даже барсуки в ноябре еше выходили из нор пить воду в ручье. Но в декабре крепким морозом (однажды ударило за сорок градусов) Стрелке прихватило кончики торчащих ушей. Эти мороженые кончики поболели-поболели и отпали. И надо было зализывать уши. Языком их не достанешь, как ты ни старайся. И Стрелка лизала переднюю лапу, а ею протирала раны.

Зато в виде платы за примороженные уши лес улыбнулся собаке щедрой и жесткой улыбкой: Стрелка нашла лося. Браконьер ранил его выстрелом в шею, гнался и не догнал.

Лось истек кровью в лесном овраге, умер смертью спокойной, будто уснул. Он и лежал-то, будто спал. И Стрелке даже показалось, что вот сейчас он встанет, огромный и сильный. Но снег пах кровью. Она заскулила просяще и поползла к нему.

С другой же стороны к лосю нагло и весело шла красная лисица. Она схватила его за копыто и потянула. К ней подбежала другая. С этими двумя лисами, выгнавшими ее из норы, Стрелка и съела лося. Хватило его надолго — лишь в феврале она сгрызла последние кости, поддающиеся зубам.

Зимой всего два или три раза ходила собака в город. Она даже нашла хозяйку, идущую из магазина. Вздрогнула — запах был незабываемо свой, но шел от незнакомой старухи. Не так давно была хозяйка полной и бодрой. Теперь же шла с авоськой худая беленькая старушка, шла и оглядывалась на собаку.

Она не узнала Стрелку.

Не признала своим этого рыжего зверя с пышным хвостом и круглыми ушами. Но в память о Стрелке бросила старуха кусок мороженого мяса.

Стрелка понюхала и взяла мясо. Она долго провожала старуху, но подойти к ней не решилась. Да и не было в ней больше тоски по дому — лишь по стае.

В лесу ей было хорошо жить: зайцы-беляки носились по снегу, не проваливаясь, будто на лыжах, мыши спали, завернутые в пуховички, сделанные ими еще осенью.

Проголодавшись, Стрелка ходила от одного такого мышиного города к другому и сытее сытого ложилась спать. Но глубокой ночью она просыпалась и выходила на холод. Ей было так одиноко, тоскливо... Глаза сами начинали жмуриться, уши прижимались к голове. Она садилась на снег и начинала безостановочный бег на месте, перебирая лапами.

Она выла... Уносился вверх ее тонкий и дрожащий вой, откликались ей со всех сторон призрачные собаки.

Стрелка затихала и прислушивалась: нет, не было здесь стаи лесных собак, она одна среди черного леса.

И снова выла Стрелка, и ее опять обманывало лесное эхо.

И проносился, неся огни, самолет, ронял гул на леса. С ним пролетала между деревьями огромная черная тень. Как птица.

И так страшно, так яро светила луна.

7

В городе шла зима-многоследица. То и дело подтаивал снег, и по нему печатали следы все, кому не лень.

Сел воробей — оставил след, прокатил ветер репейник — и оставались следы. Крохотные, будто жук прополз.

Когда же приходили северные ветры и снег охватывала ледяная корочка, тротуары посыпали солью, чтобы не падали горожане: от соли опять подтаивал снег.

Новый дом на месте старого рос. На его стройке шла великая суета. Ненужные теперь краны убрали и обрабатывали дом снаружи, с подвесных люлек. Работали штукатуры и маляры, по этажам вверх и вниз бегали сердитые бригадиры в сапогах, выпачканных известкой.

Приходил к дому Пестрый, рассматривал следы, искал знакомые. Не нашел. Потом долго сидел, подвернув хвост, и глядел на суету.

Это был уже не смешной щенок, а рослый и сильный пес с узкой и изрядно лукавой мордой.

Наряд его был по-прежнему клоунски смешон — пятнами, торчащими древесными стружками. Но вид он имел благополучный, сытый.

Удачливый был пес! Ему везло даже с окраской.

Видя Пестрого, люди невольно улыбались. Он же подходил к ним неуклюже-ласковыми шажками. Но глаза его следили за руками человека, опыт боролся с добродушием.

Пестрому везло: склад ящиков хотели убрать и объединить его с другим складом, побольше. И не убирали, а сторожа были предобрые старики.

Пестрый ночевал, если хотел, с ними в теплой проходной. Но в такой шубе ему редко хотелось ночевать в помещении, он предпочитал закапываться в стружки или в снег.

Сторожам нравилось — охрана на дворе!..

Им же в тепле можно пить чай и прочитывать очередной толстый роман. Или курить, размышляя о жизни. А надоест думать, можно позвать собаку, и та будет слушать с вниманием, что ей ни говори.

Пестрый считал склад домом. Охраняя его, он часто лежал, высунув нос из подворотни, и лаял на прохожих басом: «Гау! Гау! Гау!..» Желудок его был отличный и переваривал все, что удавалось съесть. Но счастья Пестрому хватило только до января — склад перевели в другое место, а дряхлое помещение снесли. Пестрый ушел и спал в снегу. Он ложился и ждал, когда его занесет теплым снегом.

Есть же ходил к старику сторожу домой. Тот впус-

кал его и давал кости, хлеб, вчерашний суп. Ну а если старик болел и выпадало несколько голодных дней, пес пристраивался к воронам.

С холодами в город прилетела эта стая больших серых ворон. Ночевали они в лесу, но прилетали в город кормиться.

Они были пожилые, умные, солидные вороны. Пестрый быстро заметил, что они постоянно что-нибудь находят в снегу и едят все вместе. Он следил за ними и тоже прибегал есть. Но не отбирал, не набрасывался, а ждал свою долю.

Вороны привыкли к нему и присматривали за псом с деревьев, зданий. И частенько, добыв что-нибудь съедобное, он обнаруживал вокруг себя кружок ожидающих ворон. Чувство справедливости было заложено в нем — пес оставлял еду воронам.

Так он жил, и хорошо жил: покидал места, где его не терпели, не слишком часто бывал там, где и привечали, безошибочно ловил ту грань, за которой собака начинает надоедать.

Пестрый изучил людские слова и жесты.

Вот старик говорит ему: «Ты несчастный пес, я дам тебе поесть». Но рука сжимается, ноги сердито топчутся и говорят: «Ты приходишь слишком часто, у тебя бездонный желудок, я же совестлив и не могу отказать».

И Пестрый исчезал на несколько дней и приходил, когда старик начинал тревожиться.

Из Пестрого вырабатывалась та беспризорная городская собака, что неистребима и вольнолюбива, может жить без человека и не может без него.

Пестрый все ждал, что его позовут в какой-нибудь дом. Иногда часами разглядывал освещенное окно и людей за непроницаемым прозрачным стеклом.

Вот едят, разговаривают, смеются... Повиливая хвостом, Пестрый частенько засыпал напротив чьих-нибудь окон. А однажды он долго рассматривал Гая, сидевше-

го на диване (тот принюхивался — запах Пестрого входил в раскрытую форточку). Но пес не озлобился, не стал угрюмым добытчиком, его спасало добродушие. Дурных людей он только остерегался и всех прощал.

Удача быстро вернулась к нему: в феврале друг-сторож караулил новый магазин «Промтовары». Пестрый стал жить при магазине. Там было много ящиков, кучи превосходных стружек. В Сибирь же шла весна, и на солнечном припеке весело запрыгали воробьи. Наконец пришел теплый март. Снег таял, ходили туманы. Вороны каркали, сидя на деревьях. Весело свистели чумазые жуланы, и повисали копья сосулек. Мальчишкам до смерти надоели зима и уроки. И тогда малыши вспомнили Окатова и Володьку Румпеля: они швыряли в них жеваный хлеб, наливали чернила в шапки, сшибали с ног, как будто нечаянно набежав.

В конце концов был устроен показательный школьный суд, свидетелями приходили сторож и оба врача.

В марте была сделана последняя операция Белому псу. Не сраставшиеся сами по себе кости, оставленные срастаться для контроля и не сросшиеся, тоже были соединены клеем. Пес лежал в гипсовых бинтах, скованный ими.

Он дышал легкими движениями груди, не забирая воздух сразу, а брал его постепенно, мелкими вдохами. И когда в форточку к нему влетал жулан — поклевать еду из миски — и оглушал его бойким посвистом, Белый пес считал его сном.

Руки людей тоже снились ему. Добрые, они гладили и ласкали. И в этой же яви или бесконечном сне он видел бородатого человека в очках, видел тех, страшно бивших его...

В марте Алексин закончил домашнюю дрессировку Гая. Пес выполнял команды «лежать», «сидеть». Слу-

шался приказа «ко мне!», умел ходить без поводка на улице, полной соблазнов: бегающих кошек, валявшихся костей, заманчивых столбиков. А их так любят обнюхивать гуляющие собаки.

Занялся Алексин и отработкой поноски — заказал гантели из дерева. Он так решил: пусть Гай развивает мускулы шеи, пусть в будущей своей жизни охотника приносит хозяину убитую дичь. Любую, даже тяжелую — глухарей и зайцев.

Иванов противился гантелям.

— Ты что, собаку шаху персидскому готовишь? — ядовито спрашивал он.

— А почему пойнтеру не приносить дичь хозяину?

— Легаш не должен носить дичь, он слишком утончен, слишком нервен, в этом и сила его и слабость. Только очень нежные, тонкие нервы, заметь, могут усилить чутье собаки.

— Плевать!

— Гай — комок нервов. Он только внешне спокоен, убитая дичь его раззадорит. Он мне стойки будет срывать! Пойми! Ведь его стойка — это приостановка хищника перед броском на дичь, а его бросок охотник заменит выстрелом. Понимаешь, напряжение работы Гая не разряжается в прыжке. Стрессовая ситуация! А тебе еще и дичь подавай. Сорвет он стойку.

— Не сорвет! — возражал Алексин. — Я миллион раз повторил команду «лежать!» и «ко мне!». Эти команды вошли в каждую его клеточку. Если ты ему отрежешь хвост и тот погонится за кошкой, крикни «лежать!» — и хвост ляжет. Скажи «ко мне!» — и хвост вернется.

— Хвост, а не собака. Она с темпераментом, дай бог мне летом справиться.

...Охотники спорили, Гай дремал на коврике, а в лесу дробил дятел, и глухарь пробовал токовать, чертил крыльями снег.

К нему кралась Стрелка, ловчила из-за деревьев — ее мечтой было схватить эту черную, огромную, грозную птицу.

8

Хорошо быть собакой в весеннем городе!

Приятно бегать улицами, шлепать лапами по снежным лужам, нюхать вытаявшие из снега рукавицы, слушать визг котов, грызть низко повисшие сосульки. Хорошо быть весенней шалой собакой и нестись во все лопатки, и лаять на прохожих не потому, что ты зол, а потому, что рад.

Вкусно лакать из первых луж.

Хорошо влюбиться в болонку, которую выпускают гулять в подстеженной шубке, оставляющей открытыми тонкие ее лапы и пружинку хвостика.

Можно долго ждать, когда вынесут ее. И кинуться навстречу, вывеся язык и пыхтя от изобилия весенних чувств. Пестрый, выросший в огромного, но пресмешного пса, бегал по весеннему городу и влюблялся.

Сначала он влюбился в ту болонку, что хозяин выносил гулять в кармане пальто, чтобы она не пачкала лап.

Болонка глядела на всех из этого удивительно глубокого кармана, дышала свежим воздухом и лаяла.

— Ты не лай, а дыши, Миля, ты дыши, — внушал ей хозяин.

Но та лаяла на всех, даже на Пестрого. А тот брел за хозяином удивительной собачки и принюхивался к его карману. Хозяин кармана не гнал прочь. Он смеялся и говорил:

— Что, брат, любовь не картошка... Ах ты, грузовик.

— Тяв-тяв! — кричала болонка.

Хозяин болонки сочувствовал Пестрому. Он брал в

другой карман хлеб или большую кость, завернутую в газету. И угощал его.

Пестрый так и ходил за ними — с костью во рту и нежностью в глазах.

— Адью, — говорил ему болонкин хозяин, возвращаясь в подъезд, пропахший кошками, и оставляя Пестрого за дверью. — Сильвиль, как говорят французы! — смеясь, кричал он ему, высунувшись с балкона, через полтора или два часа. — Что значит: «Жизнь есть жизнь». Держи! — и бросал сахар или конфету, иногда даже шоколадную.

Но собачка не покидала кармана. Легкомысленный Пестрый влюбился в бульдожку, толстенькую, французскую. Он понравился ей, но их жестоко разлучили. Это не разбило сердце Пестрого: он немедленно проникся симпатией к овчарке. Та скучала на балконе третьего этажа в том же доме, где по нему тосковала бульдожка цвета модных ботинок.

Овчарка глядела на Пестрого сверху: он казался ей красивой таксой. Пестрый созерцал ее снизу. Приходил он часто. Хозяева овчарки заметили его и назвали Клеопатриным поклонником (овчарку звали Клеопатрой).

Та не сердилась на Пестрого. Ее сердце победила неотступность и его многочасовое сидение в снеговой луже под балконом. Но когда ее вывели гулять, Пестрый увиделся ей совсем другим, нежели с балкона. Запах был тот же самый, но вид, вид!.. Поклонник оказался до отвращения длинноногим и лохматым. Клеопатра со злостью принялась его рвать и грызть — Пестрый едва унес ноги. Несколько дней он пролежал в стружках, зализывая раны. И Клеопатрины хозяева говорили всем по телефону, что Клеопатра «заела» насмерть поклонника.

Через три дня Пестрый снова бегал по городу. Но Клеопатра выбила дурь из его головы. Его тянуло

серьезное — лесные запахи, приходившие в город вместе с ветрами. Он выходил к ним навстречу, на окраину. Там видел лес. Весна входила в него проталинами и остекленелым снегом, резавшим лапы. Пробегавшие шайки собак звали с собой, но Пестрый не шел, оставался на опушке: сидел, смотрел, принюхивался.

Лес манил Пестрого, но он был слишком осторожен, чтобы просто так войти в него. И все же стал приходить на опушку и смотреть в темноту высоких древесных стволов.

Потом вскакивал и убегал во все лопатки. Но ходил.

Чтобы попасть на лесную опушку, надо было перебегать речку. Подо льдом плескалась ее невидимая вода.

Пестрый то слушал воду, то долго следил, как сороки и вороны пролетают в лес. И, судя по всему, ничего с ними плохого не случается.

...Белому псу — в снах его — также виделся лес. Будто идут они в него с хозяином и вдвоем ищут грибы-боровики. Он, если хочет получить конфетку, должен найти гриб и полаять на него.

Белый пес тихо лаял и бежал, бежал впереди своего давно умершего хозяина, бредущего за ним с корзиной.

9

Весной трудно добывать еду в лесу. Лапы проваливаются в снег, ледяная корка кровянит их. Хочешь не хочешь, а приходилось бегать в город, к мусорным ящикам. Весна гнала Стрелку в город.

Еще одиночество: Стрелка попыталась дружить с лисами. Но те не верили даже собаке, жившей в лесу. Убегали. И однажды злющий красный лисовин прокусил ей лапу. Стрелка тотчас порвала ему ухо и ушла

на трех лапах в город. Но, сытой вернувшись в лес, обрадовалась его тишине и покою.

Как-то ночью она бежала из леса к одному знакомому ящику. И вдруг учуяла Пестрого, это был запах не горьковатый, щенячий, а сильного, крепкого пса.

Стрелка была усталая и голодная, с ободранными в кровь лапами. То и дело она садилась и зализывала их. Она чувствовала себя несчастной, одинокой, голодной. Ей хотелось твердой помощи от сильного пса, который бы бежал с ней рядом.

Она остановилась, не зная, куда идти: к мусорному ли ящику или по следам Пестрого.

Хотелось есть. Очень! Но Стрелка побежала по следу Пестрого. Она теряла след в густой вони разлитого машинного масла и бензина и находила вновь.

Подбежала к промтоварному магазину.

Шла весенняя глухая ночь. Со столба, поставленного напротив магазина, лампа бросала широкий желтый круг. В нем блестели ледяные острые корочки.

Стрелка обошла световое пятно стороной. Подошла к воротам. Принюхалась — запах Пестрого. Вот огромным клубком он подкатился, дышит в щели... Заскулил, он вспомнил ее.

Пестрый кинулся в сторону, к дыре в заборе — Стрелка встревожилась и перебежала улицу. Там и стояла. Видела — в щель, визжа, протискивается крупный пес. Застрял, вертится, вырвался.

Пестрый перебежал дорогу прыжками. Но чем ближе он подходил к Стрелке, сжавшейся в ком, тем медленнее шел. Наконец лег на брюхо и пополз.

Лизнул ее в морду, Стрелка отпрыгнула.

Подошел — она отбежала. Погнался — Стрелка бежит.

Он бежал за ней, но Стрелка и с больными лапами легко уходила от него в ночь.

Они выбежали за город. Там, запыхавшись, долго

сидели — она на лесной стороне речки, он по другую сторону, что ближе к городу.

К Пестрому неслись бодрые стуки города, а на той стороне речки висла, как туча, лесная страшная тишина. И оттого Стрелка казалась ему таинственной и тоже страшной. Она манила, она и пугала его.

Пестрый ощетинился и зарычал. Попятился.

Побежал — Стрелка заскулила ему вслед.

Пестрый бежал не останавливаясь. Он вбежал в городской центр. Хорошо! Светло!

— Мохнашкин!.. Мохнашкин!.. — позвал его ночной милиционер. Он прозяб, и ему было скучно бродить одному. — Подь сюда! Конфетку дам, — звал он.

Пестрый вдруг повернул и крупными прыжками унесся обратно к речке. Выбежал на берег — пусто. Стрелка ушла. Он перебежал к лесу и попятился. Город он знал, жил в нем, а вот лес он не знал.

Ощетинясь, Пестрый убежал на городскую сторону речки, там и лег. Утром его спугнула проезжая машина. А когда он вернулся к магазину, его ругал сторож.

Схватив за шиворот, он шлепал Пестрого ладонью и приговаривал:

— Будешь убегать? Будешь? Будешь?..

Пестрый тихо повизгивал. Не от слабых ударов, а от того тоскливого, что родила в нем ушедшая ночь.

Весь день он ждал следующую ночь, но Стрелка не пришла. Тогда под утро Пестрый пришел к ламповому кругу и сел в него.

Он сидел, ясно высвеченный и далеко видный.

Прошла мимо тяжелая машина, громыхнула кузовом, ничего плохого не сделала. Прошагали веселые полуночники. Где-то очень далеко и красиво свистели милицейские свистки.

Ходили коты.

Пролетела сова, с гулом ударилась о провод и упала поблизости. Коты напали на нее. Они долго грызли со-

ву, затем потащили ее куда-то. В темноте произошла ужасающая драка между котами — с криками и визгом, с дикими воплями.

Тогда и Пестрый завыл.

Он выл неожиданно тонким и дребезжащим голосом. Разбуженный им сторож вышел и постоял рядом, держа ружье, будто метлу или лопату.

— Ночь-то, ночь... — сказал он, широко зевая. — Звезд-то сколько высыпало. Весна... Ты, часом, не бесишься? — спросил он Пестрого и подумал вслух: — Прививку тебе сделать, что ли? А? Пойдем-ка спать, парень!

Пестрый ушел с ним в теплую сторожку. Заснул. Спал он долго — начался день, и пришел кладовщик. Выгнал.

Пестрый сходил к столовой и поел из ящика вчерашних макарон в томатном соусе. Затем убежал к лесу и долго сидел на опушке.

Днем лес не был страшным. Знакомые вороны перелетали с макушки на макушку и кричали знакомым криком.

Пришла Стрелка. Шла она из города и походила на долгоногую лисицу. Подошла и обнюхала его морду, определяя, что он ел. Пестрый лизнул ее в нос, Стрелка побежала, оглядываясь и зовя.

Пестрый стоял в нерешительности. Стрелка вернулась и сама лизнула его. И теперь уверенно потрусила в лес. Не оглядываясь.

И Пестрый шел за нею — в мир незнакомых ему запахов.

Шел настороженный, на прямых лапах, готовый к внезапному прыжку назад.

Запахи обступили Пестрого. Они затопляли его, обволакивая, все незнакомые, дерзкие запахи. Они то завихрялись, то шли на него стеной и разбегались вокруг узкими струйками. Пахло все: разбухающие поч-

ки берез и осин, шел крепкий, самоуверенный запах сосен.

Наконец собаки пришли к стогу. Его темная куча сначала напугала Пестрого. Он остановился. Стрелка пробежала к этому темному, исчезла в нем (Пестрый ощетинился) и бежит обратно, насмешливо раскачиваясь на бегу.

Хвост ее и дразнящий язык болтаются из стороны в сторону... Пестрый обнюхал ее, вздыбив шерсть, — она снова показалась ему чужой и страшной. Но понял — она смеется над ним. Пестрому не хотелось быть смешным. Он, щетинясь, подошел к прелому стогу, понюхал и вполз внутрь, откуда пахло Стрелкой. И нашел там округлое и теплое логово. Стрелка тоже вползла, собаки легли рядом, вытянулись и вдруг уснули.

Очнулся Пестрый неожиданно. Ему показалось, что его поймали и крепко держат и рядом что-то мягкое и страшное. Но Стрелка лизнула его в морду, и Пестрый успокоился. Он лежал и глядел в отверстие лаза. Видел — наступает ночь, и в ней растворяются темные деревья.

Утром собаки вышли из логова на мороз. В воздухе, не то падая, не то взлетая, висла блестящая морозная пыль. Она прикрыла деревья, делая их незнакомыми. И если бы Пестрый был человеком, он бы сказал:

— Здесь удивительно красиво...

Вдруг Пестрый уловил странный, с привкусом затхлости и гнили запах. Он шел из талого снега. Стрелка бросилась на запах, разрыла снег и съела мышь. Пестрый всегда учился быстро. Стрелка поймала еще одну мышь, он проследил ее движения и тоже поймал. Бросил — мышь лежала на снегу мертво, но хвостик ее дрожал...

После этой странной для Пестрого охоты Стрелка растянулась на солнцепеке. Она грелась и зализывала лапы. Ей было тепло и покойно.

Пестрый же бегал вокруг стога и обнюхивал кусты, деревья. Поискав, он понял — нет здесь мусорных ящиков, а еду нужно добывать. И убежал к городу. Вот речка. Подо льдом она тихо шумит.

Он сел и глядел на город.

Поднимался дым, пахло машинами и мусорными ящиками, полными еды. Где еда, там и нужно жить.

Подошла Стрелка и села рядом. Она скулила, зовя, и убежала в лес. Пестрый тяжело бежал за ней — он не привык еще к легкому быстрому бегу, которым бегают звери, живущие в лесу. Но сделал выбор!

В лесу пошла его жизнь, полная охот, игр, любви, удач, неприятностей.

Снежная Весна вошла на его глазах в лес проталинами. Пришла голая Весна с набухшими почками, с очнувшимися комарами, с прилетевшими горихвостками.

Выходили на солнцепек муравьи, рыжие и черные, расцветали желтые мать-мачехи, летали бабочки — лимонные и крапивницы. Оживали мухи. Они садились на кончик носа, нахально лезли в уши.

А после Голой Весны закричала кукушка о том, что идет-идет Зеленая Весна.

Собаки видели, как женились барсуки, по-весеннему играли зайцы, токовали глухарь и селезни, ухаживая за утками, шавкали на снежных лужах, на токах. Хохотали белые куропатки, а мелкие птицы уже завивали гнезда.

Охотиться на лесных зверей и птиц, по-весеннему шалых, было легко.

Мышей Пестрый ловил быстро. С дичью покрупнее приходилось труднее, но Пестрый соображал. Это он, а не Стрелка проследил перелеты тетеревов на ночевку, он предложил охотиться на молодого барсука, он выгнал из норы, щипля за ляжки, крупного лисовина.

Нора стала свободной, и они поселились в ней.

Пестрый, обнаружив, что зайцы убегают кругами, ввел охоту из засады. Он находил, и вспугивал зайца, и ложился в кустах. Затаивался.

Стрелка же, долгоногий и легкий на ногу зверь, гнала зайца, лая свежим голосом.

Эхо отзывалось ей. И какой-нибудь охотник, блуждая по лесу просто так, из интереса, прислушивался к звукам гона и ухмылялся. Он думал, что вот забежала в лес собака-дура и развлекается. А между тем шла серьезная охота. На первом или втором кругу зайца в охоту вмешивался Пестрый.

Заяц, не подозревавший опасности и скакавший полегонечку, вдруг обнаруживал крупного пса в нескольких шагах. Ужасом сжималось его сердце, начинался смертный пробег.

Пестрый даже научился ловить сорок. Он ложился в весенние травы, около брошенной кости — манил. Лежал мертво.

Но вот белку ему никогда не удавалось схватить. Пестрый приходил в неистовство, когда белка дразнила его с ветки.

Он прыгал, лаял, метался. Стрелка в это время смотрела с широкой ухмылкой. Она не могла смеяться, лишь вздергивала верхнюю губу. Уши, вечно настороженные, вдруг распускались и опадали. Стрелка валилась на спину, а Пестрый, опомнясь, бежал к ней танцующей пробежкой, мотая головой и хвостом.

И они начинали игру — бегали друг за другом, шутливо грызлись. Потом ложились рядом и лежали, широко и блаженно раскрыв пасти.

Дымок вырывался из них — весна была хоть и солнечная, но с северо-восточным морозным ветром.

Но временами Пестрого охватывала тоска по городу. Он уходил на опушку и сидел там, глядя на город, вдыхая его дымы и запахи. Многие видели его сидящего. Заговорили о появлении лесных собак. Старший

егерь, прослышав, пришел смотреть. Но Пестрый был счастливчиком — пока егерь сидел в засаде с малокалиберкой, Пестрый и Стрелка перебрались в город. Там жили неделю около столовой. Они усердно питались, отъедались на будущее.

Ночевали на складе магазина «Промтовары». Сторож не забыл Пестрого, пускал в калитку вместе со Стрелкой, говоря:

— Вот, теперь ты семейный человек.

Пестрый вилял хвостом.

— Это хорошо, правильно, — одобрял сторож. — Ну-ка сгрызите этот сахар.

И угощал...

10

Зеленая Весна пришла с третьей волной прилетающих птиц, с посадкой картофеля и капусты. Потеплело. Теперь можно было натаскивать Гая по куликам — вода в болотах согрелась.

Речная, что и говорить, была еще холодна и мутна, но болота мелки и недвижны, они легко прогреваются. И для полевой дрессировки удобны — открыты, и видно, правильно ли ведет себя пес.

Иванов горячо взялся за дело и ожидал быстрого результата. Но на болоте Гай переменился. Дома он был мягок, не нахвалишься, а здесь вдруг стал сердитым, хулиганил.

— Так вот почему ты скуластый! — горестно изумлялся Иванов. — Это у тебя дурь выставилась!

На болоте Гай забывал, что стоял всю зиму над миской, над брошенным сахаром и просто так, по приказу. Он причуивал болотных куликов — а чутье у него было свежее и громадное — и кидался ловить их.

Гнался, не слушая криков, так был горяч. Понять, почему он должен не ловить, а замирать над куликом,

делая стойку, Гай не мог. Врожденную в поколениях стойку ломало страстное желание охотиться для себя.

Но охотиться-то он должен был для человека.

Опытный Иванов всегда отказывался учить собак-флегматиков. Знал — это спокойно, но из них хороших собак не выходит. Пусть уж страстная, пусть непослушная собака. С ней тяжело, учить ее трудно, но толк будет. И все же Гай его утомлял.

Иванов знал по опыту: безумная гонка по болоту пройдет, стоит Гаю понять, что ему надлежит делать на болоте и почему именно. Вот только когда он поймет? И не станет ли за это время его привычкой сумасшедшая гонка за птицами?

Иванов мог себе помочь. Он был изобретателен.

С тех пор как прежний натасчик Фанов бросил полевую натаску, Иванова осаждали владельцы молодых легашей. Частью по доброте, частью для приработка, чтобы старуха не кричала, что вот-де опять покупает ружье, Иванов брался натаскивать.

В июне он набирал пять-десять щенков, а не удалось отбиться, то и пятнадцать. С этой воющей, лающей, кусающей ватагой он ехал куда-то в дальнюю деревню на попутном грузовике. С собой брал куль овсянки, кило витаминов А, Б, С, Д, рыбий жир (бутыль) и ящик крепко посоленной трески. С этим грузом исчезал, как в воду.

Что он там делал в деревне со щенками, неизвестно, но привозил их обратно рабочими собаками, без памяти влюбленными в него.

Он выводил их на полевые испытания, они брали там третью степень, а иногда и вторую.

И хозяева вручали ему расчет, благодарили. Секрет же успеха Иванова был прост: он любил собак, не бил их, а те лекарства, которыми успокаивают нервных людей, давал собакам.

И щенки, успокоенные, не отвлекались незнакомой

летней обстановкой, а быстренько схватывали азы охотничьей мудрости и начинали работать.

Слава Иванова-натасчика росла. Но к Гаю он не хотел применять эту методику: до середины июля, когда он набирал собачью команду, времени было достаточно, да и хотел Иванов натаскать пойнтера Гая «чистым» методом, похвастаться перед Алексиным: «Вот мы какие талантливые! И пес и я!»

Даже соблазн взять своего пса, чтобы он показал Гаю, как работать на болоте, Иванов отринул.

Когда он с Гаем впервые пришел на болото (накануне здесь Алексин нашел дупелей), они вспугнули камышницу, птичку размером с наперсток. Так себе, ерунда, птичка-свистулька, но с запахом дичи. За нею Гай рванулся так, что и болотную воду поднял буруном, и осока засвистела.

Исчез в кустах. Что он делал в тальниках, неизвестно, но выскочил из них, почти держа хвост впереди летящего дупеля.

Иванов сначала восхитился: страсть-то, страсть! — а затем пришел в бешенство. Он засвистел, кричал, звал Гая. Погнался за ним... Когда Иванов поймал Гая, тот сведрожал. В выпученных глазах его травяным огнем светилось охотничье безумие.

Иванов увел его с болота — в наказание.

На следующий день они пришли на болото с веревочкой. Иванов привязал ее к ошейнику Гая с расчетом наступить, когда тот погонит птицу. И не успел наступить.

Упрямый, как все натасчики собак, он неделю ходил с веревкой и надвязывал ее. Суть метода заключалась в том, чтобы заметить приостановку Гая по дупелю и за веревку придержать его. И из этой-то приостановки и вырабатывать привычку делать стойку. Но, когда Иванов не смог угнаться за веревкой длиной в тридцать метров, он вышел из себя.

Они здорово поругались с Гаем, а там и подрались среди болотных кочек.

Сначала Иванов всыпал Гаю. Крепко. Затем тот взялся за Иванова: старику приходилось тяжело. Отбиваясь и упав два раза, он отступил к шалашу огородного сторожа. Тем и спасся.

Гай, рассвирепевший и не желавший простить порку, долго ловил Иванова, подкрадываясь к нему с разных сторон шалаша. Но Иванов вовремя убегал, примечая то выдвигающуюся тень, то горящий глаз пойнтера.

«Выкормили битюга на свою шею, — бегая, горько думал Иванов. — Друг Алексин... В саду возится, а я сражаюсь с этим чистокровным драконом».

...Дома Иванов успокоился, и они с Гаем стали друзьями. Водой не разольешь!

Больше Иванов не горячился. Он пил успокоительные таблетки. Он твердо (но мягкой рукой) направлял Гая. Тот, благодарный и любящий (и помня порку), спрашивал глазами его совет.

Дупелей он больше не гонял, явилась стойка. Мертвая! Такую и положено было иметь пойнтеру высоких кровей.

Затем Иванов совершил тайный грех: убил из-под Гая дупеля. Никто не заметил его выстрела, не оштрафовал, обошлось, слава богу. Зато Гай понял, для чего он работает на болоте.

Все поняв, Гай заработал, как чудного устройства механизм. Иванов в июле, несколько отдалив натаску других щенят, прошел с Гаем и кое-что из того, что положено охотничьей собаке проходить лишь на второй год обучения, то есть работу по тетеревам, Гай воспринял.

— Ты мое утешение, — бормотал ему, возвращаясь с болота, Иванов. Он забыл все прежние неурядицы. Глаза его были влажные: Гай показывал работу не просто хорошую, но исключительную.

Иванов за вечерним чаем говорил Алексину, что нет, не зря он старался достичь высот в обучении собак, попался-таки ему Пес с большой буквы. Он его, Иванова, прославит... Милый Гай!..

Отдавая тетрадку с записью всего происшедшего (исключая таблетки), Иванов говорил:

— Нет, мы с тобой не напрасно жили: такой пес!

— Положим, моя Дина была лучше Гая, — хорохорился Алексин, поднимая на макушке волосяной хохолок.

Иванов принимался описывать Алексину, как Гай ловил запах бекаса за сто шагов. Рассказывал, что он шел следами кулика-ручейника, а следы были третьедневочные.

— Что же, не продавать его? — спрашивал Алексин. — Ты возьмешь? А?

— Продавай, ладно! Я... я недостоин. Гаю нужен молодой охотник, а я... жизнь моя кончается.

И всхлипнул. Теперь старики часами перебирали знакомых городских охотников, но не находили среди них достойного. Так себе охотники, воскресники, бухалы да ахалы.

Это угнетало стариков.

Гай же был счастлив. Он видел сны, в которых искал куликов и тетерок.

Наконец Иванов припомнил пригородного старшего егеря, человека, влюбленного в охоту, в собак, в лес. Когда-то он работал инженером-электроником, но бросил свою инженерию и электронику. И ушел в егеря. Переродился!

— Жена его собачница, — говорил Иванов.

— Он что, фанатик охоты, твой егерь? — спрашивал Алексин.

— Но дело охоты знает не хуже нас с тобой. Он молод, силен, у него все впереди.

— Сколько ему?

— Сорок лет. Завидуешь?

— Счастливчик!

— Он такой. Удачливый во всем: в стрельбе, в ружьях...

— Бывает.

— Он проохотится всю охотничью карьеру Гая — девять лет. И еще двадцать лет охоты впереди с другими собаками.

Старики обсуждали вопрос недели две, перебирали все «за» и «против» и наводили справки.

— Отдадим Гая даром! — предлагал восторженный Иванов.

— После наших хлопот? — спрашивал Алексин. — Это нас, конечно, не разорит. Но (он поднимал палец) все, что достается само собой, не ценится и не бережется.

— Пусть-ка посмеет не беречь!

— Ничего, ничего, пострадает карманом. Пусть поднатужится, беря Гая. В конце концов, мы с тобой едва ли вернем наши расходы.

И они дали знать стороной, что-де продается по случаю болезни владельца (Алексина) пойнтер высоких кровей и таких-то качеств.

Егерь объявился в момент, приехал на «газике» в час ночи. Наутро он уезжал обратно с собакой, отдав двести пятьдесят рублей и думая, что недодал Алексину еще столько же.

— Бери, бери, заслужил, — говорил Алексин, отсчитав Иванову сто двадцать пять рублей. — Отдай их жене.

— Дудки, — сказал Иванов. — Я продам свой тройник, приложу деньги и возьму тот «шогрен». Помнишь Суслова? Он помер, а жена распродает его оружие.

— Опять новое ружье? Ты с ума сходишь!

— Друже, — говорил ему Иванов. — Я люблю ружья. А ты, ты сухарь, ты с одним ружьем на всю жизнь! Не понимаю тебя...

— Я однолюб!
— Ты просто деревяшка...

11

Полундин, изобретатель клея для костей, завтракал, читая фенологический очерк.

Газета была за семнадцатое июля, очерк развертывался: «В поле и лесу все молодо, цветет лесное крупнотравье — борец, пучка, дудник, — и кончают петь птицы. Им уже некогда развлекаться, они выкармливают птенцов, продолжая эстафету жизни...»

Эстафета жизни... Полундин выпил еще кофе, съел еще один рогалик с маслом. Крошки он смел со стола в ладонь и рассеянно бросил их в рот. Затосковал.

Вот, добряк-автор, подписывающий заметки «Серый воробей», осведомил его, что уходит лето.

Да, уходит еще одно лето, практически не замеченное им. Потеряна лучшая часть года, не выслушаны песни и свисты малых птиц, не собраны в букет любимые ромашки.

Он не был даже на рыбалке, где так хорошо думается. И не будет — дела! Сколько их... Опыт с клеем заканчивается, накопилась тьма наблюдений, анализов, рентгеновских снимков. Горы снимков.

Эстафета жизни... А перед ним, хирургом, всегда маячит чужая смерть. Теперь она, проклятая, дежурит у клетки. В ней проживает Белый пес... Да жив ли он?

Приехав в НИИ, Полундин вбежал в свой кабинет. Он бежал тревожась. Но пес был жив. Он сидел тихо и глядел в темный угол. Полундин увидел, что глаза собаки запали и пес сжался в тайной борьбе со смертью.

Бедный пес! И Полундин, говоря: «Хороший пес, славный, милый пес», — протянул было руку погладить и не решился. Пес заскулил, побрел к себе в клетку,

где лежала подстилка и были поставлены алюминиевые чашки (одна со сливками, принесенными ему Полундиным). А ведь ходит. Ходит!

Последние анализы мочи и рентген показывали, что клей рассосался и вышел из собаки вон. Это даже не повредило почки. Возник, правда, легонький нефроз левой почки, но он уйдет.

Намаялся Белый пес — лубки, операции, лекарства...

— Бедный ты, бедный старик, — вздохнул Иван Сергеевич, поднимаясь и растирая поясницу. Задумался... Итак, клей рассосался, а рентген показал, что теперь кости собаки — крепкие кости. Хоть двадцать лет живи! Удачей был новый состав клея. Победа! Успех!

Клей заменит нынешнюю грубую технику сращивания костей, свинчивания их шурупами, соединения штырями из металла.

Но за победу надо платить: Белый пес умирал. Старость. Пришел его срок. Сколько ему лет? Ветеринар Котин сказал, что двенадцать или пятнадцать: резцы стерты, клыки сносились.

— Старичок наш на пределе, ему каюк, — сказал ветеринар, моя руки. — Дней через шесть будет готовый препарат.

Жестоко сказано! Несправедливо к лаборатории, к Белому псу. Но прав ветеринар — пришел срок Белого пса, и с этим ничего не поделаешь.

12

Пестрый застрял в городе на целую неделю.

Он познакомился со многими собаками. Они же принюхивались к Пестрому, пахнущему лесом, смолой, пойманной и разорванной дичью, и ходили за ним, словно мальчики за удачливым охотником, несущим домой много дичи.

На окраине в заброшенном сарае (Пестрый перебрался в него) теперь ночевали не две, а пять собак: Пестрый, Стрелка и три другие.

Был старый пес густо-черного цвета, был очень веселый и хромой щенок. Третья же собака низкая, приземистая, длинная, была помесью таксы и фокстерьера. Она попала в город проездом. Хозяин пустил ее прогуляться у вокзала, а сам пил пиво да глядел на нее. Но отвлекся, заговорился, а когда хватился собаки, надо было срочно бежать в вагон. А собака осталась.

Затем пришли еще две собаки, обе помеси дворняг с овчарками.

Это были очень сильные, крупные псы. Вели они себя непереносимо грубо. У них Пестрый научился драться и рычать, ощетинивать не только загривок, но даже хвост.

Затем — стаей — они ушли в лес. И такая была их удача — днем раньше старший егерь снял засаду.

Он ушел домой, а удачливый Пестрый вбежал в лес, и за ним тянулась длинная цепочка собак.

Она распалась на опушке. Пестрый и Стрелка ушли глубоко в лес, а собаки побегали, поиграли и повернули в город. Но с тех пор они часто встречались с Пестрым и постепенно привыкали к лесу. Одна за другой эти собаки уходили в лес.

Первым ушел щенок.

Ласково повизгивая, он бежал за Пестрым. Когда отставал, он начинал скулить, и Пестрый ждал его. Щенок поселился бы рядом с ними, но Стрелка не пустила его в логово. В конце концов щенок стал жить в стогу, питаясь мышами, бабочками, кузнечиками. Пестрый уделял ему часть добычи.

Это был добродушный щенок — подошел к бредущему лесом егерю и лег перед ним на спину, скуля и прося взять отсюда домой. Он лежал, стуча хвостом и повизгивая от радости. Ему хотелось одного: чтобы его

увели в тот дом, запахи которого пропитали одежду егеря.

Егерь рассматривал щенка в полной растерянности. То, что предстояло, не радовало его.

Правила охраны леса были суровы — бродячая собака должна быть убита. Иначе она станет хищником в лесу, будет отнимать законную добычу человека и разносить болезни. Но стрелять во взрослую собаку это одно, а в глупого и доверившегося щенка — совсем другое. Был выход — обойти правило. Скажем, взять к себе.

Или отстегать его прутом, да так, чтобы он страшился человека.

Егерь, сняв ружье с плеча, разглядывал собаку.

Взять домой? Но она больна, испорчена шатаниями.

Оставить? Будет нарушен закон. Егерь кисло морщился. В конце концов он выстрелил и ушел.

Первыми к убитому щенку явились жуки-могильщики, те, что похожи на опилки. И начали зарывать его. Затем пришел и обнюхал щенка Пестрый. С ним была Стрелка.

Увидев мертвого, она заметалась, манила Пестрого, звала его уходить скорее.

Она лаяла на него, даже кусала. И Пестрый пошел за нею. Они ушли в самые дальние лесные овраги. Там нашли другую пустую нору. Долго работали — углубляли ее, ходили перемазанными в глине. Они поселились в этом глубоком овраге. Стог теперь заняли черный пес и отставшая от поезда собака. С ними пришли еще три: два щенка и помесь борзой и дворняги — огромный пес, желтый и сухопарый. Они повели жизнь полугородских собак, ту, которую с уходом в дальний лесной овраг окончательно бросили Пестрый и Стрелка.

Собаки — черный пес и другие — кормились в городе и учились охотиться в лесу. И если им везло и они

бывали сыты, оставались там неделями. Голодные же, они уходили в город и копались в мусорных ящиках.

Шло лето, темнело поздно — их увидели многие. И даже старший егерь. Он стал искать собак и находил их следы, прислушивался к шуму игр и драк. В конце концов он нашел стог-общежитие и даже сфотографировал его. К тому времени стая увеличилась до семи собак. Правда, щенков поймали в городе — сетями — работники треста очистки, а полуборзую приманил деревенский мужичок. И увез ее в степное далекое село охотиться на лис и зайцев. Но шли и шли к стогу другие собаки. И однажды егерь прихватил с собой автоматическую мелкокалиберку. Он лег, положил ствол винтовки на пень и всмотрелся в оптический прицел.

Сердито морщась, он навел его синий пронзительный взгляд на голову дремавшей собаки. Нажал спуск: собака охнула и откинулась. Егерь тотчас же перевел прицел на другую собаку — он был отличным стрелком. Из пяти спящих на угреве собак он взял трех, сбежали лишь черная и полутакса. Да и та лишилась кончика хвоста.

Егерь подошел к стогу, бросил на него убитых собак и поджег, карауля огонь, чтобы не убежал в лес. Он был доволен своей отличной стрельбой и недоволен сделанным...

Зато теперь старший егерь был уверен: собаки не придут в его лес. Они перестанут браконьерствовать в его лесах. А вот Пестрого и Стрелку егерь не искал. В этом и была его ошибка.

13

Коллеги поглядывали на собаку, ждали ее неизбежную смерть и обязательное вскрытие. Любопытство грызло их, вызывало споры. Что клей? Как он спаял кости?

Но Полундин за время работы как-то сроднился с собакой: Белый пес был покорен и терпелив, и Полундин ощутил вину. У этого пса люди отобрали молодость, преданность, тело. Он похоронит пса. Черт с ним, с клеем! И Полундин уже присматривал место похорон в саду института. Он нашел его около березы. Она роняла превосходную дырчатую тень.

Шумят листья, поют кузнечики. Было и другое хорошее место, под дубком, что так бодро принялся расти в их саду. И пришел этот день — собака упорно лезла в темный угол, она собиралась умереть. Полундин сел рядом с ней.

Он тихо, ласково и долго говорил, успокаивал ее словами. Так дождался смерти. Потом взял унесенную из дома простыню и завернул в нее Белого пса. И понес в сад, припоминая, где их дворник ставит лопаты.

Но его караулили. В дверях Розманов остановил и взял его за плечо. Рука была твердая, жесткая, недобрая. Пальцы так и впились в мускул.

— Слушай, — тихо сказал Розманов, — не устраивай эмоциональное буйство.

Полундин держал сверток. Розманов говорил:

— И так уже все в институте говорят, что клей — ерунда, самореклама. А ведь это первая удача лаборатории. Да, да, ты любил пса и так далее. Но... надо вскрыть собаку, завершить наше дело...

— Не дам! — сказал Полундин и попытался пройти.

Розманов не пустил.

— Так нужно! Знания, не забывай, превыше чувств.

— Это осквернение трупа.

— Ну и что? — сказал Розманов, холодным умом иногда походящий на марсианина.

Полундин не сердился на него. Он знал его преданность науке. Помнил — обычная, человечья жизнь не интересовала Розманова. «Все время и все клетки мозга, — твердил тот, — нужно отдать познанию».

— Я отдам себя, я жду перелома своих костей, и ты меня склеишь... Пойми, нужно исследовать прочность твоего клея. — Полундин сжал сверток. — Нужно исследовать кости на излом, нужны гистологические исследования...

И был прав.

— Черт с тобой, бери! — сказал Полундин и отдал сверток.

Розманов взял его и осторожно, как ребенка, понес.

Полундин шел следом. Он знал — телефон уже надрывается, звонит всем, кому интересен их опыт. И едут сюда люди — на трамваях, в такси, в автобусах. Нехорошо получилось, но, по сути дела, прав Розманов, а не он, Полундин, изобретатель, но не ученый-исследователь.

Сейчас Розманов в клеенчатом фартуке и со скальпелем в руке будет вскрывать и объяснять. Потом коллеги, трудясь до полуобморока, в считанные дни сделают блестящие препараты.

— Бедный старый пес, — бормотал Полундин.

...Щенята явились в июне: Пестрый с громадным изумлением нашел их в норе. Потянулся нюхать, но Стрелка выставила его из норы и даже укусила.

Пестрый вылез и лег рядом. Взодрав уши и виляя хвостом, он прислушивался к новым звукам — Стрелка кормила щенят. И Пестрый вдруг понял, что он должен сделать: искать еду и принести ее Стрелке.

Еда должна быть сейчас же, много вкусной еды. Он побежал в город. Часа два спустя с огромным батоном хлеба в зубах (он вынул его из чьей-то хозяйственной сумки) Пестрый был впущен в нору. Ему даже позволили обнюхать щенков.

И у Пестрого пошла суетливая жизнь. Он стал забо-

тливым семьянином, добывал птиц, ловил зайцев. Он то и дело убегал в город и приносил хлеб, колбасу. Однажды принес апельсин веселого цвета — им долго играли щенята. В августе Пестрый научил их ловить мышей-полевок и показал им, как надо скрадывать уснувших в кустах зайцев.

Учил их всему, что умел делать сам. Стрелка, склонив голову, глядела на него с одобрением. А в стороне лежали и смотрели равнодушные ко всему черный пес и полутакса. И топтался, повизгивая от возбуждения, щенок, увязавшийся за Пестрым в лес.

В сентябре дюжина собак поселилась в глубоком овраге. Это были осторожные, проученные псы. Днем они крепко спали, охотились же только ночью.

Проследив их, сунулся было старший егерь в овраг, но тот был глубок и неудобен, с болотом посредине. Егерь поскользнулся, упал и поломал ружье. Он махнул рукой на собак — временно, до зимы, когда болото замерзнет.

14

— Это же сумасшествие, — ворчал Алексин. — Охотиться с легашем глубокой осенью? Где он найдет дичь? Какая птица выдержит стойку? Подпустит к себе? Он что, взбесился?

— Друже, не наша это забота, — успокаивал Иванов. Он разлегся в кресле и ухмылялся — был доволен.

Алексин вынул из шкафа ружье, сморщился и поставил обратно.

— А что я возьму? «Зауэр» в четыре кило весом? Его нести мне сердце не дает. Вчера перебои были, камфару пил.

— Верное возражение. Знаешь, у егеря бельгийка есть, двадцать восьмого калибра, бескурковка, вес в два кило.

— Детское ружье? Не хочу.

— Ну, стреляй пальцем!

Дело было такое. Старший егерь пригласил их поохотиться. С удобством: он располагал машиной. «Газик» стоял у подъезда.

Алексин долго одевался. Наконец старики вышли к машине. Впереди шел Алексин с сеткой, полной вкусных продуктов (колбаса, сыр, яблоки, конфеты). За ним Иванов нес огромнейший рюкзак и зачехленный, недавно им купленный, шведский дробовик — автомат «шогрен».

Он был в кирзовых сапогах сорок пятого размера, в ватнике и в брезентовом плаще поверх него.

«Не человек — гора! Как он здоров!» — завидовал Алексин.

Они втиснулись в «газик», и шофер рванул с места так, что Иванов клюнул носом в спину друга, севшего впереди.

— Как вы там охотитесь? — спрашивал Алексин.

— Хорошо охотится один Ефрем Иванович, да ведь у него и собака. Мы же охотимся на городского браконьера, это наша осенняя дичь.

— И... много их?

— Изрядные трофеи: за месяц двадцать пять ружей отобрали, а убегло еще столько. Автомобилистов отловили восемь штук. Но вы хорошо поохотитесь.

И они заговорили о сложностях осенней охоты в близких к городу и практически бездичных местах.

— То есть как бездичных? — вдруг обиделся шофер. — Мы куропаток разводим и подкормку устраиваем. Зайцы вам что, не дичь? Их много. Есть один глухарь.

— Я бью зайцев на дневной лежке, — похвастал Иванов.

— Надо охотиться по первой пороше, — говорил егерь-шофер, притормаживая машину. Он подвернул

к маленькой деревеньке, выскочившей вдруг из-за поворота. Подвез к дому.

— Здесь наш старшой. Но его нет дома, он в лесу.

Старший егерь пригородного леса жил в бревенчатом доме. Свежем, желтом, пахшем смолой.

Высок был дом. На крыше торчало штук пять скворечников. Их воробьи готовили для зимовки, носили соломины и белые куриные перья.

К остановившемуся «газику» шли от дома гуси — присадистые важные птицы. Охотники вылезли, и Алексин сказал Иванову, что любит гусей, этих полных достоинства птиц. Иванов, усмехнувшись, ответил, что тоже их любит — с капустой да под стопочку.

Охотники прошли в дом. Их встретили собаки егеря: Гай и другие — гончий пес с седлом на спине из пятна черного цвета и лайка, очень рыжая и хитрющая, если судить по ее раскосым глазам.

Гай был равнодушен, чем обидел стариков.

— И все же он машина для охоты! — сказал Иванов.

...Жена егеря провела стариков в кабинет мужа.

Там был конторский дешевый стол, книжная полка из досок, на которой стояли три издания «Жизни животных» Брема — два на русском, а одно на немецком языках. На стене повис яркий коврик из ленточек.

На этом коврике висело пять штук ружей. Всяких. Была трехлинейная старая винтовка и дробовой автомат. Висели дорогой «зауэр три кольца», тулка шестнадцатого калибра, бельгийка двадцать восьмого калибра — изящное, легкое ружьецо. То, которым Иванов пугал Алексина.

— С этой пукалкой ты заставляешь охотиться меня? — упрекнул Алексин.

— С ней, — ухмылялся Иванов.

Тут жена егеря принесла чай и картофельные ватрушки, еще горячие, и к ним топленое масло.

Старики пили чай и ели ватрушки, поливая их горя-

чим маслом. Поев, стали ждать хозяина. Сидели рядышком — им не хотелось на улицу, где было сыро, ветрено, знобко. Им вообще ничего не хотелось, только бы дремать в этой теплой комнате, поглядывая то на ружья, то на чучела, что сидят в каждом углу.

Отличные чучела! Превосходные!

Старики разглядывали вечно токующего глухаря, созерцали тетерева, серую куропатку, ястреба, дупеля.

В коллекции старшего егеря был даже рябчик, истребленный в этих местах лет двадцать назад. Но чучело свежее, чистое.

— Голову даю на отсечение, это овражный рябчик, — сказал Иванов. Они заговорили о тех рябчиках, что не улетели с глухарями в тайгу, а ушли в овраги, густо заросшие осиной, черемухой и ольхой. Живут там, а охотники в них не верят.

Пришел егерь, бодрый, красный, пахнущий смолой и пòтом. Он заговорил о рябчиках, перебравшихся в овраги. Видел их сегодня — живут, не тужат.

Умные! На манок их не возьмешь, их ничем не возьмешь, такие заросшие овраги.

После чая и разговоров укладывались спать.

Алексина хозяева уложили на диване, Иванову принесли раскладушку. Постельное белье было свежее, прохладное, приятное, лунный свет то и дело прорывался сквозь бегущие тучи. Поблескивали ружья и стеклянные глаза филина, посаженного на этажерку у окна.

Старики лежали и слушали звуки дома.

Вздыхая, бродил по комнатам Гай, стучал когтями по половицам. Звякал цепью во дворе гончак. Лайка влезла на завалинку и заглядывала в окно.

Она поднималась на задние лапы и смотрела, вырисовывая свой легкий и островатый силуэт на темном стекле.

Временами она сбегала с завалинки и помогала

лаять гончаку резким и звонким лаем. Гончак вел основную партию голосом могучего колокольного звучания.

Это было красиво.

Старикам после крепкого чая расхотелось спать. Они долго слушали лай собак (он несся в ночи к звездам), потом говорили о ружьях. Иванов шептал другу, что ружья егеря хуже его автоматического «шогрена».

Старший егерь не спал. Он ушел на кухню и там сидел в одном белье, чтобы озябнуть и добыть еще немного сна.

Но сон не шел, и старший егерь пил холодный чай с медом да размышлял об охоте, какой она будет.

Старичков надо удивить, так он решил. Затем поразмышлял о своем — слишком уж близок город, мало зверя и птицы. Скучно!

Пришел Гай и лег к его ногам, грея их. В окно заглядывала луна. Поблескивала железная крыша соседа.

И старший егерь немножко помечтал, как он будет восстанавливать здешний лес, сея березы и сосны. Вот бы еще вырастить такую свирепую крапиву (и посеять где надо), чтобы туристы не вытаптывали лес, боялись. А охота... Ничего, он еще разведет куропаток, серых...

Егерь не мог отрешиться от беспокойства за лес, от разговора со стариками, которые за ужином много говорили о древних ружьях.

Старички находили, что ружья «зауэр» не так уж хороши, толковали, что англичане — вот те выделывали первоклассное оружие.

Ох эти мудреные, лукавые, обожаемые старички, давшие ему такую собаку! Они многоопытные, беспощадные судьи всех охотничьих собак на полевых испытаниях, на выставках. Какие они охоты пережили! Сколько повыбили дичи, стреляли за одну охоту по пятьдесят-сто куликов или уток-крякух!.. И рядом с четкой мыслью о завтрашнем дне шли глухие и неяс-

ные мысли о человеке и природе вообще, сейчас и в будущем. К пяти часам утра охота представлялась егерю так: они уезжают в поле. Там есть тетерев, живут и куропатки — штук сто. Правда, места эти открыты всем ветрам, зато старики узнают силу чутья собаки, увидят Гая на открытом месте. Будто в кино.

Итак, на рассвете они сядут в «газик» и уедут, а затем побредут с ружьями. Спать некогда. Старший егерь оделся и занялся готовкой, не беспокоя жену.

Он принес дров и затопил печь, с удовольствием нюхая горький дымок. Это давало ему радость. Острую.

Поставил на огонь котел — сварить овсянку собакам.

Старикам и себе он приготовил завтрак — картошку, яйца и вареную тетерку.

Пахло пищей, стучал крышкой закипающий чайник, посвистывал носом кот...

Старший егерь вышел на крыльцо. День обещал быть холодным и ветреным. Ежась, он глядел на просыпающееся село: хозяйки затопляли печи. Затем пошел к Алексею — шоферу — и застал того проснувшимся.

— Здорово! — сказал он. — Через полчасика подъезжай ко мне. Затем возьмешь Ивана, с ним заезжайте в квадрат номер семь.

— Как стариканы? — спросил шофер.

— Спят без задних!

Но старший егерь ошибся — старики проснулись ровно в шесть. Они быстренько вскочили, увидели в окне начинающийся день, холодный, быть может, со снегом...

— Разве собака покажет в такой день хорошую работу? — расстраивался Алексин. — Ветер унесет запахи.

— Пропала охота, — соглашался Иванов. — Тетерева сейчас все настороже.

Егерь снял ружье для Алексина. С удовольствием:

не ружье — перышко. Двадцать восьмой калибр! Редкая вещь!

Из стола он вынул патроны к нему.

Хороши были патроны — гильзы латунные, сияющие, новенькие, капсюли загнаны до упора, пыжи, чтобы не выпали, залиты пчелиным воском. Сам у пасечника брал. А ружьецо, даром что легкое, бьет недурно, старик приятно удивится.

Да и много ли старикашке надо? Возьмет парочку куропаток — и за глаза. Себе егерь взял «зауэр» двенадцатого калибра и тихонько прошел в кухню. Мимоходом взглянул в окно — все угадывающий Гай уже сидел в «газике». По временам он выглядывал из машины.

...Они ехали на охоту в молчании, как и положено. Дорога шла полями — сумрачными, оголенными, бесконечными. Небо было мятущееся, серое, низкое, с загадом.

Не поймешь его: то ли оно прояснится, то ли осыплет дождем. Или, чего доброго, снегом.

15

Машина ушла. Охотники и черный пойнтер Гай остались у бурого поля. Огромного, пустого. И если бы не березы на краю его, не далекий лес, то казалось бы, что вся земля — поле.

Лежали вороха соломы. Стерня торчала, будто грубая щетина. Подувал пробными вздохами ветер-снеговик.

— Не простудить бы Гая, — встревожился Алексин.

— На ходу он не замерзнет, а кончит охоту — попонку надену. Как бы снег не пошел. — Старший егерь поглядывал на небо.

— Нет, его не будет, — уверил Иванов. — Поясница не болит.

Охотники подождали, когда чутье Гая освободится от бензиновой сладковатой вони и станет свободным и сильным, в миллион раз сильнее человеческого.

Пока что они собирали ружья.

Было легко сложить двустволки: раз, два — и готово. Но с автоматом «шогрен» Иванову пришлось мучиться. И несложна была его сборка, да забывчива старость.

Он складывал ружье, и все неудачно. Но сложил-таки и зарядил, опуская патроны в магазин один за другим, громко восхищаясь удивительной конструкцией ружья.

— Итак, план охоты такой, — заговорил старший егерь, — начнем мы отсюда и тихо двинемся к лесу. Нам могут попасть на мушку тетерева и куропатки белые. Может угодить и заяц. Я знаю ваше пристрастие к зайцам, товарищ Иванов, и прошу сдержать нетерпение до ноября, когда шкурка станет настоящей. Иначе штраф. Ваше ружье, Николай Валентинович, я понесу сам и буду его отдавать для выстрела. Не возражайте, обидного здесь нет, с каждым сердцем может случиться. Ну начали. Гай, вперед!

Иззябнувший черный пойнтер рванулся. Прыжком. И тотчас стал, озираясь и принюхиваясь. Затем пошел с грацией сильной и ловкой собаки.

Старики ахнули.

А из голых берез вышел немецкий кургузый легаш, бородатый и щетинистый.

Повиливая обрубком хвоста, он вел носом по земле, вынюхивая чей-то след. И вдруг стал, а черная птица, трепеща крыльями, рванулась в полет. Тетерев-косач взлетел, обнаружив, что дальше ему бежать некуда, впереди были люди и другая собака.

Хозяин легаша, выбежавший из-за берез, вскинул ружье и промахнулся. Тетерева убил тремя выстрелами, слившимися в один, Иванов.

Бородатый легаш, виляя обрубком, взял тетерева и унес хозяину.

Тот подошел к ним («Местный учитель», — шепнул егерь) — сутулый человек в очках. За ним шел другой — толстый и молчаливый человек.

— Полундин, хирург, — сказал он, кланяясь старикам.

Учитель, обиженный своим промахом, с ходу начал издеваться над Гаем. Он говорил, что его Аксель полкилометра вел за косачом, и если бы не дурацкий промах... Вот друг, он свидетель и соврать не даст.

— Я думаю, мы километра полтора прошли, — усмехнулся тот.

Было видно — учитель гордится собакой. Он говорил:

— Гай верхочут, он того не сделает, что Аксель сможет. В такую погоду выгодно нижнее чутье.

— Гай нам другое сделает, — сказал егерь.

В это время Аксель, все нюхавший вокруг, без стойки вспугнул тетерева. По нему промазал Полундин, но не огорчился. Ничуть.

— Холод! — сказал учитель, уязвленный неудачей собаки. — Птица запах заперла. Ваш пес тоже бы не причуял. Сейчас нужна собака, работающая по следу.

— Что же, я думаю, нам пора, — сказал Иванов.

— Гай, вперед! — приказал старший егерь. И собака пошла в поиск.

Гай понесся по полю, будто полетел низким полетом над этим бурым покосом.

— Черная молния! — сказал Алексин.

— Темп отличный! — отозвался Иванов.

Гай бежал навстречу ветру. Он, как говорят охотники, «шел челноком», то есть сновал туда-сюда, будто в руках невидимого рукодела-ткача.

— Гай — парень умный, — пояснил егерь. — Он все знает, как делать, будто старичком родился... Он знает,

что нужно идти строго челноком, так птицу не пропустишь. Вот и идет.

— Это я его научил ходить математически точно, — хвастал Алексин.

Туда-сюда, туда-сюда... Гай сначала раскидывал свой поиск метров на тридцать пять в одну сторону и на столько же в другую. Но егерь махнул ему рукой, и Гай расширил поиск. Теперь он прочесывал полосу в сто—сто пятьдесят метров ширины. Шел быстро, и старикам даже казалось, что на бегу он не касается земли, оставляя между быстрыми лапами и стерней серую полоску воздуха.

И вдруг стал на полном ходу. Твердо, будто мгновенно отлитая из черного металла статуя, памятник всем на свете охотничьим собакам.

Синеватые, металлические отсветы легли на спину Гая.

— Стойка! — выдохнули охотники. И у всех мелькнуло опасение: а высидит ли птица? Ведь голо и ветрено. Подпустит ли она их?

Они пошли к собаке — Иванов и старший егерь. Позади них пыхтел Алексин: он задыхался.

— А куда мы, собственно, летим? — деланно удивился старший егерь, желая показать каменную выдержку Гая на стойке. И охотники пошли тише, приноравливаясь к Алексину. Пока они шли, птица отбежала.

Тетерев уходил. Где хозяин? Гай оглянулся на охотников, прошел еще немного вперед. Стал — тетерев лег мертво, дальше стерня была низкая, его могли увидеть.

Гай пил аромат тетерева. Запах — он походил на прерывистое, бьющее из птицы пламя. А когда ветер стихал на минуту, Гай видел запах — носом — как вздувающийся вверх пузырь. Он чуял всех: и тетерева, и

сидевших в черном картофельнике куропаток. Их запах приходил в виде треплющихся по ветру нитей.

Чуял охотников и с ними движущийся сладкий и страшный запах ружей, составленный из запаха стали, кожи, горелого пороха и ружейной смазки. Гай полюбил его, начав охотиться.

Охотники подошли и остановились (а тетерев сжался, готовясь к полету). И надо было спешить, но охотники залюбовались собакой.

— Картина! — восхитился Иванов.

— Статуя! — решил Алексин. — Погляди, как он держит прут. — (Охотники называют так голый и сильный хвост пойнтеров.) И Алексину, знатоку кровных собак, знавшему пойнтеров самых высоких, самых чистых кровей, хвост говорил о собаке, ее характере и настроении.

Он был в восторге от этого хвоста!

— Высший балл за красоту! Но каково-то чутье? Сила его?

— Ну, я полагаю, если он чует даже в такой ветер и холод, то... — говорил Иванов.

«Господи, сделай, чтобы все было хорошо...» — думал старший егерь. И ему, несмотря на знобкий ветер, лезущий под куртку, стало жарко.

— Современный стиль работы, — рассуждал Иванов.

— Заклинает воздух! — кричал Алексин.

«Как бы не упустить птицу», — тревожился егерь.

— Вперед! — шепнул он, и Гай шагнул вперед. Тетерев присел, черная собака подходила к нему неслышными шагами. Ближе, ближе. Тетерев разжал крылья, готовясь лететь.

— Вперед! — приказал старший егерь, и Гай шагнул раз-другой.

Тетерев взлетел, борясь с ветром.

Он, быть может, и улетел бы счастливо, но ветер

сбил его и ровно понес в сторону. Иванов чисто взял его первым же выстрелом «шогрена», а Алексин считал шаги от стоящего Гая к месту взлета птицы.

Сорок емких шагов!

В такую погоду!

Он подошел и поцеловал собаку в макушку. Егерь счастливо и громко засмеялся, а Иванов пошел к сбитой птице. Гай ожидал нового приказа искать.

Он напрягся, готовясь к первому быстрому прыжку. Но охотники не спешили, они рассматривали тетерева. Это был коричневатый, летнего вывода петушок. И они дули в перья, трогали его брови, расправляя, и любовались раздвоенным и выгнутым в стороны хвостом.

— Я же говорил вам, он одинаково владеет чутьем и собой, — хвастался старший егерь. От удачи Гая он словно опьянел, и ему хотелось говорить без остановки, и все о Гае.

— Он талантлив, он любит меня лишь за то, что я охочусь с ним, — уверял егерь охотников.

По куропатке выстрелил Алексин (его была очередь), и удачно. Затем стрелял егерь, и снова Иванов, и опять Алексин. Они ушли с открытого поля и брели вдоль оврагов. Здесь тоже были поля — мелкими заплатками. Вокруг них в ржавых травах прятались птицы: дичи оказалось достаточно. И в затишье Гай показал сильное, верное, дальнее чутье.

Он бежал, как летел; останавливался, подавал найденную птицу под выстрел и был счастлив. Хотя сорвал коготь с передней лапы и оцарапал ухо.

Одна только случилась каверза — из кустов к Гаю выбежала лисица с овальными ушами. И стала ласкаться. Странно долгоногая, она виляла хвостом и манила Гая за собой. Он не шел, но тоже вилял хвостом (это была Стрелка. И, обнюхиваясь с нею, Гай вспомнил дом, хозяина, Белого пса). Но выстрелом, пущенным вверх, долгоногую лису отогнали.

И снова Гай мчался, и металлом поблескивала его спина.

...Они принесли домой двух тетеревов, трех серых куропаток и перепела. Старики много говорили старшему егерю о Гае, о блестящем его будущем в роли чемпиона породы («Он будет им, будет», — уверяли они). Алексин велел привозить его на полевое испытание. Он гарантировал диплом первой степени по болотной дичи, золотую медаль на выставке.

— Ты не горячись! — останавливал Иванов. — Повсякому может случиться.

— Не должно случиться! — кричал Алексин, бегая по кабинету. Егерь же счастливо посмеивался и наливал старичкам крепкий горячий чай.

И снова была ночь, и снова охота — так четыре дня подряд. Гай не уставал, но старики уже едва тянули ноги. Тут кстати подошел снег. Он тонко лег на землю и на крыши, опушил и деревню. Охота с легавой кончилась до следующей осени.

Старики жили у егеря еще несколько дней. Они много гуляли в лесу (там встречали и Полундина), находили воздух целебным и удивлялись тому, что живут в городе, а не здесь. Они беседовали то с егерем, то с Полундиным... Он говорил мало и скупо и производил впечатление человека, пережившего неприятность.

Егерь же рассказывал о своих наблюдениях летнего токования глухаря, показывал фото. Еще жаловался на собак — одичали и разбойничают в лесу.

— Понимаете, — говорил старший егерь, — появились дикие собаки. Думаю, они прибежали из города. А волков нет, конкурентов они не имеют, бесчинствуют, множатся. Свирепствуют, дичинку поедают. К ним примыкают другие, наши собаки, деревенские. Понимаете — одну хозяин обидел, другой вольной жизни захотелось. Гая они манили, да он пренебрег.

— Интереснейшее явление, — говорил Алексин.

— И давно так? — спрашивал Иванов.

— Навалились летом, а теперь их тут целый взвод: пестрые, белые, рыжие — всякие. Хитрющие стервецы! Поселились в заболоченном овраге, к ним и не подберешься.

— Отстреляйте, — советовал Алексин.

— Нескольких мы убили. И что же, другие немедленно перешли на ночную охоту. Попробуй возьми их! Это вам не лисы, не волки, их флажками не обкидаешь, перепрыгивают и уходят.

— Капканами их!

— Взял одну в капкан, а их десятки. Может, два десятка, по снегу я точно узнаю.

— А стрихнин? — спросил Алексин. (Иванов покосился на друга.)

— Пробовал цианид и тоже одну взял. Теперь они и не подходят к отравленному, едят только свою добычу. Понимаете их тактику? Стоит нажать в одном месте, они тотчас перебегают в другое, стоит зажать их полностью, и они, глядь, вертятся в городе. Да, да, я их в городе встречал, знаю некоторых, так сказать, в лицо. Есть тут один пестрый клоун, вожак, его я встречал.

— А если мы их подкараулим? — спросили старики.

— Дело полезное.

— Где же?

— А вот где, — деловито заговорил старший егерь. — Вблизи Сосновки был единичный скотопадеж, телка сдохла. Хозяину лень было зарывать, он ее вывез в лес и бросил. Там и караульте, около телки. Они, я думаю, обязательно придут к ней.

16

И точно, у Сосновки увидели они собачьи следы. Вроде бы и лисьи по размеру, да пальцы не сжаты в тугой комок.

Да, да, это распущенные, неряшливые собачьи лапы!..

Следов оказалось много. Были они у дороги, были среди помоек и хлевов. Были и на опушке леса, и вообще рассыпаны повсюду.

Следы подходили к полузасыпанной снегом телке, бурому пятну на белизне свежего снега.

Старички устроили засаду в сене не убранного еще зеленого стога. Вооружение их было такое: егерь дал Алексину мелкокалиберку, Иванов зарядил патроны картечью и промыл механизм «шогрена» керосином, чтобы автоматику не заело на морозе.

С этой стороны все было хорошо, даже нож взяли. Чтобы не мерзнуть, старики прихватили с собой термос, полный сладкого горячего чаю. В него Иванов влил водку.

Оделись тепло: в валенки, в тулупы, стали зарываться, уходить в сено.

Ворочаясь и кряхтя, они устраивали себе уютное глубокое логово. Устроили. И, глядя в наступавшие сумерки леса, ждали собак.

Пришла лунная ночь. Свет луны был странно яростный, почти страшный. Зато и прицел винтовки (Алексин это проверил) виделся хорошо. И телка ясно видна. До нее метров пятьдесят или вроде этого. Можно бить наверняка из дробовика и винтовки. А лучше из обоих сразу.

Алексин поставил прицел винтовки на пятьдесят метров.

Старики ждали, поклевывая носами. То и дело они засыпали, но тут же просыпались. И видели одно и то же — грозное, почти невыносимое глазам блистание лунной ночи. Поглядев на него, снова уходили в сумерки полузабытья и неподвижности.

Морозец был легкий, и Алексин отказался от чаю. Его, довольно покряхтывая, выпил Иванов.

Выпил — и зимний лунный мир показался ему прекрасным миром, а ожидаемые собаки — замечательными зверями. В них стрелять? Да ни за что!

Конечно, это плохо, что они бросили человека, сбежали в лес и вредят, пожирая дичь. Чем им не угодил город?

Впрочем, от грубого хозяина сбежишь не только в лес.

Алексин задремал. Ему приснился Гай. Но не обычный пес, а Черный Демон Охоты, безжалостный и неутомимый, в искрах огня. Охотились они с Гаем на слонов: пес летел по воздуху, Алексин бежал за ним и задыхался, слоны ревели.

Алексин проснулся.

Ни звука — установилась глубочайшая лесная тишина. Алексин разбирался, что разбудило его? Дикий сон?.. Чьи-то шаги?.. Да, да, к ним шел кто-то, Алексин вслушался — нет шагов. Стоит мертвая, грозная тишина. Будто он не караулит беглых собак, а летит в космосе.

Но где же собаки?

Он покосился на приваду. Никого. Алексин посмотрел вниз и вздрогнул: около стояли эти собаки. Они глядели прямо на него.

Сначала он увидел штук пять или шесть собак, и ему подумалось, что старший егерь врал, говоря о двух десятках. Но, осторожно ведя глазами, Алексин увидел других.

Те собаки лежали и сидели вокруг стога, прямо на снегу. Вот одна закинула голову и широко зевнула, другая отвернулась в сторону. Но ближние, сидя и лежа, все глядели прямо на Алексина.

В глазах собак горели красные огоньки.

Алексин разглядывал их: обыкновенные дворняги! Одни собаки поменьше, другие побольше. В свете луны ясна их окраска: пятна на боках, пятна на мордах.

Хвосты у одних собак были лихо закрученные, у других уныло свисали вниз. Но были и куцые собаки, были породистые. Даже, кажется, ирландский сеттер.

Сманили дурака!..

Алексин вздохнул, и собаки услышали его. Теперь они смотрели на него — все до одной. Обычные собаки, видел он таких сотни и тысячи, но в этих жуть и упрек.

Жуть? Это ясно. А упрек?

В чем они могут его упрекнуть? Не он гнал их в лес. И все же тоскливо сосало под ложечкой: виноват...

Совесть его чиста, но все же сделано им что-то нехорошее, гнавшее из города этих псов.

А вдруг они будут мстить?.. Бросятся?.. Изморозь легла на его спину. Алексину стало страшно, он толкнул Иванова локтем.

Тот проснулся, как просыпаются охотники в засаде: мгновенно и не спрашивая ни о чем.

Иванов открыл глаза, увидел собак и едва не присвистнул восторженно: сколько их здесь! Но сдержался.

А к стогу подходит тонкая корноухая собака, очень похожая на лису.

Где-то он ее встречал.

За ней идет большая и пестрая.

Жалкие звери... Иванов так их понял — жалкие и одинокие, хотя их здесь большая стая.

Но что привело собак к ним, сюда (не к телке), а собрало их под стожок?.. Любопытство?.. Тоска по человеку?..

Алексин стал поднимать винтовку, желая одним движением и вскинуть ее, и поймать собаку в прорезь. Вскинул, но собаки — все! — прыгнули в разные стороны. Унеслись, и выстрел мелкокалиберки безвредно щелкнул им вслед.

— А чего ты не стрелял? Взял бы двух-трех? — сер-

дился Алексин на Иванова. — У тебя же автомат, пять зарядов.

Иванов молчал.

— Они здесь всю дичь повыведут! Они... — Алексин хотел было сказать о пережитом им страхе и не решился.

А Иванов ощутил его страх. Он стал его страхом. И не перед собаками: чего бояться вооруженным людям? Старика испугала непривычность явления.

Гм, собаки... Это уже не псы, а звери.

Они с Алексиным, неуклюже ворочаясь, вылезли из сена. Подошли к телке, осмотрели. Но телку-то собаки не рвали, на них глядели. И дождались выстрела? Нехорошо.

— Но что их может гнать из города?

— Проанализируем, — сказал Алексин, закидывая ружье на плечо.

И старики, идя в деревню мимо черных деревьев, то и дело оскальзываясь на свежем снегу, пытались решить вопрос.

— Не наше это с тобой дело, — сказал в конце концов Иванов. — Мы делали что могли, даже больше. Мы воевали, переделывали старый мир в новый, ставили город молодым. Дали им удобства, сытую жизнь. Так пусть же, черти, и разбираются во всем!

— Тс-с-с! — прошипел Алексин. — Гляди!

Старики шли от стога тропой, по краю оврага. И увидели — по другую сторону этого огромнейшего оврага пронеслась вся стая. Молча.

...Собак задержал у стога запах добрых стариков. Вспомнила их Стрелка и остановила стаю, спешившую на ночную охоту.

Они бежали к тому лесному островку, где паслись несколько лосих и слабые телята. Их выследила Стрелка и приводила глядеть Пестрого.

Они подошли. Но лоси не испугались двух собак, их

прогнала молодая лосиха, наскакивая и грозя ударить копытом.

Собаки убежали. Им было ясно — нужно отбить одного лося. Но по такой крупной дичи они еще не охотились. И псы стали готовить свою охоту: то и дело наскакивали на лосей, а те ответно нападали на собак.

Недели две шла эта охота-игра, а затем как-то вдруг все стало на место. Охота сложилась сама собой. И к переходу в поле, обычно используемому лосями, убежали черный угрюмый пес и с ним помесь бульдога с овчаркой, собака очень сильная. А также Стрелка и трое ее щенят, успевших вырасти в крупных собак.

Засады были устроены собаками и еще в двух-трех местах. К лосям же пошли Пестрый и полутакса, а с ними все почти деревенские собаки, давно охотившиеся в лесу. Эта ватага, десять собак, подвалила к лосям вместе с Пестрым.

Лосей они нашли там, где им полагалось быть, на лесном островке, среди оврагов. Собаки остановились, а Пестрый пошел вперед.

Было морозно. Пар вылетал из его пасти. Снег под лапами скрипел.

Пестрый тявкнул на лосей — раз и два. Игриво. Он даже подпрыгивал, лая на них.

Лоси вышли из кустов ольховника и сгрудились. И снова выбежала вперед та бойкая корова, что гоняла его и Стрелку. К ней шел Пестрый.

Он подходил, игриво раскачиваясь на ходу. На самом же деле, идя так, чтобы удобнее было отпрыгнуть в сторону.

Корова стала гонять Пестрого. Наскакивала, всхрапывала, пыталась ударить копытом. Он то прыгал в кусты, то вертелся между деревьями.

Лосихе было весело гоняться за собакой — та отступала.

Когда же лосиха отошла от стада, все залегшие псы,

что до сих пор нервно двигали лапами и хватали зубами снег, вдруг набежали с ревом и лаем.

Они окружили и отрезали лосиху от всего остального стада.

Когда вывалил и покатился на нее лохматый, ревущий, темный шар собак, корова испугалась и сделала ошибку — побежала не к стаду, а в поле.

И началась погоня — лосиха бежала по склону оврага, а собачья ватага — выше ее. Не пускала в поле, налетала, кусалась.

Лосиха бежала вдоль лога, а на нее наскакивали и наскакивали собаки. Их становилось все больше.

Корова напугалась: всюду были собаки, необычные, страшные.

В конце концов они-таки направили лосиху к тому выходу, которым обычно уходило лосиное стадо на поля. Корова обогнала собак и вскочила в глубоко врезанный ручей. Путь этот был знаком, он уводил на такие огромные поля, где собаки ей не страшны, там ее не догонят. Оставалось только обогнуть ручьем густо вставшие на пути деревья, а далее шла ровная дорога.

И здесь-то на лосиху бросились пять сидевших в засаде псов.

В полном молчании они прыгнули на нее. Сбоку. Они впились в бока, в ноги. И сразу же Стрелка перекусила ей сухожилие задней ноги.

Догнали отставшие было собаки. Напали!

Лосиха билась страшно. Она ударяла собак передними копытами. Черному псу она снесла череп, но Пестрый удачно полоснул ее зубами по сухожилию другой задней ноги. Лосиха теперь не могла бежать. Она осела в воде между заснеженных высоких берегов. Прокушенные жилы кровили. От ледяной воды тело немело, его будто и не было. Собаки были вокруг: теперь можно и не спешить. Но то одна, то другая собака вдруг бросалась и, рванув лосиху, отскакивала назад.

К той пришло забытье: лосихе казалось, что она бежит от собак полем.

А Стрелка отошла в сторону и понюхала своего щенка (он был убит). Она лизала его, а когда поднимала голову, то видела лежавшую в ручье лосиху, громадную, хрипящую.

И Стрелка завыла.

...— Что, что, что это? — спрашивал Иванов. — Они бегут, как волки. Ты видел? Видел?

— Уйдем-ка, — шептал Алексин. — Быстрей пошли.

В Сосновке они постучались в первый темный дом.

Деревни Сосновка и Березняки разделял лесной овраг. Глубокий. Он зарос черным лесом, имел собственную речку, собиравшуюся из множества родников.

Было в этом овраге и свое топкое болото.

Когда-то здесь жили волки. Они выли по ночам, нагоняя тоску на деревенских жителей, резали скотину. Но простодушных волков постепенно выбили охотники. Теперь этот овраг заняли собаки.

В укромных лазах ходили они: за ними охотились, их караулили с ружьями. И одичавшие собаки припомнили привычки Древних Собак. Они научились идти след в след и путать охотников, пробегая по мелкой воде.

Стаю водили Стрелка и Пестрый.

Стрелка была всегда настороженная собака, а тот разумен и удачлив.

И после охоты сытая стая ушла в овраг. Спали весь день.

И снова пришла ночь.

Теперь все уцелевшие собаки были на болотном островке, посреди оврага. Щенки возились, взрослые сидели молча: они ощущали вхождение в свою жизнь чего-то нового.

Они видели людей, пахнувших так знакомо. И в не-

истребимой собачьей устремленности к человеку подошли к ним. Был страх, и была надежда.

Люди зашевелились, выстрелили в них.

Стрелка яснее других ощутила вхождение этого нового: на нее охотились городские добрые старики.

Надо бежать! Скорей! И она запрыгала с кочки на кочку..

Собаки глядели ей вслед. Она остановилась и заскулила — Пестрый тоже пошел. Потянулись за ним щенята, а там поднялись и остальные собаки.

Прыгая по кочкам, стряхивая снег, они выбрались из оврага и вдруг побежали. Теперь впереди стаи легко, волчьим скоком несся Пестрый.

17

Отсветы города собаки увидели сквозь деревья.

Они выбежали на опушку, сели, прилегли.

До глубокой ночи глядели собаки на широко рассеянные огни города. Щенки затеяли было возню, но взрослые были серьезны. И один за другим щенки переставали возиться: глядели, тянули к городским огням острые морды.

Носы их шевелились, ловили резкие запахи угольного дыма, бензина и того зловония, которое испускают пустыри, ставшие свалкой города. Затем Пестрый снова повел собак. Теперь они вошли в город: пробежали ночными улицами, миновали центральную площадь.

Милиционер вздрогнул и не поверил своим глазам, увидев их быстро катящиеся силуэты. Откуда? Почему так много?

...Собаки обежали город. Они побывали у темной многоэтажки, вставшей на месте прежнего сгоревшего дома, ходили к складу магазина «Промтовары», выли на улицах.

А затем ушли назад, к лесу. Но теперь они не сидели

на опушке, а миновали ее деловито и нацеленно: собаки бежали на север.

Алексины (с ними супруги Ивановы) уютно проводили вечер.

На ужин была шпигованная салом тетерка, обжаренная в духовке до золотистой корочки, к ней подан гарнир с зеленым горошком. Когда стали пить чай, Алексин заговорил о собаках. Иванов взглянул на него искоса и недовольно отодвинул стакан.

— Куда они все же ушли? — недоумевал Алексин. — Что в лесу будут делать? — И требовал ответа Иванова: — Скажи! Ты натасчик, ты ближе меня, теснее связан с собаками.

— Не знаю.

И оба старика задумались. Им вдруг стало неуютно у стола. Ощущение вины, портя вкус съеденного, опять входило в них. Словно неприкаянные призраки, перед ними вставали бездомные собаки. И каждый думал, что надо было позвать. Ну, посвистеть, почмокать губами, что ли.

Позвать?.. Но куда?..

Иванов поднялся и подошел к окну. Сдвинув штору, глядел на улицу. Но видел только просвеченный луной морозный рисунок на стекле. Узор походил на древовидный папоротник — растение каменноугольного теплого периода.

Собаки в это время бежали в дальние, безлюдные, таежные леса.

Трещали деревья, неистово, будто напоследях, горела луна. Тени деревьев лежали на зеленом лунном снегу.

Теперь стаю вела Стрелка. За ней легко бежал

Пестрый, за ним растянулись в беге щенята и остальные собаки.

Они бежали след в след, и за каждой собакой катилась ее черная тень.

Торопились старый пес и бульдог-полуовчарка, задыхался в беге коротконогий, помесь таксы и другой какой-то собаки. Бежали другие — длинной, растянувшейся цепочкой. Из горячих их ртов вырывался дымок, и вспыхивал в нем холодный блеск луны.

Собаки бежали...

ЧЕМПИ

1

Рифа украли в июле, воскресной ночью. Еще в час ночи он был на месте. Когда Игорь, проводив Надю, шел к себе, Риф задышал и заскулил в щель сарая, застучал по доскам хвостом. Но Игорь не остановился, а пробежал к себе, на четвертый.

Взбегая на этаж, он услышал тонкий вой Рифа и думал, что делает недоброе, отводя вечернее время одной Наде. И нет времени для славного пса Рифа, нет для матери — нехорошо.

Игорь открыл дверь своим ключом и вошел. И застал на кухонном столе чайник, накрытый куклой-матрешкой. Он поднял ее подол и ощупал чайник — горячий. В холодильнике взял вареное мясо, сыр, масло. Ел неохотно — улыбался, забывал жевать. Поев, он лег спать.

Лег, согрелся и ощутил Надю, ее крепенькое тело, ее острые локотки. Славная, добрая.

— Славная... славная... саванная... — шептал он, засыпая. И тотчас пробежали белые собаки, и легло поле красных маков.

Все дальше в сон катился Игорь, а не засыпал. Он ждал слонов — они стали приходить в его сны две недели назад и теперь являлись еженощно.

Собственно, этих слонов должен был видеть Никодимов — его посылали работать в Африку. Но тот заболел, и ехать предлагали Игорю.

В первую же ночь после предложения ехать и пришли слоны. Они шли длинной вереницей, держась за хвостики друг друга.

Глаза слонов были маленькие и веселые, уши лохмато-черные, будто у Рифа. И так захотелось Игорю к веселым слонам. Он попросил Надю ехать вместе с ним, женой. Надя женой стать согласилась, но ехать отказалась решительно.

При отказе ехать она даже и голову несколько сбычила, и сжала губы. Ему захотелось целовать ее, а слоны как-то отошли. Но только наяву, а во сне они приходили. И говорили Игорю о силе его желания уехать с Надей и Рифом.

В Африке жить, работать, охотиться.

...Наконец появились знакомцы слоны, Игорь вздохнул легко и радостно, и тут же его разбудили. Будила мама, говоря:

— Игорь, проснись... Ига, проснись... Ига, Ига, Ига...

Он слышал ее и не мог шевельнуться, слившийся с тяжелой кроватью. А мама стукала и стукала его своим голосом, будто резиновым пузырем по голове, и тот скрипел.

— Да проснись же! — вскрикнула мама. Но Игорю не хотелось просыпаться.

За полем рос лес в виде зеленой пены, из него и выходили один за другим слоны с черными мохнатыми ушами. Они трубили:

— Нига-а-а!.. Нига-а-а!.. Нига-а!..

«Не хочу, — смутно думалось ему. — Не хочу. Будят... Наверное, дурит Соня, придется звать «скорую»...

И все кончится валерьянкой... Не хочу просыпаться, хочу слонов с черными ушами».

— Господи! Спит как убитый! — вскрикнула мать.

Голос сестры:

— Загулялся. Но сейчас я его подниму. Игорь, Рифа украли! — крикнула она.

Он сел, ударив в пол пятками.

Горела настольная лампа, рисовала на потолке яркие кольца. В длинных халатах стояли мама и сестра.

В окно входила зябкость, пол холодил ступни, и такая сонная слабость...

«Рифа украли». Игорь хотел сжать кулак, но пальцы его не собрались вместе.

— Украли?.. А вы почем знаете? — спросил Игорь и увидел в дверях соседа. Лицо у того сонное, бородатое, на лысине — отблеск лампы.

Сосед искоса взглядывал на сестру.

— Не спалось мне, Сонечка, — говорил он и посмотрел на Игоря.

— А дальше? — спросил Игорь и стал одеваться.

— Не спалось, — объяснял сосед. — Выпил я димедролу — не берет, сжевал пару таблеток ноксирона — черта лысого. Распахнул окно и высунулся. Вижу, около вашего сарая возятся. Думаю, и пусть возятся. Лег я, поворочался. Вдруг припомнил, ведь кто-то вроде постанывал. Не то резали, не то давили кого. Выглянул, а сарай-то ваш открыт. Схватил я со стены ружьишко и вниз. Подхожу, а собачка не лает, пусто. Скакнул на улицу: одни кошки бегают. А ноги уже подкашиваются от таблеток. Сюда полчаса царапался.

— Господи, как же я без Рифика жить буду. — Мама всплеснула руками.

Игорь подошел к окну: чернота двора, тусклые лампы, освещающие черные кубы сарайчиков. Свой распахнут. Игорь сморщился, вспомнив скулеж Рифа и стук его хвоста по доскам. «А я не подошел».

— Я бы вызвал милицию, — медленно говорил сосед. — Пусть ищут по горячим этим... следам.

— Гадюки! — вскрикнул вдруг Игорь. И побежал вниз, гремя ступенями.

Выскочил. Сунулся в сарай — пусто. От ноги его отлетел замок. Игорь выбежал на улицу.

Схватясь за палисадник, рванул планку. Вооружась, он перевел дыхание и пошел большими шагами. И проскальзывали, уходили назад тени домов. Позвал Рифа — тишина. Пробежал туда-сюда — никого.

2

В милиции собаку искать не захотели. Даже обиделись на Игоря.

— Что вы, дорогой товарищ, шутите.

— Но собака-то породистая! Внук чемпиона! — вскрикнул Игорь. — Ищете же вы часы или иную дрянь. Моя собака подороже десяти часов, она материальная ценность, в конце концов.

— Какой она породы? — спросил дежурный из-за стола. У дежурного лицо с широкими углами челюстей, но глаза маленькие, а веки черные, будто надкрылья жука. Спрашивая, он помаргивал веками-крыльями.

— Крапчатый сеттер, — сказал Игорь. — Всесоюзная родословная. Белый, а по нему черный и коричневый крап.

— Трехцветный, так и запишем. Я Сергеев, — сказал Игорю дежурный. — А ваша фамилия и прочие обстоятельства?

Игорь сел на старый, вытертый стул и сообщил их Сергееву, человеку поистине огромнейшему. Ростом тот был с самого Игоря, но широкий, красный, налитый силой.

«Если такой сгребет за шиворот... страшное дело...» — с удовольствием подумал Игорь.

Сергеев задумался, постукивал себя пальцем по колену, широкому, как опрокинутая чашка.

— А сколь дорого стоит ваша собака?

— Рублей двести по объективной оценке.

— На собак, дорогой мой охотничек, цена не объективная, а сколько дадут. За иную рубля жалко, а за пойнтера Кадо доктор наук Полушкин отдавал «Победу» с мотором «Волги», а получил шиш. Сколько давали за твою?

Игорь вздохнул и посмотрел в черные окна. В каждом отражались настольная лампа, Сергеев и он сам.

— Двести рублей, собственно, мои траты. Но однажды за него предложили штучное ружье фирмы «Лебо».

— Врешь! — быстро сказал Сергеев.

— Зачем? Лебо, штучный, с золоченым механизмом.

— Здесь, в нашем городе?

— Конечно.

Сергеев, стукая колено, осознавал этот исключительный факт. Должно быть, не верил.

Игорь и сам не поверил, когда Макаров предложил такое ружье за щенка! Чепуха, насмешка...

— Во! — сказал, помолчав, Сергеев. — Если не врешь, то дорого твой пес стоит, «лебо» за восемьсот целковых идет. «Лебо»... Ишь ты!.. Нет, ты не врешь, оно одно у нас в городе. Либо ха-арошая у тебя собака, либо Макаров с винта сошел...

— «Лебо»... — бормотал он. — По теперешней дичи только с такими ружьями и ходить, серийным ее не возьмешь, боя не хватит... «Лебо»!.. Тогда мастера истово работали. Ты не ружьем, ты замечательным человеком стреляешь.

И Сергеев прикрыл глаза веками.

К ним подошел седенький, еще не старик, а так, лет сорока пяти. Он смотрел на Игоря не то ласково, не то насмешливо. Губы его сложились в серую дудочку, словно он сосал больной зуб.

— Я Лобов, — сказал он Игорю. — И все слышал. Найдем вашу собачку... Слушай, Сергеев, — тихо заговорил он. — Я ухожу домой и сам пройду с товарищем.

— Есть, товарищ капитан, — отвечал тот, не открывая глаз. — А я подремлю, город стихает — утро...

3

Лобов первым вошел в сарай. Светало. Поблескивали велосипеды — Игоря и сестры. Из-под крышки погреба, вырытого в сарае, лезли запахи капусты и картофеля, сытные, тяжелые.

Еще пахло ржавчиной и стоявшей на полке олифой. Игорь сморщился, он не знал, что на рассвете так активны запахи.

— О господи, — говорила мать. — Украли нашего мальчика. В чьи-то руки он попал? Дай бог, чтобы к доброму человеку. Дура, вора добрым зову. Найдите нам Рифика, товарищ начальник, найдите.

— Посмотрим, — сказал Лобов.

Он ходил по сараю. Нагнулся, взял раскрытый замок, подержал его на ладони и бросил. Снова нагнулся и поднял что-то. И это, поднятое, сунул Игорю в нос — ударил запах копченой колбасы.

— Краковская колбаса, три шестьдесят кэгэ, — сказал Игорь автоматически.

— Именно, — подтвердил капитан. — Вон он его чем привлек, вор-то.

— Отравленная? — тревожно спросил Игорь.

— Зачем? Просто хорошая колбаса. И потом, кто же держит породистую собаку в погребной вони? Вы портите уникальный аппарат чутья, вами должна заняться наша секция сеттеристов, просто обязана. Вы меня простите, но для собаки даже лучше попасть в другие руки.

Капитан отчитывал Игоря, держа найденную колбасу двумя пальцами. Нос его брезгливо морщился. Игорь

чувствовал недоброжелательство к себе капитанского носа и страдал.

— Не понимаю я таких владельцев, — сердился Лобов. — Найдем — продавайте ее скорее. Но искать буду, снабдите меня портретиками и приметами. Принесите в отделение сегодня.

И губы Лобова опять сложились в насмешливую трубочку. «Он смотрит на меня как на идиота, — думал Игорь и почувствовал себя невыспавшимся, глупым и огромным, как диван. — И верно, дурак! Не удосужился сделать сигнализацию, дрянной замок...»

Ох, надоели ему все: соседи, погреб, дурацкий сарай, нос капитана.

Только Надя и Риф милы ему. Надя чудо, и Риф чудный. С ними бы жить, охотиться, испытывать приключения.

Лобов закурил и спросил мать о соседе, страдающем бессонницей. Потом стал говорить ей о неудобствах проживания на высоте четвертого этажа.

— В вашем возрасте, — внушал он матери, — высоко жить вредно. Собака — это беспокойство, избавляйтесь от нее. Я тоже собачник, сам знаю. И у меня собаку крали, — сказал он Игорю. — И знаете, где ее нашли? В Горьком. Я махнул рукой и купил себе щенка.

— Какого? — спросил Игорь.

— Пойнтера. И вам советую: берите пойнтера. Это разумно — гигиеничнее, удобней, в квартире держать будете.

4

— Завтракать, дети, завтракать, — говорила мама.

Сестра откусила хлеб, пожевала его и сказала, глядя на Игоря сквозь свои локоны, как африканский ящер с дерева:

— Поздравляю твою Надежду.

Игорь положил на тарелку салат.

— Нет больше собаки в вашей жизни, — продолжала сестра, глядя на него как вивисектор. — Мешать некому. Может, ночью сам выгнал?..

— Софья! — сказала мама.

— Ты хотел возвеличиться своей собакой. Думал, купишь внука чемпиона, все будут говорить о тебе. Ты же Рифика не любил... — говорила сестра. Игорь жевал салат, не чувствуя его вкуса.

— Посмотрим, что сама запоешь, когда станешь выходить замуж, — сказала мама.

— Я не выйду замуж, — сказала Соня. — Никогда.

Сестра была громоздкой и без обаяния. Решался ухаживать за ней только сосед, плешивый, коротенького роста.

Игорь оскорблялся этим.

Мать часто говаривала, что напрасно, рожая, дала Игорю красоту, мужчине она не нужна, а Сонечка оказалась обделенной. И остается девушке коротыш-разведенец.

Игорь тоже жалел сестру, терпел ее нервозности, сердечные приступы и бегал ночами, вызывал «скорую помощь».

А вот теперь обрадовался неудачливости сестры.

Она жевала салат. Листики пищали на ее крупных зубах.

Мать говорила:

— Мне не хватает Рифа, я с ним за эти месяцы сроднилась, я его выращивала. Ты, Игорь, только принес и лег спать. Тебя ведь из пушки не разбудишь. Я лежу, не сплю, на лунный узор смотрю. И вдруг через него идет белая малявочка, идет и скрипит. Соскучилась, мать ищет. Я его и положила под бок. Он взял в рот мой палец и давай сосать. И так заснул, не выпуская палец. А под другой бок пришел кот Василий. Так

и спала я под двойным остережением, шевельнуться боялась.

— Да перестаньте зудеть! — вскрикнул Игорь. — «Был, был!..» Я говорю, что Риф не только был, но и будет. Этот пропал — второго заведу. Тот пропадет — куплю собачью свору. Где живу я, там всегда будут жить собаки. Да ну вас!

Игорь вскочил и сбежал вниз. Походил, успокоился. Когда вернулся и отомкнул почтовый ящик, вместе с газетой и письмом к сестре (без обратного адреса) выпал конверт с надписью жирным карандашом: «И. Лаптеву в собственные руки».

Игорь разорвал конверт — там лежали деньги и бумажка, исписанная незнакомой рукой:

«В счет стоимости Рифа 500 (пятьсот) рублей».

— Оригинально, — пробормотал Игорь, рассматривая конверт. Оберточная бумага, самодельный, склеен крахмальным клеем. На плотном его боку печати чьих-то жирных пальцев.

— Улика, — пробормотал Игорь и медленно пошел вверх. Вытряхнул на обеденный стол кучу десятирублевок. Все мутные, сальные бумажки. Игорь пересчитал их — пятьдесят одна.

— Что это?

— Вот, в ящике нашел, — Игорь пожал плечами и улыбнулся, снова ощутив себя громоздким и глупым.

— Фальшивые, — сказала мать, а сестра захлопала в ладони и закричала:

— Поняла, поняла, поняла! Это компенсация! Твоя состоятельная тещенька подговорила пацанов. Знает, что эти бумажки пойдут на ее Наденьку. Не выношу ее! Привыкла иметь лучшее! В десять лет — золотые часики, в четырнадцать — вязаное платье, в двадцать — здоровый, красивый и глупый муж. Верти им как хочешь!

— Язва ты африканская, — сказал Игорь и сел на стул.

— Вот деньги, — говорила ему сестра. — Кто мог их послать? Вор? Тогда в чем логика его профессии? Но берем будущих родственников: им Риф костью в горло воткнулся, и собаку вежливо и безгрешно устраняют.

— Фантастика!

Игорь снова пересчитал бумажки — пятьсот десять рублей. Бред какой-то! Нет, нет, Лидия Андреевна не сделает такого.

Да, она зовет их с Надей жить к себе, но твердо сказала, что не станет жить с Рифом. Да он и сам говорил Наде, что курящая теща опасна для нежного чутья Рифа. А держал в сарае...

Нет, не может сделать такого Лидия Андреевна.

А если она? Сидела, держа сигарету в прокуренных пальцах. Они желтые, сухие, похожие на костяные рогульки. На каждом пальце по золотому кольцу: наука теперь кормит щедро.

И так, куря и пуская дым вверх, она все обдумала и решила с присущей ей твердостью.

Что делать? Смириться? Или — назло! — купить вторую собаку? Но расставаться с Рифом сильно не хотелось. Внук чемпиона.

Кому случается держать такую собаку? Почему нельзя украсить ею жизнь? Да и как охотиться без собаки?

...После обеда Игорь снова посмотрел почтовый ящик, даже постучал по нему кулаком. Теперь выпал плоский конверт: «И. Лаптеву». Конверт голубой, стандартный. Он вскрыл его на лестнице:

«Игорь! Прошу извинить меня за экспроприацию Рифа. Ваш твердый отказ двинул меня к сему решительному действию. Поймите — я старик, а ваш Риф заинтересовал меня. «Лебо» я продал, из его стоимости 500 (пятьсот) рублей послал вам, остальные двести рас-

считываю пока употребить на работу с Рифом. Еще пятьсот рублей выплачу частями в течение этого года. М. Макаров».

Росчерк смелый, нахальный росчерк. Однако каков!

Игорь стоял. У него заломило правую сторону головы и надбровья и тукало в уши — раз, раз, раз... В голове шла суета мыслей.

«Гм, выходит, не шутил старик... Проучу его! Чертов дед! А если взять и согласиться? Сообразим, старик станет нянчиться с Рифом. Чертов старик!.. Что ему еще остается, кроме собаки в его кончающейся жизни? Тысяча... За пятьсот рублей я куплю себе штучное ружье, тяжелое, сработанное по старинному образцу.

А остальные деньги? На что их потратить?»

...Макаров сидел у Исакова, когда Игорь пришел покупать Рифа. Исаков хвалил щенка, он то хотел, то не хотел продавать его. Все твердил: будущий чемпион, чемпион...

Макаров ворчал, вытягивая нижнюю тяжелую, брезгливую губу:

— Чемпион, чемпион... А я тебе говорю, что генетика Тома неустойчива. Я езжу на московские состязания, там выставляют детей и внуков Тома. Посредственности. Отсюда делай вывод.

— Кто их знает, — бубнил Исаков. — Это третий помет Магды, а бог троицу любит. Вдруг щенчишка повторит Тома? Если бы не проклятье квартирной тесноты, ей-богу, оставил бы всех щенят себе, всех пятерых, а потом бы выбирал. Щенки — это лотерея, — твердил он. — Я чего боюсь? Что он в Тома пойдет. Отдам будущего чемпиона — не прощу себе. Ей-ей.

— Чепуха! — шумел Макаров. — У него пипка узкая, чутье будет посредственное. И уродлив к тому же. Продавай!

— Да, голова маленькая, это верно. Отдаю, — согласился Исаков.

Игорь скорее радовался, чем огорчался, выводом стариков. В той лотерее, о которой говорил собачей Исаков, была и у него доля надежды.

Конечно, они опытны и понимают псов до кончика их хвоста. Но вот чего они не могут видеть: щенчишка, вылизанный матерью до белизны, светился, словно яйцо, положенное на солнце, лучился, так казалось.

Игорь понял: щенка надо брать не раздумывая, веря этому светящемуся. Но он все же решил назвать его Рифом.

На пятом месяце жизни Риф стал быстро красиветь. «Кровь выставочных сеттеров», — определил, осмотрев щенка, Макаров.

Пес на глазах умнел. Голова стала объемистой. Он быстро научился открывать дверные запоры. И хотя собаки, если верить книгам, не различают цвета вещей, Риф ясно выделял красный цвет.

Но чуял Риф неясно, дичь оказывалась слишком далеко. Игорь понимал так — Риф примечает место, куда садилась вспуганная птица, запоминает и ведет к ней «на глазок».

Выяснять на болото ходил Макаров. Риф к этому времени стал плосковатым верзилой с широченным черным носом.

Макаров был в полотняном костюме и сапогах. Он ворчал:

— Испортишь ты пса своей натаской.

— Отдам егерю, — говорил Игорь.

— Не смей! Он их бьет, если хочешь знать. Наберет двадцать штук и хлещет. Его уже в секцию вызывали. Он нам сказал: «Какая теперь идет собака? Раньше ее дрючком потянешь, она отряхнулась и опять работает. Теперь бьешь почти любовно, а она трясется, глаза выпучит и бежать».

...Старик щурился, кругляши его глаз ерзали хитро и беспокойно. Игорь покосился на старика: лицо боль-

шое, плоское, а в фигуре нечто от обвисшей, готовой упасть капли. «Я не буду стариться», — решил он.

Посмотрев работу Рифа, старик удивил Игоря.

— Слышь, продай его мне, — вдруг предложил он.

Старик давал за Рифа сто рублей, потом сто пятьдесят, двести... Игорь торжествовал. Он сказал Макарову о тех словах, что столько месяцев отравляли его.

— Ошибся, — согласился Макаров. — Ты не злись на нашу дурость, а радуйся ей. Ну, двести пятьдесят! Идет?..

Игорь не продал Рифа и за двести пятьдесят рублей. Однажды Макаров поймал его по дороге с работы. Старик шел рядом и говорил, что отдает за Рифа ружье с золочеными механизмами, настоящее «Лебо».

— За щенка? — интересовался Игорь, чувствуя благодарность к Рифу.

— Для меня главное в охоте — собака, — говорил старик. — На ружье мне плевать.

И старик сплюнул сквозь зубы.

— Я плачу как за отличного, выдающегося взрослого пса, — настаивал он. — Согласитесь, Рифа им еще надо сделать.

— Не продам, — бормотал Игорь, ощущая кружение в голове. Он думал: «Мне хорошо с моим Рифом».

...Это и припомнил Игорь. Тысяча рублей...

— К черту! — воскликнул он. — Деньги разбегутся, а в кои-то веки попадет такая собака в руки.

Ему было ясно, что делать — вернуть Макарову деньги, пристыдив старика, и взять Рифа. А завтра пойти в милицию и соврать, что Риф прибежал сам.

5

«Задам я старику взбучку», — с удовольствием думал Игорь, идя лесом от станции.

— Где здесь дача Макарова? — спросил он моло-

дую женщину (она несла две полные сумки — хлеб, лук, кульки молока).

Дорога была узкая, темная, и женщина шатнулась от Игоря. Но другая — постарше — указала на избу, влезшую на гору.

Игорь и пошел к этой избе. Древняя, она все же была хороша. Бревна ее потрескались, приняли серо-голубой оттенок.

Около забора ходил бычок, пестрый, как сорока, и ел траву с таким вкусным хрустом, что у Игоря набежала слюна.

— Здравствуй, телятина, — сказал Игорь и остановился. Бычок поднял голову. Жевать он перестал, и трава выглядывала из его рта, но пошевеливалась и будто сама собой входила в его черные слюнявые губы.

— Вкусно? — спросил Игорь и разрешил: — Ну жуй, жуй...

Но что говорить старикашке?

Отчего-то неловко стало Игорю, будто хотел сделать гадкое. Даже онемели кончики ушей.

— Ерунда! Пес мой! — рассердился Игорь и потянул калитку. Он прошел мимо дождевой бочки, пахнущей кислой брагой, прошел рукомойник, пригвожденный к столбу. На голубом козырьке лежал обмылок.

За избой Игорь увидел дощатую пристройку со свежими рамами. Около земля была утоптана и присыпана опилками. Значит, сделано на днях.

Игорь заглянул в окно пристройки. На полу в позе безнадежности лежал Риф. Он был прикован цепочкой к ножке круглого тяжелого стола. Рядом поставлены две тарелки. В одной налито молоко, во второй лежат сырые куски. Гм, мясо...

— Мой пес, — шептал Игорь, глядя на Рифа. — Мой.

И его затопила нежность, налилась до самого горла при виде несчастного зверя. Ему бы жить здесь, на да-

че, есть мясо и хлебать молоко. А он несчастен, его тянет в вонючий сарай.

Чудаки-дураки эти собаки...

Вот забеспокоился и Риф — встал, цепочка звякнула. Игорь попятился. Ему отчего-то не хотелось, чтобы Риф увидел его. «Поговорю-ка с Макаровым, поговорю». Он снова прошел мимо рукомойника, мимо древесной чурки с воткнутым в нее топором. А вот и окна избы, маленькие, слепые, стародеревенские.

Они распахнуты, из них выбиваются голоса и табачный дым. «Кто-то у него есть, — думал Игорь. — Подожду. Дело тонкое, посторонние нам не нужны». Игорь прислушался... Ну, это голос Макарова. А второй? Игорь высоко поднял брови — второй был голосом капитана Лобова. Да, это его шепчущий говорок. Он сообщал Макарову:

— ...Так вот, заговорил парень о твоем «Лебо», и все стало ясно. Вижу, Сергеев уши навострил, я и ввязался. Знай — ты, старче, свихнулся. На твой случай есть статья в кодексе. Гм, статья-то есть, а вот прецедента не имеется.

— А Полухин?

— Осторожный был человек. Кто может доказать, что именно он увел собаку? Нам остается его версия покупки собаки на базаре. А если Лаптев деньги возьмет и скажет — не получал? Ты бы их хоть по почте посылал, что ли. Квитанция бы на руках имелась.

— Я широк — тысячу отдаю!

— И здесь ты удивил меня, старче. Интересный принцип — тысяча. Подумаешь, миллионер нашелся.

— Если бы ты увидел пса на болоте! Тысячи мало... Я сам не свой ушел.

— Все равно много. Налей-ка еще чайку. С чем ты его завариваешь — такая приятная горчинка? Мы смогли бы через секцию заставить его продать собаку тебе.

— Не хочу одалживаться. Взял, и кончен разговор.

— А такая гипотеза — если он сюда придет? От денег откажется?

Голос Макарова задвигался. Видимо, старик ходил по комнате.

— Слушай меня, — заговорил Макаров. — Мне плевать на статьи кодекса. Есть же, черт возьми, кодекс справедливости! Не может быть живое существо чьим-то рабом. Оно — поймите это — единственное, рождено для высшего взлета. А тут вонючий сарай, дубина-хозяин, барышни на уме. — Макаров замолчал. Игорь слышал его топтание. Снова говорит: — Увидел я эту собаку и понял — та! Понимаешь, я всегда мечтал иметь чемпиона, я по пять собак выращивал.

— Четыре, — поправил его Лобов. — Их клички — Неро, Леди, Джильда и Том.

— А всего я держал девятнадцать собак. Я профукал на них половину всей зарплаты, они мне милее жены, детей, всего!

— Но ты их продавал же.

— Объясню: я искал... Всю жизнь я искал одну несравненную собаку. Были у меня хорошие псы, попадались отличные. И вот увидел Рифа. Увидел, и во мне все опрокинулось. Вот он! — сказал я себе. — Знаешь, впервые я увидел Рифа на прогулке. За ним шагает современная громадина — ноги, на пузе транзистор, на роже самодовольство. Ни интеллекта, ни любви, а одна сумасшедшая удача. Как-то он рассказал мне, что Риф еще маленьким, двух месяцев от роду, делал стойку по кошке и упал от усилия. Говорит, а сам не понимает ничего. Никто не верил в Рифа, он, я. Дурак! Осел! Скотина!

Грохнуло — упал стул, и Лобов засмеялся.

— Мебель-то при чем, если голова виновата.

— Месяца через два встречаю. Увидел, и сердце запело — пес красив, изящен, легок. Потом на болоте

смотрел, как решительно, по-мужски он его разделывает. И вдруг причуял, еще сам не понимая этого. Поднял нос высоко, как твой Кадо.

— Современный стиль, — вставил Лобов. — Раньше все же проще было: пойнтер — «король болот», сеттер — «король состязаний». А сейчас все перепутались. Лель Фирсова, немец-континенталь, куцый, грубый, а работа дальняя и чисто пойнтериная.

— Риф словно яичко на носу держал, — продолжал, не слушая, Макаров. — И понимаешь, этого олух даже не заметил. Решил, что Риф на глазок работает.

И вот я решил сделать Рифа чемпионом. Есть у меня на книжке еще тысчонка. Жена о ней не знает. Я ее так употреблю.

И Макаров рассказал Лобову о диете Рифа (молоко, кости, печень сырая), о натаске в октябре — ноябре на Северном Кавказе, о егерях-натасчиках Москвы и Ленинграда (натасчик должен быть точен и находчив, как правитель в государстве).

Игорь чувствовал — немеют его усталые ноги, впадает в изумление измученный мозг.

Нет, не так он представлял себе содержание собаки-чемпиона, не так. Иначе, приятней, все восхищены, хвалят, он гордится.

Лобов сказал:

— Гм, чемпион... А я помру собаководом-любителем. Печально. Ты знаешь, чем я утешаюсь? Накопил охотничьих воспоминаний. Взять этого — лет через десять на охоту будет летать на вертолете. Зато мы с тобой зайцев били в том березнячке, что рос на месте вокзала, по десять штук в час. В памяти моей эти зайчишки живы. А разве теперешние могут брать за вечернюю зорю тридцать уток? Настрелять полную сетку дупелей? Наложить в штаны, встретясь с медведем?

— ...Стану держать для натаски Рифа подсадных птиц. Перепелов я уже заказал Иванову по пятерке за

пару, о дупелях и тетеревятах тоже условлюсь. Покажу Рифа Оксанову — чудный врач.

— Он же терапевт.

— Ветеринары, мой милый, слабы, а у Рифа авитаминоз. Риф!.. Дурацкое имя, я его Томом назову. А домашнее имя пусть будет Чемпи. Буду давать бром, сырой фарш, морковку тертую, горох. И обязательно рыбий жир. И тренировки. Внука заставлю, пусть на велосипеде едет, а Том за ним гонится. И года эдак через три двинемся мы с Томом за короной в Москву. Рифу будет четыре года, мне шестьдесят девять. Еще вкусим славы.

— И все же ты сумасшедший, — тихо вздохнул Лобов.

Они ушли из комнаты. Их голоса гудели в избяной глубине.

И вдруг Игорь успокоился. Ясно, он не сможет быть проводником Рифа в чемпионы. Только старик, положив жизнь, поднимет Рифа. А охотиться в конце концов можно и со средней собакой.

«Положим, — соображал он, — я отниму Рифа. Что будет? Станет ли Риф чемпионом? (Сестра права, я держал его для себя.) Нет, чемпионом его нужно растить. Сколько забот: вставай в шесть утра и гуляй с ним, спи на работе.

А натаска, поездки на охоту, дальние поездки — вблизи дичи не осталось. Собственно, Рифу дико повезло. И мне тоже — гора с плеч. Но деньги...»

И, вынув конверт из кармана, он отделил себе сто пятьдесят рублей, подумав, добавил еще пятьдесят. Остальные он сунул на подоконник, среди горшков с алоэ. И ушел.

Он шагал, а сердце его сладко ныло, и губы дрожали. Чу! Риф тихо завыл ему вслед — почувствовал?..

Игорь пошел быстрее, быстрее. Увидя с горы медленно идущую к станции электричку, он побежал...

6

К вечеру жара усилилась. Подул ветер. Он гнал желтую пыль. Она гасила тополя, еще утром водянисто блестевшие листьями.

Надя пришла к реке ровно в восемь вечера, отыскала Игоря на набережной: он созерцал текущую воду.

Вдруг Игорь прицелился и швырнул сигарету.

— Эх, промахнулся, — сказал он Наде огорченно. — А такая была мишень!

— Игорек, что с тобой?

— Ты лучше посмотри, — сказал он. — Вниз смотри.

— Эти?

— Вон, в той лодке. Видишь лысину? Рядом с Соней? Огромная, а я промахнулся. Какой я охотник после этого.

— Ты один хотел бы любить? И твоя сестра имеет право на личное счастье.

Игорь скривил щеку.

— Что с тобой? — спросила Надя.

— Ничего, — отвечал он и смотрел на нее непривычным взглядом — оценивающим. Да, нежная, красивая блондинка. «А мне здорово повезло, — думал он. — Весьма». И сказал: — Ты знаешь, я никогда не видел слонов, выходящих из лесу. Мне бы хотелось посмотреть на них хоть раз в жизни. Поедешь со мной?

— Ты меня разлюбил? — спросила Надя сдавленным голосом.

— Нет, нет, — испугался он. — Просто, день такой. Я узнал, как собаки становятся чемпионами.

Игорь рассказал Наде сегодняшний день. Рассказывал и видел — губы Нади складываются в ту же трубочку, которой утром обидел его Лобов.

Но трубочка Лобова серая, а эта яркая, сочная.

— Ты что, рада?

— Нет, здесь другое, — задумчиво говорила Надя. —

Я увидела твою душу. Ты отдал Рифа тому старику, отдал свою гордость, надежды. С тобой я ничего не боюсь в жизни, ничего. Да и зачем тебе Риф? Погладь меня! Мой смешной, мой хороший...

Игорь осторожно потрогал пальцами ее волосы — тонкие, легкие. В них путалось солнце. Он убрал руку и снова подумал: «А мне и на самом деле повезло».

— Я что-то устал сегодня, — пожаловался он. — Мне все надоело, работа, дом. И больше всех я сам. Я все делаю глупо. И отчего-то мне стыдно за себя, за сестру, за того старика... Знаешь, в Африке была эра Великой Охоты, когда били бегемотов. Я сегодня ощущаю себя таким бегемотом. А красивая была охота — слоны, львы, носороги.

— Чего же ты хочешь? — Голос Нади угас в шепоте.

Игорь зажмурился и сквозь ресницы смотрел на солнце. Веки просвечивали розовым. Он позвал слонов, но видел только красное маковое поле. Вот, словно пена, всплывал лес. Игорь заговорил:

— Камерун, Уганда, Берег Слоновой Кости, Нигерия... Если я поеду, ты будешь со мной? Повтори еще.

— Но я не могу. Ты хоть немного думаешь обо мне?

— Хочу в Африку, — капризно говорил Игорь.

Надя положила руку ему на шею и погладила.

...Появились слоны. Один за другим они выходили из леса. Отсветы макового поля ложились на их бетонно-тяжелые животы. Слоны ближе, ближе... У них веселые глаза и лохматые черные уши, как у Рифа. Они держат друг друга за короткие хвостики. Но вот слоны подняли хоботы и затрубили:

— Нига... Нига... Нига...

— Игорь... Игорь, — говорила Надя, теребя его за руку. — Опомнись.

Он открыл глаза и сказал:

— Пойдем куда-нибудь, о слон души моей!

ЗЕМЛЯНИКА В СНЕГУ

Однажды заговорили мы с Иваном Матвеевичем о красках лунной ночи, и разговором этим кончилась наша дружба. Приказала долго жить. А теперь о самой ночи.

Кто видел сибирскую луну, когда мороз жмет за сорок, тот не скоро забудет ее зеленое блистание в каждом погасшем окне, в каждой снежинке.

Боже упаси долго глядеть на этот лунный свет. Верная смерть! Я в такие ночи жалею даже волков.

Конечно, давят они скотинку, выхватывая ее с нашего стола, — мы вправе обижаться. Да, да, согласен, разбойники. Но жалко мне их, когда в такую ночь они смотрят на луну, поковырянную кратерами, а вокруг трещат деревья, и мороз превращает снег в белую сыпучую крупку.

Так вот, с Иваном Матвеевичем мы стояли у окна в темной комнате и говорили о лунной ночи, морозе и волках.

Гости разошлись, жена Ивана Матвеевича мыла грязную посуду, сердилась, гремела на кухне. В комнате был запах выкуренного табака и того вкусного, что может сготовить хозяйка из растительности — Иван Матвеевич вегетарианец.

Пахло укропом, чабрецом, еще чем-то. А мы рассуждали: за обедом Иван Матвеевич хлебнул немного винца и с непривычки, от пустых травяных закусок, стал говорлив.

Мимо нас прошла в свою комнату дочь Ивана Матвеевича, высокая, как столб.

— Ты баиньки? — спросил Иван Матвеевич, а дочь не ответила, только дернула плечом. Мне стало жалко Ивана Матвеевича, я любил его.

Это он тянул меня в большое искусство, он поднял газетный шум. И мне было жаль, что ему в семье живется нехорошо, и хотелось бы знать почему.

А мне тогда было здорово хорошо — на мою долю пришлась бутылка рислинга, дома я съел два здоровенных бутерброда с ветчиной, здесь жевал сыр: российский, с привкусом дрожжей, швейцарский с запахом орехов. Совал в рот и какие-то незнакомые травки.

И думал, как мне повезло: Иван Матвеевич мой друг и критик работ. Это он предсказал, что я далеко пойду: я был кружковец и лишь мечтал стать художником.

Сытый и довольный, я глядел на друга добрыми собачьими глазами.

Он был интересен. Знаете, есть тип людей сухощавых и легких, как бы летящих. Седые волосы подобием нимба поднимаются над головой Ивана Матвеевича. Должно быть, от них и появляется в этом человеке что-то взлетающее.

Иван Матвеевич какой-то двухступенчатый, черт побери, он почти ангел! Но на крыльях его, не пуская в полет, сидит земное: сердитая жена, дочь с ногами до плеч.

Иван Матвеевич добрый, воспитанный, умный.

Я же, его друг, человек грубый и часто уезжаю за город с ружьем. Там стреляю птиц, варю, жарю их и ем полусырыми. Но из грубых моих поступков сами собой рождаются сюжеты картин. Их зовут нежно-лирическими, а почему, я не знаю.

Зато мой друг это знает и точно может объяснить. И потому рядом с ним я часто ощущаю себя тяжелым, глупым и даже недостойным его дружбы.

Иван Матвеевич — живописный критик. В моем воображении он, словно большая бабочка, парит над нашими холстами, вбирает их мед, наливает им соты — книги.

К тому же он музыкант, играет на том фортепиано, что стоит в актовом зале нашего Союза.

...Итак, гости разошлись, и свет в комнате был погашен, а мы стояли у окна. Нам виделась чрезвычайно яркая ночь: луна горела нестерпимо, была ночным солнцем.

— Не зря ее народ зовет цыганским солнышком, — сказал Иван Матвеевич. И мы заговорили о луне.

Я, человек практический, рассуждал о красках и формате картины, которую напишу.

Иван Матвеевич все толковал о хлорофилле вселенной, несущемся в этой зеленой ночи, чтобы где-то породить жизнь. Он мыслил широко.

И мне вдруг увиделась его голова, как хлорофилл, несущаяся в космос.

Волосы на ней седые и вздыблены, они походили на сияние, что обнаруживают у пробивающих атмосферу спутников. Я думал, что нарисую когда-нибудь несущийся одинокий спутник Земли, похожий на голову моего друга.

— Хлорофилл, — бормотал я, — это здорово придумано.

— Я и не такое могу...

Тут Иван Матвеевич вдруг хохотнул и рассказал мне следующую занимательную историю.

— Дорогой мой, — говорил он. — Мысль о несущемся хлорофилле приходила мне и ранее. Вам надо понять, что мысль очень похожа на ребенка — она зачинается, рождается, вырастает.

Да, да, рождается хрупкое дитя, и вы должны быть готовы схватить его, завернуть в пеленку дневника, питать молоком размышлений.

В конце концов мысль становится взрослой, больше того — твердым кристаллом. Она живет сама по себе, и ей плевать на тебя, как выросшей дочери. А чего ты только не делал ради нее, чем не поступался.

Вы не поверите, но однажды, сберегая мысль, я совершил довольно-таки неэстетичный поступок.

Была такая же ночь, мороз и темнота. Я стоял у окна и обдумывал тему «Сибирская школа художников-пейзажистов». Перед этим я года два сновал повсюду: и в Красноярске был, в Томске, в Бийске.

Я расспрашивал, смотрел картины, шарил по чердакам умерших художников. И, знаете, я улавливал нечто сходное, и у меня рождалась презанятная мысль. Тогда, у окна.

Я выключил свет и стоял в темноте, чтобы сосредоточиться. Но этому все мешало. Скрип шагов доносился с улицы, сюда, на пятый этаж, мешая думать; в прихожей скулила Земляника — собачка с шапку величиной. Ее подобрала дочь, а приютила жена. Цвет собачонки был не рыжий, а скорее красный.

— Охра с примесью киновари, — подсказал я.

— Вообразите, собачка крохотная, красная, пучеглазая, то сиротливая и покорная, то визгливая. Назвали ее Земляникой, и жила она у нас недели две-три.

По-моему, собачку бросили переезжавшие хозяева: она долго мыкалась около нашего дома, как-то жила. Дети, я замечал, кормили ее, а спала она в котельной.

И вот мои женщины взяли ее.

Я слушал визги Земляники, и раздражение охватывало меня, даже отчаяние — мысль не давалась мне, ускользала. Ей помогали убегать шаги и гудение бойлера, визги Земляники.

Я стоял и ждал, когда прохожие уснут, бойлер перестанет трясти дом, а Земляника стихнет.

Но та тихонько скулила и визжала, скулила и визжала.

И я подумал: а вдруг мысль умрет (замечаете, как действует ее самозащита)?

Я пошел и дал Землянике морковную котлетку, но та не замолкла. Надо было поступить решительно!

Вы знаете, я неконфликтный, мягкий человек. Потому ждал, когда жена и дочь уснут, и лишь тогда оделся потеплее, поманил Землянику и вышел.

Она бежала впереди меня, катилась по лестнице. Когда мы вышли на улицу, мороз склеил мои ноздри (было под пятьдесят). Я поднял воротник и пошел, не зовя Землянику за собой.

Пусть, думаю, уйдет, если хочет.

Но Земляника шла за мной.

Мы прошли с нею частные дома, развороченные строителями.

Ужасная картина — разрушенные семейные углы. Даже Земляника стала подвывать. Я же замерз и думал, что вот дьявольски холодно, а собака, быть может, больна, и моя жена — доверчивая истеричная дура, и что если я пойду домой, то Земляника побежит, придется ее впустить. Ноги мои стыли. И я — совершенно бессознательно, заметьте, — вдруг подхватил собаку под локотки (она куснула мой палец сквозь перчатку) и посадил ее в снег, в чей-то палисадник.

Под коркой снег оказался рыхл и сыпуч, и Земляника погрузилась в него, и напряглась, и стояла, опираясь на локотки. На снегу оказались ее передние лапы, и голова, и блеск в очень больших глазах, прямо смотрящих на меня, — заскули она, и я бы взял ее. Но Земляника молчала, и я решил, что пока она выбирается из снега, я успею уйти домой. А Земляника пусть идет в свою котельную.

Я вернулся и, согреваясь чаем, долго сидел в кухне. Полночью прохожих нет, бойлер перестал гудеть, стало тихо. Но мысль не шла, Земляника-таки вспугнула ее. И еще мне было стыдно: переживание шло на этическом уровне.

Я лег, но долго не засыпал. Я ворочался, вставал, пил снотворное, снова ложился и опять вставал. Заснул лишь под утро.

Проснулся в десять — ясное солнце врывается в комнату, и мысль, как бабочка, тихо опускается ко мне. Я записал ее и пошел за хлебом (моя домашняя нагрузка).

На улице было морозно и ясно. Так же прояснилось и во мне. Я понял, что Земляника просто нервничала, а развороченные дома подсказали мне, что один из них оплакивался собакой. К тому же подумалось, что еще скажет жена, вернувшись с работы. Это меня сильно встревожило.

В хлебном магазине я купил калорийную булочку: угостить Землянику в ее котельной.

Я вернулся и пошел в котельную — нет Земляники! Где же она? Бегает и мечется по морозу? Мой недобрый гений понес меня к тому палисаднику.

Я, видите ли, решил посмотреть следы Земляники и определить направление, в котором она убежала. Затем найти ее и вернуть домой.

Вокруг было очень много солнца и мороза, а заиндевевшие деревья светились: такое вам, художникам, не удается передать.

Я шел и был доволен собой — вот и мысль нашел, и калорийную булочку несу Землянике. Словом, хороший человек.

Я подошел, заглянул в тот палисадник — и ощутил удар под ложечку. Земляника все еще была там.

Она стояла в снегу, положив на его шершавую корку лапы. Глаза ее были открыты и припорошены снегом.

Я оглянулся — никого. Потрогал ее — камень!

И тут я догадался, что она умерла сразу, когда я посадил ее, от разрыва сердца. Вот и снег разворошила лишь слегка.

Что же, это смерть быстрая, легкая, которую я всегда желаю себе. Но кошки скребли меня: умерла Земляника... Что-то я скажу жене...

Я шел домой, уши мои горели, а мысль нашептывала мне, что да, я виноват и должен наказать себя сверхусердной работой.

Вы замечаете эгоизм мысли?

Конечно, я все рассказал жене.

Но благодаря моей жестокости к Землянике я быстро кончил книгу, хотя заболел от переутомления. И мысль, став кристаллом, ушла. Теперь она живет своей жизнью.

Иван Матвеевич снова заговорил о хлорофилле: слова так и сыпались из него.

Я же был Земляникой и стоял среди колючих звезд снега. Я костенел, глядя на луну сквозь застывшую глазную пленку, ощущал лапами глубокий, сыпучий, как мука, снег — ни опереться, ни уйти.

Я охотился зимой и потому точно знаю, как умирала Земляника.

Ощущать, как тебя колют длинные снежные иглы, и видеть лунную морозную ночь! Бр-р-р...

Я понял презрение жены Ивана Матвеевича, нахальство дочери и даже свою жалость к нему.

А наша дружба?.. Она кончилась той лунной ночью.

ОШИБКА

Таланты — они разные... Есть даже талант дружбы и любви к собаке. Потому и бывает: прекрасный человек не ладит с псом, а забулдыга находится в нежнейших отношениях с своей косматой собственностью.

Любящая, преданная собака прислушивается к хозяину, ловя его движение, вздох, слово. Проницательность ее удивительна. Так вот, талантливый человек тоже чувствует свою собаку.

У Жогина пес был, но ни таланта, ни желания заслу-

жить его любовь не находилось. Что можно понять: лесной таксатор, он работал в тайге, как работают только старые работники, до полного истощения. Выяснять, что творится в собачьем (да и в своем) сердце, у него не было ни сил, ни времени.

Он не дружил с собакой, а просто имел ее. И наблюдал нежность других к своим псам с насмешкой.

А пес?.. Он понимал Жогина?..

Этот черный, с проседью пес вышел к нему в еловой тайге, кинулся прямиком к огню — старый, в шрамах. Разорвано ухо, морда в белых пежинах.

Он лег около костра и дрожал, а Жогин разглядывал собаку. Собака мощная, с широкой костью, но потрепанная жизнью. Вполне пригодный пес! Пожалуй, нужный. А большего он и знать не хотел. Какая разница, откуда взялся пес. Может, ушел от умершего в тайге охотника. Это бывает. Или бросил дикую собачью стаю — Жогин видел такое!

Пес же не мог рассказать, что щенком он жил у взбалмошного, к тому же драчливого хозяина, убежал с собачьей стаей в тайгу и постепенно добрался до Эвенкии. Здесь стаю встретили волки. Свирепствовать в одних местах с одичавшими псами они отчего-то не могут, и волки быстро прикончили собак.

Черный пес спасся чудом — бежал к костру. Приметив в ночи его звездочку, он уходил от волков, буквально виснувших у него на хвосте. Ушел.

Волки, посидев какое-то время, сняли осаду: ничего не поделаешь, здесь человек. В конце концов, по их пониманию, все становилось по местам: собака уходила обратно к человеку.

Пес успокоился, Жогин достал из рюкзака и бросил ему кусок сала. Он догадывался, что судьба Черного пса была раз в тысячу тяжелее его собственной. Но какое ему дело?

С той ночи он относился к псу с равнодушным ува-

жением, будто к седому человеку, встреченному, скажем, в поезде. С ним и помолчать хорошо. Он и тогда молчал, у костра. Бросил сало и занялся чаем, хлебал его, горячий и сладкий, с наслаждением.

Молчать Жогин привык с детства. Старший брат работал, и он целыми днями сидел дома один: матери не было, а отец бросил их.

И далее жилось не лучше. Он полюбил лес, свое одиночество в нем, работу лесного таксатора, все время идущего вперед. Хорошо! Не прожив с ним и двух лет, ушла жена: Жогин вернулся в ноябре, с рюкзаком кедровых орехов, и наткнулся на запертую дверь. Соседи вынесли ему ключи, все объяснившие безмолвно, точно и ясно.

У Жогина кошки скребли на сердце. Он бы заплакал, если бы умел. Но, поразмыслив, решил, что жена права: как жить семейно, если муж девять месяцев в году бродит в лесах, а остальные три угрюм и неразговорчив?

Он любил ее, но согласился, что это никак не выявлялось внешне. И все-таки Жогин обиделся отчего-то на всех. Он замкнулся в злом одиночестве, утешался им. Даже перестал встречаться с друзьями, редко бывал у брата. И, как водится, пересолил: остался совсем один. Порою он чувствовал острое, как боль, желание иметь рядом с собой что-нибудь живое: птицу, мышь, сверчка. Но только не жену, нет!

Все продумав, он решил завести лайку с опытом таежных охот, чтобы не зря кормить пса. Но привычка к одиночеству вросла в него: уже лет десять он собирался завести собаку и не заводил, боялся хлопот. Но вот — Жогин еще не разобрался, что в его жизнь входила первая случайность, — выскочил к костру Черный пес, таежный охотник. Пусть староват, пусть охотился только для себя. Зато опытен. Он не виляет хвостом, зато помогает на охотах. Пес не лизал его рук,

но свирепо охранял лагерь — росомаха уже не отваживалась сунуться в палатку.

Черный пес тоже был доволен, что к нему не лезли с нежностями. Он, как и Жогин, предпочитал минимум общения.

Постепенно таежные бродяги сжились. Угнетала Жогина лишь необходимость каждую осень везти пса из тайги в город. Правда, он поселялся в сугробе, что наметало ветром на балконе, но по нужде его надо водить на сворке. Чтобы не было скандалов: тот не выносил городских жирных собак и жестоко кусал их.

Жогин с удовольствием замечал в озлобленности пса нечто похожее на те вспышки ярости, что накатывали и на него самого. Но между собой они сосуществовали мирно: пес сразу пресек попытки драться, а Жогин, смазывая йодом укусы, не забыл урок, не простил Черному прокушенной руки. Прочее же, если учесть их угрюмость и вспыльчивость, шло вполне терпимо.

Эти случайности... Городской человек вытаптывает тропочку своего житья-бытья и, ходя ею, сводит их к минимуму. В лесу же, где все дикое: зверье, ливни, осыпи, речки, — каждый час, каждый день проходит иначе, чем вчерашний. Но Жогин, проработав таксатором семнадцать лет подряд, умудрился избегать неприятных случайностей и в лесной жизни (заодно он обошел много приятного). Был начеку, вот и весь секрет...

Если Жогин разбивал бивак, то искал место, где не было красиво обомшелых деревьев, могущих упасть от первого рывка ветра. Если кончалась еда, а олени не подворачивались, Жогин выходил на медведя с пулями, которые лил сам.

Готовясь переправиться через реку, он часами бродил по берегу. Но не любовался — кидал в воду палки и выбирал наилучшее место.

А ежели примечал человека с ружьем, то обходил его стороной — мало ли что!..

В результате семнадцать лет Жогин ходил по тайге, и ничего с ним такого не случалось. Он не тонул, не крутил романов с девушками-радистками, не замерзал в снегах. Медведь, подраненный кем-нибудь, измученный болью, выскочив к Жогину, сразу видел черный глаз ружейного ствола, а затем ослепительную вспышку.

Но случайности проникли-таки к Жогину.

Вторая случайность оказалась сокрушительной.

Жогин давно подозревал леса в ущельях Путорана. Не сейчас, конечно, соображал он, лет так через пятьдесят, когда все будет повырублено, придется брать древесину не там, где удобно, а в местах, где она сохранилась. Авось не будет таких времен, о них и думать противно. Но посмотреть, занести на карту эти леса нужно.

Жогин, когда ему что-нибудь западало в голову, свое намерение исполнял непременно, даже если горел график работы. Трудиться отчаянно, во все лопатки, наверстывая упущенное, он тоже умел. За это ему многое прощалось начальством.

На собраниях Жогин молчал, получая грамоту или подарок (часы и т. п.), тоже не затруднял язык. Но руку он жал крепко, от души, затем брал красивую бумагу и шел на место. Все!

...Случилось это на третьем году совместного с Черным псом житья. Жогин брел к своему несчастью мелкими хребтиками, что постепенно сливались друг с другом в один общий, невысокий, но могучий хребет. Это у таксаторов называется идти «линией водораздела»; здесь не мешает шагать везде растущий кедровый стланик, густой и цепкий.

Пора была осенняя, но редкостно теплая для Эвенкии. Что-то там сместилось в небесах, и холод Эвенкии застрял на Украине. А здесь было и тепло и мягко.

Жогин шел весело: он любил горы, синие мазки хвой-

ного леса, но особенно осенние лиственницы. Красные, они бодрили его. Пес то шел следом, то обгонял, обнюхивая попадающиеся норы.

И то, что с ним рядом не человек, а собака, радовало Жогина. Человек бы обязательно возражал, критиковал дорогу, видел трудности — пес шел. К тому же мог помочь в охоте и смягчить, если накатит, тоску. Рядом с ним можно помечтать о том, что еще лет тридцать Жогин будет бродить по этим местам, уже стариком — бодрым, тощим, с винтовкой на плече.

Сине, хорошо... Жогин прикинул, что на своевольный маршрут затратит дней пять. Немало! Ну, он наверстает дни, уточнив маршрут, работнет до сладкой усталости. Все будет хорошо.

И Жогин шагал весело, нес тугой рюкзак и трехлинейную винтовку. Приятная тяжесть! Что ни говори о вездеходах, а идти самому, чуять ногами землю или даже камень — великая радость.

К тому же здесь иначе и не пройдешь.

Еды Жогин с собой нес немного, три С, так шутил он: сахар, сало, сухари. Но винтовка была им тщательно пристреляна, патронов с собой много. А значит, любая дичь, начиная с хохлатого рябчика и кончая оленем, будет убита острой винтовочной пулей. Дичи здесь навалом, чего там! С жратвой все в норме, благо пес ест лесных мышей.

Жогин шел, прыгая с камня на камень. Дымились оснеженные вершины Путорана. Жогин то и дело посматривал на них и каждый раз говорил: «Ух ты...» Иногда даже останавливался, чтобы удобней смотреть. Тогда Черный пес тоже задирал морду, но своего отношения к заснеженным громадам ничем не выражал. Это Жогину нравилось. Он как-то вдруг стал всем доволен. Тем, что в первый же день они отмахали вдвое больше расчетного и нашли маленькие сосновые леса в укрытых от ветра ущельях.

Жогин сфотографировал найденные леса, прикинул высоту, обмерил толщину стволов и записал.

Переночевали тоже неплохо. На ужин сварил похлебку из белок, настрелянных в соснах (он носил с собой патроны, заряженные деревяшками: зверьки подпускали близко). Наевшись до упора, они улеглись, спали на срезанном Жогиным лапнике. От ночного ветра их защищал частокол из палок, вбитых в каменистую землю и пригороженных сосновыми ветками. Спалось Жогину сладко, без снов. Пес закрыл нос хвостом и все к чему-то прислушивался, на кого-то ворчал.

Утром — так часто бывает в день беды — Жогину было особенно легко и весело.

И чай был вкусен, и сало, сухари... А какое множество горящих осенних лиственниц взбегало на склоны, какие пролетали стаи уток! И Жогин ухмылялся той сыто-довольной улыбкой, которую не переносил на лицах других. Он увидел необычайное сияние горных снегов и прокричал:

— Никогда такого не видел!

Все, все, что Жогин видел сегодня, было красивым. И его обычная угрюмая настороженность ушла. Он был готов приласкать Черного пса, если бы тот подошел. Скажем, погладил бы. Но вовремя сообразил, что только испугает пса: их прохладные отношения стали нормой.

Сытый, налившийся крепким и сладким чаем по горло, Жогин всего на секунду-другую забыл о том, что идет не по тротуару, а по каменистой кромке обрыва.

Он воображал, как станут говорить: «О-о! Этого одинокого волка не проведешь, от него ни одно дерево не укроется». Ему нравилось свое тело, сильное и жилистое. Отличная, хотя и старая, винтовка оттягивала его плечо, а добротный фотоаппарат «Москва», заряженный цветной пленкой, лежал в кармане. Сегодня, решил Жогин, он сделает для отчета потрясные снимки тайных

горных лесов. И не только в отчет, он их увеличит и подарит... Гм, дарить снимки было некому. Брату разве...

Ладно, решил Жогин, он повесит их в комнате на стене, будет любоваться ими по вечерам. Один!

— Я один... всегда один... сильный и свобо-одный... — Жогин запел, изумив собаку, — Черный пес даже принюхался к нему. Тут и случилось: пес сунулся нюхать, а поющий Жогин глупо отшагнул от него в сторону. Камни же были мокры от росы, предвестницы отличного дня. И Жогин поскользнулся.

С кем этого не бывало! Но вопреки обыкновению его нога не стала на другой камень, а вошла в воздух...

— Ух! — вскрикнул Жогин от ощущения чего-то огненного в ладонях и повис на руках. Теперь он видел не снежные горы, а зернистый камень да свешивающиеся корни стланика, морщинистые, в серых крупинках. Увидел свои пальцы, впившиеся в эти корни.

Быстрота совершившегося потрясла Жогина. Сорвался?.. Он?.. На корнях появились колечки разрывов. Тяжеленный рюкзак, следуя инерции падения Жогина, потянул его вниз. И корни лопнули со странным звуком. Словно вздохнули освобождаясь. Небо пронеслось над Жогиным. Он увидел верхушки сосен и ржавые скалы — под собой. «Хоть бы на дерево», — пожелал он себе и проломил вершину, врезался в другую, пониже, и был отброшен пружиной толстого сука, сломавшего ему ребро, но спасшего жизнь. Его посетило ложное ощущение: перед ним замелькали молотки, стамески, клещи и прочие инструменты брата. Затем его хватили по голове; вспыхнула картина драки в Колпашеве с подвыпившим кузнецом: широкое лицо в черной бороде, глаза, брошенный в ударе кулак, черный, будто гиря.

...Когда Жогин смог приоткрыть один глаз, все представилось ему водянистым и колыхалось. Второй глаз, протертый от крови, вернул окружающему миру плотность. Все прочно, будто приколоченное гвоздями, вста-

ло на свое место. Но Жогин шевельнулся — горы зашатались, будто картонные, а солнце позеленело... Жогин зажмурился. Он уже понял, что все стало другим в горном мире, потому что изменился он сам.

— Черепушечка моя, видно, раскололась, — пробормотал Жогин, подлезая пальцами под затылок. Рванула боль, он застонал. Нет, такой боли он еще не знавал, будто ввинчивался в мозг длинный толстый винт — поворот за поворотом.

Боль то уходила, то возвращалась — от шевеления губ, от движения глаз. И тогда все: горы, лес, камни — шевелилось, рассыпалось, грудилось.

— Но этого просто не может быть, — прошептал Жогин.

...Замелькали яркие полосы. Такое он видел пацаном, когда пробегал мимо палисадника, где солнце чередовалось с планками, те — с солнцем...

Вот это боль! Не дает шевельнуться.

Черный пес, прыгая с камня на камень, спустился и подошел к Жогину. Принюхался. Пес щетинил загривок, чуя пряный аромат крови и острый запах беды. Вот только что человек весело шел, а теперь лежит и стонет жалобно, тонко. Черный пес прижал острые уши и мелко-мелко переступал лапами: ему хотелось уйти.

Он чуял беду, но видел Тот костер, а около Человека с Длинным ружьем. Двойные огоньки волчьих глаз рассыпались вокруг. Сейчас их нет, но придет ночь, и они появятся. Черный пес завыл хрипло, басовито.

— Кончай меня отпевать, — прошептал Жогин. Он чувствовал: кровь на затылке уже спеклась, связала волосы, словно на голову надели тугую резиновую шапочку. Может, попробовать встать?

— Ну почему, почему я не глядел под ноги? — задал Жогин вопрос всех угодивших в беду.

Черный пес лег около. Он рыкнул на подбежавшего к рюкзаку бурундука, потом встал и долго обнюхивал

винтовку, повиливая хвостом. Снова лег, уже спокойный.

Пес задремал, но уши его двигались, прислушиваясь к стонам Жогина, к покатившемуся где-то камню, разговору пролетающих гусей.

— Что же делать? — шептал Жогин. Он припоминал, припоминал... Например, Чернов... Разбившись в горах, тот спокойно отлеживался и ждал спасителей. Вот и выход: лежать спокойно, терпеливо ждать. И Жогин замер. Стараясь быть каменно-недвижным, он не спал всю бесконечную первую ночь.

Пришло теплое утро. Глаза жадно схватывали его приметы. летящих кедровок, медлительные плоские облака. Но было и сомнительное: земля (или голова?) кружилась. Нет, он бы не доверился этому утру, теперь он в жизни ничему не поверит. А сейчас не шевелиться, не двигаться. Пес свернулся клубком и лежит рядом. Но не спит — смотрит, помаргивая бровями. На морде собаки роса... «Чего он уставился на меня?» — встревожился Жогин.

Пес встал. Зевая, потянулся, затем встряхнулся, как встряхиваются собаки по утрам, побежал. Куда?.. Ловить мышей?.. Жогин ощутил тревогу: вернется ли пес? И что с едой?

Хотя было нелегко работать ощупью, левой рукой, к тому же онемелой, он все же развязал мешок. И нашел килограмма два сухарей (осмотрел каждый, не плесневеют ли), полкило сахара и кусок сала, натертого чесноком и присыпанного красным перцем, завернутого в полиэтиленовую пленку.

Всегда приперченное сало вызывало у Жогина слюну, но теперь язык был сух. Как щепка. Ладно... Главное, есть калории, он сможет продержаться пять-семьдесять дней. Но вода! Где взять ее?.. Жогин испугался. Ведь если нет воды, тогда все, он пропал.

И Жогин стал вслушиваться. Слава богу, в безмер-

ной, почти гремящей тишине гор он услышал близкий голос водяной струйки. Где она? Ища, Жогин шарил, тянулся рукой. И нащупал ее, бегучую: вода тоненько растекалась по камням на расстоянии вытянутой руки, между пальцев бились ее струйки — ледяные червячки...

Ладно! С водой ему здорово повезло. Пока что ее можно брать, смачивая носовой платок. Так, с водой и жратвой все в порядке. Но голова болит, а тело отчего-то немеет. И еще все непривычное становится привычным.

Например, отдыхая от поисков воды, Жогин вдруг услышал дробь падающих корпускул света.

Что еще может падать? Дождь? Но солнечно, тепло, сухо. Прикрылось солнце облаком — стук затих, открылось — вот он. Что еще может сыпаться на землю, кроме брошенных квантов? Значит, это они. Эхо ударов было разным: мягко шепчущее — от хвои и мхов, резкие щелчки — при ударах о камни.

Вслушиваясь, Жогин забыл обо всем, но покатились камешки, загремело дыхание: Черный пес! Вернулся-таки! Вот бродит, принюхивается, все осматривает. «Однако корпускулы не слышит», — хвастливо подумалось Жогину. Но отличный пес — не ушел, вернулся. Благодарность переполняла Жогина. Что сделать? Почесать Черного за ухом, кажется, это им, собакам, нравится?

Он позвал — пес подошел к нему. Но смотрел на протянутую руку с подозрением, даже с загадом, в глазах. И Жогин не стал ласкать пса, еще укусит, ну его!

Он убрал руку и смотрел на лапы, сильные, могущие в любой момент унести пса отсюда. Глядел с завистью. Поднимая глаза, Жогин скользил взглядом по черной шерсти с блеском ее серебристых и длинных ворсинок. Проклятое непривычное! Ворсинки тотчас стали иглами, нацелились в глаза.

Иглы, кванты... Интересная жизнь пошла! Но к ней нужно прилаживаться. Как же иначе? Раз нельзя уйти отсюда, надо делать жилище. Собаке что, ей и мышь еда, и трава постель, а шкура одна за все про все. Человеку же в тайге жить трудно. Зябко. Развести костер? На взраставших столетиями наплывах мха? Сюда пустишь огонь — живо сгоришь. Сюда толстое одеяло надо, моховое.

И Жогин стал собирать мох. Тот отрывался от камней охотно, но с глуховатым хрипом. После нескольких дней возни Жогин зарылся в мох. Отдыхая, он то слушал кванты, то щурился на блестящие иглы. Но его все больше занимала собака.

Черный пес наблюдал за ним и что-то думал при этом.

Что варится у пса в голове? Жогин с неудовольствием заметил, что голова собаки объемиста, что пес мозговит.

«Что он может думать? — спрашивал себя Жогин и отвечал за него сам: — Прикидывает, выживет ли хозяин. Собаки, — припоминал Жогин, — чутки... Только заболеешь, а ей уже все ясно, врач еще не сечет, а она тебя отпевает. Или бросает подыхать одного в горах!»

Жогин почти не ел, не хотелось. И с возрастающей тревогой смотрел на пса: тот что-то решал. Что? С великой горечью Жогин понял, что не знает свою собаку. Ему думалось только нехорошее: предаст, бросит одного. Чем его удержать? И Жогин угощал Черного пса сахаром; тот сидел рядом, грыз. Жогин с трудом преодолевал желание схватиться за ошейник. Нет, этого нельзя делать. Пес сильный, он запросто вырвется. А, борясь с ним, себе же сделаешь хуже.

Пес, разжевав кусочек, ждал следующего. Его косящие золотистые глаза казались Жогину двумя лунами, плавающими в темноте. Пес умный, зря ничего не сделает. Он уйдет, определив, что Жогин безнадежен.

Да, найдут Жогина нескоро, никто не знает его новый маршрут. Глупо!

— Не оставляй меня, — попросил Жогин и дал еще сахара. «Я выживу», — хотел сказать ему, но не решился.

...Теперь Черный пес уходил на дальние охоты. Судя по прилипшему к его носу пуху, он охотился за куропатками. Белыми, еще не перелинявшими к зиме.

«Разве мало мышей? — размышлял Жогин. — Надо полагать, птицы означают его возврат к вольной охоте». Пес задерживался, а Жогин волновался, придет тот или нет. Но и без пса он не был один, его посещали гости: слышались мышиные шажки (собирали оброненные крошки), являлись бурундуки, а как-то пришла лисица глинисто-рыжего цвета. Но вдруг рядом с ней вырос Черный, заревел, и оба зверя исчезли.

Черный пес вернулся лишь на другой день, усталый, со вторым разорванным ухом. Он лежал рядом с винтовкой и лечился: слюнявил лапу и тер ухо, снова лизал и тер. Жогин успокоился: пока ухо не заживет, пес будет около него — спать, зевать, чесаться.

И Жогин решил, что разорванное ухо было везением, как и находка родничка на расстоянии вытянутой руки. Проучив его, несчастная случайность убралась, и все теперь шло ему на благо: вода была, и пес не ушел, этим подтвердив, что выздоровление Жогина близко. Самое же приятное (и невероятное) было то, что сентябрь продолжал оставаться теплым и солнечным.

Жогин, вскрикивая от боли, начал пошевеливаться. Пес лечил ухо, охотился, рассматривал Жогина. Но трещина между ними расширялась. От ночного холода Жогину приходилось зарываться в мох с головой, а Черный пес не ложился рядом, не грел, сколько ты его ни зови.

Жогин корчился, трясся в ознобе, даже подвывал. Он звал собаку, то моля, то проклиная ее.

— Черный гад! — орал Жогин. — Милый псина...

А затем случилось то, чего Жогин боялся: пес ушел. Даже не стал ждать, пока срастется ухо, а будто вспомнил отложенное дело и место, где его ждали.

Уходил пес в ясный, прозрачный день, полный огня лиственниц. Пошел от камня к камню, от сосны к сосне. А там и побежал.

Жогин видел, что пес уходит не колеблясь. Четкость собачьей воли потрясла его. Все! Он конченый человек, раз собака больше не верит в него.

— Вернись!

Жогин закричал так громко, что встряхнул голову. Эхо швырнуло крик обратно, словно камень, родив новую боль. Не напрасную — пес вернулся. Он подошел и глядел на Жогина — долго, то ли решая свою задачу, то ли прощаясь. А Жогин проклинал себя, что не изучил, не умеет держать в руках темную душу собаки.

— О чем ты думаешь? — спрашивал Жогин пса. — Ты решил, я пропаду? И ты со мной? Но это же ерунда, я выкручусь, вот увидишь. Мы оба спасемся.

Он говорил, а ему хотелось кричать. Но холодны собачьи глаза, они льют на Жогина поток недоверия. Жогин барахтается, захлебывается в нем. «Нет, — говорят они. — Ты скоро будешь мертвым».

— Не буду! — крикнул Жогин, даже собака попятилась. «Эх, встать бы! Или сграбастать пса?.. Черт с ней, с головой?»

Жогин протянул руку, но собака отскочила, не отводя желтых глаз. Дикая злоба охватила Жогина: «Убью!» ...Он потянулся к камню, но Черный пес был настороже: он прыгнул к руке, щелкнув зубами. Жогин отдернул руку, а собака, прижав уши и выставив стершиеся клыки, рычала.

Может, говорить?.. Пес будет слушать, а пока слушает, будет здесь.

— Старина, ты не должен бросать меня, — внушал

Жогин. — Понимаешь, я боюсь быть один. Грызи, ешь меня, только оставайся! И забудем прошлое. Согласен, я был неважным хозяином, но ведь и ты не медовая коврижка. Значит, с этого дня так: ты мне друг, а я тебе. Мы друзья, вот в чем дело. А друзья не предают друг друга. Понимаешь, у меня в жизни не было друзей, меня часто предавали. Все началось с отца. — И Жогин пересказал Черному свою жизнь. В конце концов от слабости, от обиды он зажмурился. Солнце грело лицо, будто теплую ладошку положило. А когда Жогин открыл глаза, то увидел пса уже наверху.

Пес бежал по обрыву так быстро, так нацеленно, будто его ждал новый костер и другой хозяин.

— Сволочь, — пробормотал Жогин. — Надеюсь, тебя сожрут волки.

Так Жогин остался наедине с болью, с холодом ночей, с ощущением одиночества, даже странной пустоты в себе. Боли усиливались. «Это, конечно, воспаление мозга, — решил Жогин. — Теперь я обязательно сдохну». Он почти не ел, а только пил воду и ставил себе на голову ледяные компрессы, используя носовой платок. Он часто терял сознание и бредил. Так, между бредом и явью, прошло неизвестное Жогину число дней. Но в часы, когда его разум прояснялся, в Жогине зрела обида на жизнь. Почему она дала ему плохого отца?.. Убила мать?.. Подсунула неверную жену, а затем собаку — черного предателя.

Это же подлость в квадрате — бросить раненого в тайге.

Отец, жена... Те далеко, те реяли, словно в тумане. Но собака была здесь, жила — черная. В ней, теперь мерещилось Жогину, собралась вся жестокость жизни, ее черное предательство.

И не случайно пес подошел тогда к костру, а на обрыве с точным расчетом сунулся Жогину в ноги.

Словно нарочно, чтобы добить его, вдруг перемени-

лась погода. Накануне у Жогина был особенно долгий обморок. Начался он даже весело — пробежали по синему небу белые паучки, и стала ночь, и в ней звезды. Они тоже разбежались... Придя в себя, Жогин вместо голубого неба увидел низкое, осеннее, холодное. Оно клубилось тучами и понемногу, скучно рассеивало снежинки. Зато в этом небе, повыше гор и ниже туч, плыли два вертолета.

По-видимому, это все же бред, видение — машины шли беззвучно. Но после ночи, в которую Жогин промерз до мозга костей, в небе с утра началась суета. Его искали, на вертолетах!

Жогин ликовал: его не забыли, ребята выжидали положенные на маршрут дни. Но вертолеты проходили высоко над ним, забирали к югу, где он должен был идти.

Нет, так его не найдут! Надо выбираться на открытое место. Скажем, на обрыв: там развести костер и дать сигнал. И надо торопиться — еще одну такую ночь он не выдержит. Жогин кое-как поднялся и встал, ухватясь за сосенку, колкую, липкую от смолы.

Он стоял, а горы, сосны, небо — все раскачивалось и вот-вот могло упасть. А боль-то, боль! Чем прогнать ее?.. Он положил пальцы на веки и прижал. Сильно, чтобы новой болью сломить первую.

— М-м-м... — простонал Жогин и попросил боль: — Иди ты...

Она не ушла. Уж лучше помереть, чем идти с нею.

— Черта лысого, — сказал он. — Я стану жить до ста тридцати лет.

Он должен жить, его ищут... Людям бы плюнуть на него, тяжелого человека, они же, рискуя машинами, могущими запросто врезаться в гору, тратят рабочее время — поди верни его!.. Надо идти — к ним, к своим рабочим друзьям.

Ладно, он перетерпит боль, он пойдет. Но пусть

жизнь не рассчитывает больше на его покорность. Такие муки... Все! Хватит с него! Удар за удар — вот так!.. И отцу он не простит, и жена пусть идет к черту, а уж собака... Значит, лезть на обрыв? Жогин, придерживая голову руками, посмотрел на его недостижимо высокую кромку — и ахнул: туда, где проблескивал гранит, выкатилось черное пятно, живое. Пес? Вернулся?

Жогин всмотрелся: да, да, это Черный пес! Но почему он не идет к нему? Стоит и вынюхивает что-то.

И тут цель прихода Черного пса стала ясна Жогину, будто он сам был собакой. Пес пришел оглядеть останки хозяина, убедиться, что не ошибся, бросив его.

Но так шутить с Жогиным опасно... Хватит! Он выжил и теперь задаст всем, так задаст, что... И начнет сейчас же, предатель получит свое.

На фоне горы, уходящей в небо, пес вырисовывался четко. Как мишень. И Жогин нагнулся к винтовке. Взял ее в руки, передернул затвор. Лязгнула сталь — и пес исчез. Совсем?.. Ага, снова появился. Оборачивается, повизгивает, будто зовет кого-то. Ясно, такую же собаку, бродячую сволочь.

Но можно ли попасть в пса?.. Надо попасть!.. Иначе все дурное, что было в жизни Жогина, уйдет неотомщенным.

Присев, он кое-как поднял винтовку, опер ствол на ветку, морщась и ругая голову страшными словами, стал целиться. Но ствол плясал, прорезь и мушка расплывались, а черное пятно собаки круглилось. Ладно! Пусть!

Больше он не в силах держать проклятую винтовку. Нажав спуск, Жогин решил, что промахнулся.

Грохнуло так, будто упала сосна. Отдачей Жогина кинуло в сторону. Он упал и лежал вниз лицом, и была только боль, ввинчивающаяся в затылок. Но сквозь нее послышался визг собаки. Жогин захихикал. И тут же застонал.

А собака визжала и визжала... Теперь он будто видит ее: она бьется, загребает лапами камушки... Вот, стихла. Он разделался с подлой тварью... Но что это?.. Ему послышались голоса. Жогин со стоном поднял голову. Это мерещится... Нет, он видит людей. На краю обрыва стояли люди. Они пришли... Искали его, услышали выстрел и пришли... Уж теперь-то он будет жить.

Исхудалое лицо Жогина, обросшее бородой, оскалилось в страшной улыбке. А с того места, где только что вертелся Черный пес, ему кричали, чтобы он не стрелял.

Но почему искали здесь, если плановый его маршрут много южнее?..

И вдруг он догадался, понял. Все!.. И затейливо, длинно выругался. Жизнь снова посмеялась над ним. Подло! Она подарила-таки, дала верного друга, лохматого и черного — отличную мишень...

БАРАМБОШ

Для каждой охоты нужна своя собака. По птице лучше всех легавая, по зверю — лайка. Но если вы идете ночью за барсуком, нет собаки лучше барамбоша.

Так говорил Крепива. И знал, что говорит.

Он единственный в нашем городе еще охотился за барсуками, нашел их подземный городок. Все легочники в нашем городе знали Крепиву, и шли к нему в октябре, и, покашливая глухо, просили барсучьего сала. Говорили:

— Лучше всего пить сало на ночь с горячим молоком. И грудь смягчает, и каверну заживляет.

Познакомились мы с Крепивой прошлой весной, в разлив Оби. Так было — застукала река на островах много зверя, и послало нас охотобщество мазаить.

Застигнутые звери сидели на островах, другие плыли на льдинах. Попадались и нахлебавшиеся.

На островах обычно сидели лоси, косули, волки и зайцы, на льдинах чаще плыли деревенские собаки.

Видели мы рыжего кота. Сидит на бревешке, щурится на водяной блеск. Но как он завопил, увидев нас! Как жаловался и плакал в лодке!

Так и плавали мы — от острова к острову, от льдины к льдине: мазаили.

...Видел я мирные картины — лисы и зайцы спасались на одном островке, и косые не боялись лис, а те не терзали зайцев.

Видел смешное — три лисицы сидели на дереве, стоявшем в воде.

А сколько щиплющих сердце картинок, когда зайцы пугались нас и с плачем бежали в воду и тут же возвращались обратно. Оставалось брать их за уши и сажать в мешки.

Увидел я и Крепиву. Плывет лодочка, а в ней трое, два человека и барсук. Один человек гребет, торопится, другой барсука за хвост на весу держит и все говорит:

— Ой, скорее, ой, не удержать. — И опять: — Ой, не удержу, ой, выроню.

Барсук же, вися вниз головой, ругал спасателя на все корки и водил лапами, норовя зацепить его.

Лодки наши пошли рядом.

— Во дает!.. Я его спасаю, а он меня грызть хочет, — говорил спасатель.

Барсука держал Крепива. Я смотрел на крупные его кисти с въевшейся пылью металлов. На пальцы — сильные, грубые.

Рука крепко держала зверя за куцый отросток. И мне подумалось — это символ: человек, опомнясь, спасает природу.

А барсук все ругается, топорщится — странного вида зверь, не то свинья, не то хищник.

— Этого ты спасаешь, а сколько поубивал? А? — спросил наш моторист, но лодочка уже шла к берегу.

— ...Какая ваша основная профессия? — спросил я Крепиву вечером, на отдыхе, вспомнив металлические кисти его рук.

— Слесарь я, — ответил Крепива. — В депо работаю.

Он поразил меня мрачным видом. Ему было за пятьдесят: седой, лицо суздальского типа, но глаза маленькие, зеленые, впалые.

Неожиданным был очень хороший лоб, поднимающийся над темным лицом. Что там, за ним?..

И Крепива стал мне любопытен.

— Почему ты то спасаешь, то, говорят, охотишься на барсуков? — спросил я.

— Да как тебе сказать. — Крепива шевельнул бровями. — Оно полезно, воздухом дышишь. И выгодно (быстро усмехнулся). Больных еще многовато, лечатся, им жир нужен. И не бей я барсуков, станет бить другой. Есть гестаповцы — сверлами в норах сверлят, проволочной петлей душат, бензином жгут. Я же зверя убиваю культурно, палочкой по носу. Носопырка у барсука хрупкая. К тому же держу барамбоша. Сам знаешь, есть собака — охотишься... Как с семьей: есть жена — хозяйство ведешь, холост — ничего не надо. Заходи как-нибудь, расскажу. Живу я на Кировском спуске. Знаешь? Номер восемьдесят шесть, а крыша зеленая, в прошлом году покрасил.

— Зайду. Расскажи что-нибудь.

— Отчего же не рассказать. Вреда не будет?

— Уверен, — сказал я.

— Ишь ты, уверен... — усмехнулся Крепива, зевая.

И я узнал секреты барсучьей странной охоты. Я слушал голос Крепивы, и мне начинало казаться, что раскрывается связь охотника с добычей, таинственная, древняя.

— Значит, с собакой охотишься? — переспросил я. — Каких берешь?

БАРАМБОШ ПЕРВЫЙ

— Я их зову барамбошками, — говорил Василий Крепива. — А они просто всякие собаки. Понимаешь, для каждой охоты нужна собака. Конечно, спаниель сработает и кулика и белку, из-под легаша можно бить косого на лежке. Слыхал и о сеттере, ходившем по медведю, и холмик над его могилкой видел.

Но все же лучше спец. Вон мой зять работает в угрозыске, так за бандитами лучше всего идет овчар. В нору хороша такса. Она узенькая, маленькая, всюду пролезет. А челюсти у ней вроде тисков. Но для моей охоты лучше всего барамбош.

...Кто такой барамбош, спросишь ты? Отвечаю — любая собака: голова, хвост, четыре ноги. Догадываешься?.. Барамбош — это характер.

Если собака умна, она все может. Таким был Михаил. Но если собака звезд не хватает, а воображает себя серьезной собакой, не выйдет из нее барамбош.

Каким должен быть барамбош? Отвечаю — легкого нрава, но в то же время иметь в себе подловатость. Понимаешь? Подлавливать зверя должен, подлавливать. Он как работает? В третью смену, ночью.

Проверяю я каждую нору, не одну ночь проведу рядом. Барсучка изучу от носа до корня хвоста.

Все знаю, велик он или мал, вспыльчив или меланхолик. Самые жирные барсуки — меланхолики, вспыльчивые всегда тощи. Как и люди, сам понимаешь.

Бывает, сидишь за кустиком, ждешь рассвета. А он идет, сопит носовой картофелиной. Если жует на ходу, значит, с сальцем. А вертит головой, цветами интересуется, на дроздов вякает, то он нервный, с плохим аппетитом, и из списочка я его вычеркиваю.

На проверку, заметь, собаку не беру. К октябрю я точно знаю, кого мне из барсуков брать, а кого оставить. У меня и карта начерчена, и заявки на жиры

приняты. Тогда-то и появляется барамбош. Идем мы к норе поздним вечером, когда звезды высыпают и барсук идет гулять. У норы отпускаю собачку. Сильного чутья барамбошу не нужно, нос дворняги вполне годится, и мы быстро находим барсука. Ходить он не мастак, собачонка догоняет его, барамбошит, наскакивает, за брюки пощипывает. Тут я и подбегаю. Три задачи у барамбоша: найти барсука, к норе не пустить и зарыться не дать (барсук, как штопор, в землю ввинчивается).

Ранее я хаживал с ружьем, но перестал.

...К барсукам, парень, меня война прижала — рождались дети, их надо было кормить. Сидел я под броней — депо, стратегическая дорога. Но в остальном тоще. Я было в животноводство ударился, порося стал выкармливать. Выкормил, но залезли ночные воры и прямо в стайке закололи его. Кинулся я на воров. Двое помогли мне в этой борьбе. Первый — мой пес Михаил. Он разбудил меня и сам на них кинулся, даром что был величиной с рукавичку.

Второй мой помощник — сосед, старичок охотничек. Выйти он побоялся, но из форточки стрельнул вверх. И жена визжит: украли, украли, украли... Я схватил лопату и на воров, в ярости. Воры и побежали.

Старичок с того дня ко мне репьем приклеился — становись охотником, и все. Сыновья его без вести сгинули, жил он охраной магазина и барсучками. И стал старик меня соблазнять, на барсуков подталкивать, на Мишку кивать. Говорил, что шибко умен пес, что такие вот маленькие самые лучшие. Говорил, что барсук не свинья, выкармливать не нужно, воров бояться нечего.

Воротил, воротил и своротил-таки.

И так хорошо у нас с Михаилом пошло дело. Барсуков много было под городом, не трогали их охотники. Почему? Отвечаю. Русский — он дурак в еде. Меня самого только война научила видеть во всем добротное, в смысле жратвы, основание. А сначала я барсучков

менял на хлеб, на сахар, а иной раз и на водку — от радости, повернулась война к победе. А там и сами приспособились барсучатину жевать.

Неплохое кушанье, особенно с тушеной капустой.

Дети у меня все барсучата, все на его мясце до потолка выросли. Глянешь, и сомнение — твои ли?.. Да, Михаил и нас и чахлотов здорово поддержал. Я ведь не всегда из выгоды. Посмотришь — идут, кхекают, легкие выплевывают. Жалко! Бывало, так сала дашь, даром, зато и сейчас иной раз на праздник поллитровочку поднесут.

А Михаил умен был. Скажем, поставит жена суп, рядом охрана — сидит черный головастик и рычит. А сам ни-ни... Кости он собирал, набивал ими печурку. Чуть проголодается, тотчас вытаскивает костяные сухари и грызет — хозяин... Помнится, стал я сдуру эти кости выгребать из печурки, так он во как за руку меня хватил. Ударил я его, а жена кричит:

«Опомнись, кормильца бьешь...»

По барсучку Михаил пошел сразу. Старик взял на охоту его и свою опытную собачонку. Шустра — так он ее звал. Михаил отработал с ней первого барсука и начал их пощелкивать. Случалось, брали мы с ним за ночь по три зверя. Весь секрет здесь в тесном расположении нор.

Погружу их на тележку, Михаила сверху посажу. Утро лютое, красное. Иней. Идешь, от холода подпрыгиваешь: я тележки делал легкие, на резиновом ходу.

Слесарь, он все может.

А дома нас ждут.

...Михаил... Было и в нем неудобство — черен как ночь, не углядишь. Сшила ему жена белый фартучек с завязками, я фонарь приспособил на стволы. А все равно не помогло.

— Что же случилось?

Крепива вздохнул.

— Могу и рассказать тебе эту жизненную хреновину. Пошли мы с ним к реке Коняге. Рукой подать. Там жил барсук-меланхолик. Жирный — тянет живот по траве и все чавкает. Пошли. А ночь с бегучими облаками и луной. Стадом прут, и луна в них все ныряет, все ныряет. Самая гнусная обстановка — и в голове рябит, и в глазах.

Нашарил Михаил барсучка около воды, начал барамбошить. Он кричит, а я бегу, он кричит мне: «Скорей сюда», — а мне под ноги сучья лезут. Упал раза два, фонарь потерял, морду разбил. А у Михаила фартучек оборвался. Я выстрелил и обоих положил. Рядышком лежат Михаил с барсуком, будто дружки, а всего-то попала в Мишу одна свинцовая горошина, из уха в ухо прошла. Распалился я. Шварк по березе ружьем — пополам, хвать себя кулаком по башке, а дело-то сделано.

Привез его домой — жена давай меня молотить по спине, но кулаки у нее мягкие. Бьет и сама воет. А я тоже сам не свой.

БАРАМБОШ ВТОРОЙ

После Михаила мне долго не везло на барамбоша, бог карал... Но могу тебе прямо сказать: глупее второго собаки у меня не было. Случалось ему заблудиться и в городе, а уж в лесу он у меня терялся несметное число раз. Но окраска его была хороша — белый (жена его даже подсинивала) и в лунную ночь словно плывет в воздухе.

Я приспособил свисточек, и барамбош находил меня хорошо, если не забывал, кто и зачем ему свистит. Он-то в норе и застрял.

Остановили мы барсучка, я трах палкой по носопырке, промахнулся и засветил себе по колену. А на палке свинец.

Взвыл я, скачу на одной ноге. Барсук, конечно, в нору, и барамбош за ним — так и въехал.

Я приковылял, зову, моргаю ему фонариком — воет. «Бобка, — говорю, — терпи».

Ковыляю к тележке за лопатой (я ее всегда беру с собой). Барамбош влез метра на полтора. Думал, легко откопаю. Но пока я ходил, барамбош полз вперед и застрял глубоко и прочно. И так кричал под землей, будто его барсук там живьем ел. Словом, копал я до вечера: очень неудобная была нора, сплошные корни.

Копаю и говорю себе: «Помни Мишку, помни». И барсук злой. Я копаю, а он гудит на меня, я копаю — он гудит. Сердитый мужик!

Сначала я двухвостую ящерицу вынул, уже дохлую, потом барамбоша. Домой его на тележке привез. Жена кричит:

«Этого угробил!»

Дурак был барамбош, и, когда помер от чумы, я даже обрадовался... Ну, до рассвета еще пара часов, храпанем, что ли...

ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ БАРАМБОШКИ

Я пошел к Крепиве в середине августа. Хорош бывает конец лета в узких окраинных улицах. Город — почти деревня. Асфальт, но так пахнет землей.

В огородах зрели помидоры. Жена Крепивы ходила и пощипывала пасынки, а Крепива сам ремонтировал прицеп к мотоциклу. От него пахло керосином. Около крутилась собака Невеста, животина добрая, но внешне страховидная — в щетине грязного серо-белого цвета.

— Чудо природы, — говорил, глядя на нее, Крепива. — Гляжу и сам пугаюсь. Барсучатница, и, гля, шерсть как на барсучке. Может, родня? А? Невеста? Гля,

на ушах и спине пегая, а каждый волос трех цветов: у корня желтый, середка черная, конец седой.

Он стоял, оторвавшись от завинчивания болта и положив ладонь на поясницу. И видно по движению морщин — ему приятно выпрямиться.

Я смотрел на Крепиву: он стал яснее мне. Вспоминались березы. Когда это милое дерево срубят и ошкурят, оно полежит на воздухе и отчего-то задубевает. Тогда березу ни пила, ни топор не берут, только огонь да время. Огонь жрет ее с хрустом, другое — не торопясь, годами. Тление тот же огонь, только медленный.

Крепива и был таким древесным остатком. Рабочим, но и промысловиком. Из тех людей, что не живут без ружья, — их было много когда-то.

Я навел разговор на таких, и Крепива мне немало порассказал. Есть такие и сейчас, уезжающие на зиму в тайгу, бить соболя и белку. Один, Селиверстов, живет в двух кварталах, рукой подать. Есть уезжающие осенью — бить кедровые шишки. Некоторые же в отпуске бьют в лесу белок и сдают шкурки. А когда разрешалось бить весной уток, то сосед Елисеев умел так сладко пропеть в манок, что к нему кучей слетались холостые чирки. Но все это старики, молодежи на охоту плевать.

— У меня два сына, а охотник — зять. Да и охотиться ему, вижу, стыдновато, да и мне приработок вроде ненужный. А если снесут домик? В многоэтажке не будешь сушить шкуры на балконе. Тогда и я кончу свою охоту. О чем мы прошлый-то раз говорили?

Я сказал.

И Крепива, возясь и постукивая, стал мне рассказывать дальше:

— ...Без Михаила охотился я на засидках. А это штука кропотливая. Во-первых, нужно соорудить полати, лежать на земле — простынешь. Во-вторых, приходить засветло, пока барсук спит. А стреляешь его на рассвете,

когда хорошо видно. Случалось, что и заснешь и проворонишь.

Барсук идет, а ты носом наигрываешь. Он стоит у норы и принюхивается, а ты сны разглядываешь. Вскочишь, а уж солнце, на лужах блестят стеклянные корочки, а барсук спит в норе. Разве это охота!

Стал я приискивать собаку. После Бобки завел было свору дворняг, так они что сделали? Барсука догнали, придушили и рвать его начали — военные, голодные звери. Кинулся отбирать, а они на меня. Окружают, глазами светят. «Ну вас, — думаю, — к лешему». Я в сторону, в сторону и убег домой.

Стал я искать барамбошек. Искал не только белых, а и приземистых, чтобы не застревали. До Невесты у меня жили две с половиной собаки.

— Две с половиной?

— Две взрослые и один щенок, выходит две с половиной. Познакомился я с одной старухой, Аглаей Федоровной. Язву желудка она себе жиром заливала, а кормилась вылепливанием пионеров из глины. Она их тогда в городе у школ да в скверах штук двести наставила. Одни пионеры трубили, другие барабанили, третьи несли знамя.

Худая такая старуха, с усами и седой бородкой, но руки большие, сильные, как у трудяги. Да и понятно, глину месит.

Говорят, если женщина с бородой, то ведьма. Эта была добрая. Она собирала бездомных собак и искала им хорошего человека.

Давал я старухе сальце, а она мне приводила собак. Привела и Шарика — по заказу, с кровью таксы, длинного туловом, на коротких ногах.

Чудная собака! Спокойнее ее в жизни не видывал. Жрет и спит с храпом. А еще у нее был гав... Уйдет к воротам, нос в подворотню выставит и на прохожего: «Гау!». Словно в ухо тебе рявкнул громадный пес.

Прохожие, случалось, хрупкие вещи из рук роняли. Он вора разоблачил. Тот увел фарфоровый сервиз и нес его в скатерти. Шарик гавкнул — и столько черепков около наших ворот было! Сгребли парня. Но барамбошить Шарик отказался.

Не идет, и все.

Я с ним кашу так и не сварил. Тогда бородатая старуха привела второго, тоже Шарика, тоже белого. Он имел нос розовый, будто скороспелая картофелина, уши стоячие, нрав бегательный. Вечно куда-то уходил. Или служил где-нибудь, или на барахолке спекулировал (Крепива ухмыльнулся).

Он и пропал таким же образом — ушел с деловым видом и не вернулся. После Шариков решил я опробовать легаша. В городе войну пережили две сеттерихи: одна у художника Моисеева (тот от себя хлеб отрывал, ее кормил); вторая, Альпа, жила у архитектора Рюхина на хозрасчете. Она хаживала к хлебному магазину (там дли-и-нный хвост сирых и убогих стоял — хлеб просили).

Альпа — собачища умная, она приходила и садилась в ряду. Не ныла, на психику прохожим не давила, а смотрела. Но такие были у нее глаза, что рука сама к булке тянется.

И ребятишки ей подавали. Она наестся, возьмет последний кусок хлеба в зубы — и домой. Словом, такую конкуренцию нищим создала, что те ее палками били.

Выпросил я щеночка через старуху. Но хозяин Альпы за собакой не следил, и щеночка дали мне нечистого. Это был ребенок военного времени, психованный. Он ни минуты не сидел на месте. Если я его брал на руки, он начинал грызть пальцы; если пускал на пол, он бегал кругами, рыча и визжа. Я унес его на базар и отдал за буханку хлеба.

И во как драпал от покупателя.

ГОРОД ПОД ЗЕМЛЕЙ

После войны вернулся я к правильной барсучьей охоте. Повезло мне и на Невесту, сильно повезло: и барамбошит и двор сторожит. Мудрая. Однажды мы с ней сеткой барсука для зоопарка ловили. И удачно.

Но что теперь за охота? У всех транспорт. Барсучков около города выбили не для пользы, для развлечения. И езжу я за сорок километров. Надолго езжу, на неделю или две. Отпуск беру в октябре, во второй его половине.

И надо ехать, ведь за салом человек сто ко мне в октябре придут. Я их не обижу, нет.

А на днях что случилось! Ездил я гулять за город. Внучонка взял (дочка подкинула, на юге отдыхает с зятем) и Невесту. Мы запрягли бензиновую лошадку, километров двадцать отмахали от города.

Еду, а в голове ровно старые киноленточки крутятся. Будто вижу я прежние густые леса, табуны тетерок. Были же здесь, были великие леса, и тучи птиц, и тьма зайцев. И нет лесов, нет птиц, нет зайцев.

Не сберегли их, не удержали.

А еще были лесные овраги — с речкой в каждом. Но обезлесили мы овраги, и утекли речки. Скули не скули, это естественно: народ плодится.

Вот к этим оврагам мы и приехали. Остановились.

Овраги известно как идут — один, второй, третий. Нашли мы воду — так, пустяковый родничок, собрали сушняк да полынь прошлого года и зажгли костер.

Он горит, внучек себя индейцем воображает, на слонов с Невестой охотится. Я же прилег вздремнуть — разморило. И так хорошо, без снов вздремнул, такой покой ощутил. Должно быть, земля в себя потянула.

Проснулся я, когда шли по небу красные пенки. Вскочил — ни собаки, ни внука!.. Закричал — тишина... Сгоряча побежал, но запыхался.

Иду я по-охотничьи, сную налево-направо, загляды-

ваю в каждый овраг. Подумалось — сверзились они, расшалились и — кувырк... Наконец вышел я к одному небольшому оврагу. Он всегда был малодоступен — крутой такой, будто провал.

Пришел и вздохнул: лежат оба моих ребенка на краю оврага, свесились вниз, только их попки и видны.

Подхожу к ним, а сам на ходу высматриваю хворостину. Внук оборачивается и говорит мне: «Ши-и». Невеста оборачивается и глазами на меня: «Ши-и-и». Прилег я рядом и вижу — противоположная сторона оврага просверлена большими дырами. А от дыр дорожки — вверх, вниз, к ручью, к кустам. Из дыр барсуки смотрят, а молодые барсучата по дорожкам ходят. А среди них один седой. Словом, фильм!

Так мы до сумерек и сидели там, глядя на это барсучье царство. Барсуки ходят, в кучу малу играют.

А отчего они сбереглись? Место это обошли и жизнь и охотники. Одни считали, я тоже, что это слишком уж близко к городу, а других в овраги калачом не заманишь.

— А где они?

— Так я тебе и сказал.

— Охотиться на них будешь?

— Не-а. — Крепива помотал головой.

— Покажи-ка мне фото великого Михаила, — попросил я, а Крепива мотал головой, твердя:

— Потерянный мир, ей-богу, будто в кино — барсук идет за барсуком. Михаила бы мне!

— Да-да, именно Михаила, — напомнил я.

— Это можно, — сказал Крепива. — Идем в кабинетку.

Он провел меня в свою, как он назвал, «кабинетку» — узкую, чистую комнату. Висели пришлепнутые к картонке фото, целые грозди родственников. А поперек ковра повешена потертая двустволка, солидная.

— Тульского императорского завода... — довольно

сказал Крепива. — Двадцатка, а девять фунтов тянет. Старичок ее завещал.

Что еще? Широкая кровать. На столике книга — «Технология холодной обработки металлов».

Крепива нагнулся и вытянул из-под кровати ящичек из сосновых досок, полметра длиной и такой же примерно высоты. Раскрыл его — ударило в нос и глаза нафталином. Он же вынул черную собаку, прибитую лапами к дощечке.

Это было маленькое чучело собаки, но с удивительно объемистой головой. Она глянула на меня оранжевыми стеклянными глазами. Они светились на черном бархате ее шкуры. Такая чернота! Будто кусок тьмы хранился здесь. И у меня тоскливо сжалось сердце.

— Знакомец мне набивал Михаила, — объяснил Крепива. — Добрая работа. Я в нафталине его держу, чтобы моль не побила.

Он взял чучело и стал гладить его. Бормотал:

— Если охотитесь по перу, то нужна лайка, а если, как я, ночью на барсуков, то нет собаки лучше Михаила.

— Да зачем тебе чучело? Жутко и... сплошное расстройство.

— Зачем, зачем... — вдруг рассердился Крепива. — А если их когда-нибудь научатся оживлять. Ведь Михаила у меня ни одной косточки не пропало.

У меня по спине пробежали мурашки.

Мы посмотрели друг на друга — у него впалые, грустные глаза. Нет, он не псих.

— Может, и меня оживят вместе с ним, и барсуков в овраге. Соберется вся наша капелла вместе. Ну, вру, вру... Бывает, выну, погляжу, размышлениями позанимаюсь. Что еще старику ночью делать? Он же красивый, Михаил. Гля, какой черный. Будто провал куда-то, хоть руку просовывай.

Мы снова посмотрели друг на друга. Тень усмешки

пробежала по губам Крепивы и спряталась. Он подмигнул мне.

...Когда я распрощался, Крепива проводил меня до ворот, говоря:

— Ты заходи, я еще мно-о-го чего знаю. Может, и выпьем когда.

— Конечно, — сказал я, пожимая его руку. — Конечно, приду.

И не иду, боюсь чего-то... Так что псих, наверное, я сам.

НИВЛЯНСКИЙ БЫК

ВОДЯНОЙ ЖУК

Был апрель, сухой и холодный. Я переходил дорогу. Из-под ног взлетала дорожная пыль, сухая ее смесь со льдом, тонко размолотая колесами машин и ногами прохожих.

И в этой же пыли брел куда-то водяной жук, полз, напрягался, работал ногами-веслами.

Засек я его случайным взглядом. И пришло ко мне удивление: как случилось, что водяной жук плывет в пыли? И следующее — какой везучий жук! Миновали его человечьи ноги, миновали колеса на дороге.

Откуда плывет он?.. Где вымерзла его родина — лужа?..

Было рано, часов около семи утра, а дорога полупустынна. Я пошел, следя жука: он явно полз к реке. Направление его было верным, движения медленны и точны.

Он упирался веслами, отгребался, то зарывался в пыль, то выныривал из нее. И плыл, плыл... А до реки еще километра два пути, колеса, ноги... Сколько их?.. Сто?.. Тысяча?..

Нет, не дойти жуку! И я помог ему: взял бумажку, завернул насекомое и отнес к реке. Бросил: жук исчез в глинистых водах.

Однажды пересох и водоем моей жизни и поманила некая дальняя река, подышав мне, как водяному жуку, надеждой и свежестью. Я заторопился к ней, сжимая время ракетными двигателями самолета, мял его железным прессом колес.

Несчастье было такого рода — пришла ко мне Большая Догадка и ушла, потому что я не поверил в себя. Будто схватил я радужную, семи цветов, чудную птицу в полете и глупо разжал пальцы.

Разные бывают в жизни несчастья, и нет им числа. А счастье только одно — сделать все, что дано тебе, полностью. Я не сделал: Догадка улетела.

Подействовало это на меня странно — ноги стали тяжелыми и голова, мысли, надежды... Я заболел сердцем и проболел всю зиму. Друзья мне говорили: тебя, старик, нужно показать одному редкому врачу.

Начались суета, переговоры: был редкий врач. Все знали о нем, многие вели переговоры — очередь была огромнейшая.

Врач просидел со мной больше часа, пытаясь догадаться, чем помочь (очередь шаркала ногами и скреблась в двери).

— Лекарства само собой, — сказал редкий врач. — Но купите-ка себе дачу. Это вас оздоровит.

Купить дачу?.. Я даже вспотел. А врач втолковывал мне, что только работа в саду, на свежем воздухе закрепит его лечение. Сердце окрепнет, нервы, и все хорошо пойдет: работа, жизнь.

Он тряхнул волосами и прочитал стихи:

— «Живи в саду, трудись средь грязи и навоза, тебя примерно лет на сто омолодит метаморфоза». И на десять лет неплохо, а?.. Купите, не жалейте затрат.

Убеждая, врач похлопал меня по плечу и уронил

чернильный прибор. Зеленый, каменный, должно быть, дареный.

— Все покупают дачи, — сказал врач и предупредил, что иначе мне будет худо.

Я попрощался и вышел. Купить дачу?.. Почему не Луну?.. Рассмотрим-ка свое положение. Мне сорок лет, у меня нет ни семьи, ни денег на сберегательной книжке. Нет даже самой книжки. У всех есть, а у меня нет. Обидно и странно. Почему нет?.. Кто я такой?

Отец мой был кузнецом, солдатом, затем художником-самоучкой. Мама набирала книжки в типографии. Я же пишу маленькие рассказы и зарабатываю маленькие деньги. А надо, как мои друзья, писать романы и получать толстые пачки денег.

Купить дачу?.. Кстати, знакомые желают продать свою. А деньги?..И вдруг дача не поможет?.. Как бы это смоделировать?.. И я решил уехать в среднерусскую деревню, на ту прародину, откуда мои предки уходили в Сибирь.

Поехал не сразу, когда пришло лето. А сначала написал такое письмо:

«Здравствуйте, Антон Львович! Большой привет вашей супруге! А также сеттеру Бою и обеим кошкам. Узнав, что вы теперь на даче, пишу о себе: у меня был период хлопот и болезни. Впрочем, я так живу, что и писать не о чем, разве о проклятых восьми этажах, на кои, если откажет лифт, я бреду целый час и прихожу при последнем издыхании. Но я привык к такому состоянию и если почувствую себя хорошо, то удивлюсь, наверное. Дела мои последнее время были полны неопределенности, но теперь прояснились: я хочу укрепить сердечную мышцу, а для этого нужна дача. Выберите-ка полчасика и напишите о себе, о животинках, лесе. О том, не раздумали ли вы продать дачу?»

...В Москву летел я самолетом — в трехстах километрах от нее была моя среднерусская прародина.

Я несся к непредвиденным встречам и нежданным мыслям...

В каждом из нас, если не повезло, сидят двое. Конечно, бывает и трое, пятеро, но я сложен из двух. Одно мое «я» смелое и сильное — в деда, уходившего в Сибирь, в отца-солдата. Другое же осмотрительно и до отвращения благоразумно.

Летел я в хвосте самолета, так вышло.

Я сидел на последнем месте, хвост Ила мелко дрожал, будто хотел отломиться. И одно мое «я» одолевал страх падения, а другое старалось уничтожить его.

Эти страхи... Вот и Догадка, случайное изобретение, напугало меня.

Явилось оно вот откуда — я затеял писать фантастические рассказы. В них должны были летать мои герои и только в моих кораблях, на моих двигателях, могучих и этим красивых.

Ведь красота разлита всюду. Она в былинке, стихе, поступке, машине... И пришла Догадка о двигателях, как их сделать красиво-могучими. Так я нашел идею нового ракетного двигателя и, понятно, не мог поверить себе. Но прошло несколько лет, и я увидел его чертежи в одном полутехническом журнале. Двигатель был тот же самый, вот только фамилия написана не моя. И не одна к тому же: коллективное изобретение — это теперь модно!..

Потерять Большую Гремящую Догадку! Отец умер, а то бы он такое сказал.

Впрочем, я смутно ощутил тяжесть Догадки, чувствуя, что она, как медведь, нечаянно поднятый из берлоги, может сломать мой хребет. И я благоразумно обошел заманчивый лесной выворотень, того медведя, чье тяжелое дыхание уловил.

К тому же махали руками добрые люди: «Не ходи! Там опасно!» Я не пошел.

...Впереди сидел человек, похожий на жука, черные блестящие волосы, черный костюм, поблескивающий, будто из хитина сделанный. Он бубнил в торчащее ухо соседа, блеклого волосатика с длинным хрящеватым носом (о таких еще говорят — дятел):

— Тонны... тонны...

Я навострил ухо. Мне хотелось отвлечься от вибрирующего хвоста, от себя и послушать о тоннах, наверное, недоданных заводом. Вот, летят в Москву объясняться.

Лучше послушать, чем думать о себе. «Реже, реже думайте о себе», — велел мне врач.

Но те говорили, что-де, пролетая до Москвы, самолет наш сожжет столько-то тонн кислорода, потребного для окисления горючего. Кислород выделяют растения. Так сколько же надо деревьев, чтобы снова надышать этот сгоревший кислород?

Жуковатый знал — семнадцать тысяч гектаров леса. По-видимому, он был лесником или ученым-биологом.

— Квадратный метр листвы дает в день семь граммов кислорода, — вещал он, одергивая хитиновый костюм. — На одном квадратном метре леса, учитывая этажность веток, растет четыре квадрата листвы.

— Нет, нет, нет... — Сосед тряс носом. — Меньше, меньше, меньше...

Я попробовал сам произвести расчет, но быстро устал и вернулся к своему: я напугался изобретенного.

А ведь было и ликование: нашел!.. Сам!.. Испугался я потом, и Догадка прошла мимо.

Вот что убивало: почему я не рискнул открыто выступить с ней? Ведь течет же во мне кровь смелых предков, уходивших в Сибирь. Первое мое «я» и хотело выступить, но второе, предусмотрительное и здравомыслящее, посоветовалось с друзьями. А вывод?

Такой: никогда не советуйтесь! Идите прямо, куда ведет крупный человек, сидящий в каждом. Быть может, он приведет вас к гибели, но умереть смелым мужчиной в век болеутоляющих лекарств не каждому дано.

Не ходите к друзьям! Не нужно! Они вас любят, не хотят терять и постараются сберечь — для себя.

...— Ракеты! Ты с ума сошел! — закричали мои друзья. — Ты что же, считаешь себя умнее всех? Пойми, ученые работают над этим. Раз таких нет, значит, и быть не может!

— Но допустите роль случайности, догадки, работу фантазии, — оправдывался я. — Мне повезло на удачную мысль. Допустим, это выигрыш в лотерее.

— Старик, нет случайного, одно всегда вытекает из другого. Ты литератор и можешь только писать рассказы — получше или похуже.

Друзья мои — добросовестные люди. Чтобы окончательно смирить меня, они устроили мне консультацию с ученым, огромнейшего роста мужчиной.

— Да, соблазнительно, — выслушав меня, вздохнул тот. — Грандиозная идея, вы даже не понимаете значения ее.

Он поднялся со стула: грузная, в груди и шее бычья фигура.

— Итак, вы хотите в ракетные двигатели вводить и второе топливо, более сильное. То, что сейчас сжигает все известные нам материалы... Итак, у вас, как я понимаю, у стенок камеры двигателя горит обычное топливо при относительно низкой температуре, а другое, зажатое им, изолированное, может быть использовано... Но... — он помолчал, — это нереально. Путь здесь другой — надо искать стойкие материалы. Над этим и работают химики.

Он похлопал меня ладонью по плечу. И так была мясиста и тяжела его рука, что я буквально приседал под ней.

— Догадка ваша, — усмехнулся ученый, — лежит на поверхности. Вы литератор? Вот и напишите рассказ о своем двигателе.

— С этого-то все и началось, — пробормотал я.

— Вот видите. Нет, это несерьезно! НИИ работают, коллективы, а вы...

И ученый потрогал мое плечо ласковой теплой рукой, говорившей: «Эх ты, чудачок-дурачок!»

Шел я к профессору с гордостью (и страхом), а ушел почти довольный: великую тяжесть непривычного снял он с меня.

А Догадка?.. Пошагала дальше... Я же занимался своим делом, даже рассказ написал. Лишь иногда я вспоминал крики друзей, ученого, Догадку. А года через два я нашел ее упомянутой в статье о новейших разработках ракетной техники. Она была снова найдена — другими! — и названа решающей проблемой дальних полетов.

...Всегда трудно переносить неудачи. Но если заглянула Большая Догадка и ушла, этого себе не прощаешь. И тот крупный человек, что дремлет в каждом из нас, вдруг поднимается, гневный... И разрушает второго, робкого и осмотрительного.

Но если друзья спохватились вовремя, то борющегося в себе человека ведут к врачу.

Нечто раскаленное вдвинулось в грудь и пресекло мое дыхание: это мое большое «я» стало уничтожать малое. Я задыхался.

Спас меня нечаянно зашедший товарищ, вызвав «скорую помощь». И теперь я то люблю, то боюсь беспощадно требовательное, сидящее во мне. Слежу за ним. Почувствовав его движение, немедленно усыпляю зелеными, цвета покоя, таблетками.

С аэродрома я проехал прямо к вокзалу. Но было отменено подряд три электропоезда, и несколько часов я слонялся у красивых витрин. Конечно, замешкался и свободного места в электричке не нашел.

Пришлось ехать, держась за поручень, в деревенском пыльном автобусе. На дорожных выбоинах в моем желудке колыхался авиаобед: сыр, помидор, хлеб, чай. Мне казалось, что съеденное громко плещется.

Я стоял, ногами придерживая беспокойный, ерзающий чемодан. Меня охватывала тоска неудобства. Чем бы отвлечься?

Я пошарил глазами, прислушался. Тотчас нашелся интересный пассажир, длинный ростом мужчина в костюме с красной ниткой, в кирзовых грязных сапогах. На коленях он держал, будто ребенка, оплетенную бутыль гамзы, а разговаривал теми словами, которые можно передать на бумаге одними точками. От слов-точек хохотала веселая группа мужчин.

Я прислушался. Мужчина с бутылью оказался деревенским пастухом из соседнего с моим села Нивляны. Он зарабатывал фантастически много — триста рублей в месяц! Как я мог понять, единственным грозовым облаком в его жизни был нивлянский бык.

Компания смеялась, заглушая рассказ. Но пробивался голос мужчины, с огромной изобразительной силой рисовавший картину: вот бык догоняет, сажает на рога какого-то уполномоченного.

Поручень был выпачкан машинным маслом, дорожная галька стучалась в дно машины, поездка казалась мне глупой. Что я буду делать в деревне? Гулять не смогу, бык ходит в стаде и погонится. Из-за сердца я не смогу убежать, бык станет сажать меня на рога.

Что бы такое изобрести?

Можно носить с собой палку, но разрешают ли бить совхозных быков? И получается, что я спешил, летел, а бык станет портить мне отдых. Но что поделать, такова

неприятная правда данного места. А моя правда? Она обидна, и нужно искать другую. Но где?.. В чем?.. Автобус закряхтел и, словно запнувшись, остановился. Я качнулся вперед и спросил:

— Авария?

— Тебе выходить! Выходи скорей! Выходи! — закричали мне все, слышавшие имя моей деревушки.

Я взял чемодан и вышел, автобус покатился дальше. А деревня?..

Да вот она, на ладони, ее странные, непривычно огромные дома — десять! — ее широкие яблони, громадные липы. А воздух-то, воздух!.. В нем ни пылинки, чувствуется только округлая упругая мягкость водяных паров.

Моя прародина!.. Я жадно глядел, а ко мне шла босая старушка с полными ведрами, к удаче. Старушка вгляделась в меня.

— Соколик! — пропела она. — Да ты никак из Дедовых? Угадала? — Я кивнул. — Тогда зови меня Марь Антоновной. Потянуло, значит, на родину?

— Ага.

— Ничего, сокол, комнату я тебе сосватаю. Хотя дачников приехало нынче многовато.

И, оставив ведра посреди улицы, повела устраивать меня на жительство.

...Да, моя прародина — теперь умирающая деревенька. (Пожив, я точно узнал это.) Даже куры здесь старые; хозяйки говорят одна другой:

— Думала, помирает ряба, ан яйцо несет...

— Моя снеслась, а сама глаза подкатила, в омороке лежит...

Впрочем, много ли надо старушкам? Огороды их кормят, престарелые куры тоже. Да пенсия, да накопленный ум. Даже топливо не разоряет мудрых старушек — они готовят еду на экономичнейших керосинках.

ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМИКИ

Июнь. Не Сибирь, а такая резкая вечерняя прохлада. В ней что-то снеговое, та родниковая вода, от которой ломит зубы. Но здесь не боятся холодного: ходят босые женщины, ходят дачные дети с голыми длинными ногами. В травах желтые цветки ловят последнее солнце — пятернями лепестков.

Такие мелкие эти цветики, что их щемяще жаль, как детей, щенят и птенцов. Но если спросить деревенских, как называются, те скажут: «Это которые желтые». И прибавят: «Ими Кровяниха желудок лечит».

Я прошел мимо цветков, желтых и безымянных, прошел мимо ветлы, зажавшей в кулак пучок веток, мимо сарая...

Это темный, высокий сарай. Он заперт на замок, такой большой, каких теперь и не делают. Зеленца мхов в пазах бревен, около стены кучки тех цветов, которыми тетка Кровяниха лечит свой желудок. Но здесь цветы не светятся, их погасила тяжелая тень.

Блеснуло в тени стеклянное. Я подошел — там стоит пол-литровая банка, а в ней цветы, лиловые пупырышки.

Цветы стояли в воде и были свежими, сегодняшними. Значит, была заботливая рука, была причина ставить цветы. Я стал искать ее и нашел бугорок чистой земли: он прямоуголен и отмечен двумя воткнутыми щепками. Периметр холмика обсажен теми же цветами, без корешков, свежими, но со знаком близкой смерти.

Да это же могилка — маленькая, ласковая и страшная.

Я понял — здесь лежало чье-то горе, маленькое и объемистое, шире всего вокруг: поля, леса, реки... Потому что лучшее из этого — цветы! — приносилось сюда.

Что лежит здесь?.. Птица?.. Или плоское тельце домашнего зверька?.. Он умер и спрятан сюда.

Кто он?.. Щенок с хвостом веселого характера?.. Котенок, что играл с клубком ниток, влезал на занавески и веселил чью-то избу, огромную русскую избу, собравшую под одну крышу все хозяйственные сооружения?.. Веселил — и вдруг ушел куда-то, позабыв в избе свое маленькое тело. Оно лежало, плоское и холодное, и была в нем угроза. И взрослые велели унести его.

Конечно, те маленькие, что хоронили зверька, сильно верят, что надоест же ему в конце концов лежать под землей. Верят: он встанет и выйдет. Понюхав цветовые пупырышки, он поймет — его не забыли, ждут. И вернется обратно в избу.

Но маленькие еще не знают, что такое возвращение было бы страшнее самого ухода: оно смешает границы, и будет неясно, кто где находится.

...Ветлу обсели лишайники. На ощупь они мертвые. Но это мертвое живет, оно образовало растительные формы, оно окрасило их в акварельные тона.

В лишайнике мертвое притворяется живым, а живое похоже на мертвое. Но отчего мне хочется гладить руками их шершавины? Захотелось видеть свои руки и ноги, убранные этими чешуями?

Почему я хочу стать рядом и так стоять — без дыхания и движения? Пусть льет на меня дождь и осыпает снегом, пусть греет и студит: многое бы я понял тогда.

Все мы хороним, все копаем могилы, большие и маленькие. Спят в них дорогие косточки. Но пронзительнее всего смерть маленьких — в силу беззащитности их. И человек в его историческом движении станет большим, только взяв под защиту всех маленьких: детей, птиц, зверье, травы...

С берез вдруг рванулось огромное — черный летящий зверь! Он рассыпался в грачиную стаю и понесся вдоль деревни. Та — маленькая, и грачи пролетели ее вдоль, завернули, пролетели поперек и опять вдоль. Теперь они рассаживались по разным деревьям. Но это не простое усаживание на ночлег, не тяга к родному дереву.

Грачи, рассаживаясь, определяли человека. Они садились к тихим и добрым людям и кричали, кричали. Грачи как-то не могут жить без крика, и тихие люди это понимают лучше бойких, крикастых.

Стихло все — в деревне творится предночное. Солнце валится за сарай в виде красной лепешки, ходят крапивные облачка комаров, пылит стадо. Механизатор в поле, сразу за деревней, гоняет и гоняет свою машину, кладет ряды клевера, зеленых солдатиков в красных папахах. На антенны, выкрашенные солнцем в красный цвет, сели голуби и окровянились закатом. Они шевелятся, переступают, будто металл жжет им лапы.

Забыты милые деревенские нелепости. Вот прогнали коров, а никто не гадал по ним завтрашнюю погоду.

По улице мчат куда-то велосипедисты, старый и малый. Оба они в белых рубашках, оба в сандалиях из ремешков. На шее малого болтается и кричит транзистор в кожаном чехольчике. А по травам шпарит за велосипедистами пушистый серый кот. На бегу кот вякает что-то. Наверное, такое:

«Погодите, я с вами!..»

Сосны, что стоят над речкой, краснеют, а березы темнеют, и в гущине их кричит варакуш. Так старательно, будто состоит на приличном жалованье.

В деревенском доме всегда хорошо, в жару прохладно, а в холод тепло. И всегда в нем попахивает навозцем. Подозреваю, что этот легонький запашок выпускают — малыми порциями — стены, шепчут о совместной жизни с телятами и ягнятами в прежних, слава богу, навсегда ушедших временах.

Не спится, и я сижу записываю день. И тут ко мне является гость.

Лесная моль влетела в окно и села на бумагу. Кафтан ее серебрист, характер твердый. Она ходит по бумаге, мешает бежать по ней «вечному перу». Я стал сгонять ее, подталкивать к краю. Она возвращалась обратно. Ее тянула бумага. Чем? Белизной?

Или лесная моль знала, что лежащая на столе бумага была деревом, то есть домом, питанием и жизнью всех лесных молей и она имеет на нее право.

За березовой рощей всходила луна. Я пошел к ней нагулять сон. По мере моего прохождения луна менялась. В конце концов я увидел, что это большой костер. Он то желтел, то краснел, угасая, и его отсветы ездили вверх и вниз по березовым стволам.

Припомнив место, я сообразил, что костер разведен позади берез, на речных песках. Вспомнил — туда ехали два велосипедиста, туда бежал кот. Значит, он кричал: «Рыбки! Дайте рыбки!» И сейчас ждет ее, сидя у костра.

А вот горит еще костер... третий... четвертый... Десять багровых и колеблющихся лун всходили на речных берегах: и там, где рыбачат местные, и там, где поставлены палатки туристов...

А тишина... Конечно, я искал ее, но не такую же.

Днем еще туда-сюда, днем живет деревня. А вот ночью травы поднимаются, тишина густеет, деревья плывут в ней.

В такой деревне хорошо отдыхать: будто бы отскочил в сторону от всего на свете. Как от набегающего автомобиля. Но и что-то снулое есть в этой маленькой деревне. Ее жители в основном старухи, и ни одного деревенского младенца! Все, что привезены, все городские...

Неужели урбанисты правы и молодые люди уйдут в города?.. И работать на полях будут ученые машины, а деревни станут мертвыми?..

Не верю! Ну а если уйдут?.. Тогда ушедшие будут иметь все телесные удобства города, но и холмик в душе, обсаженный цветами, — родную и полумертвую деревню.

ДЕРЕВНЯ

Здесь все старухи — вдовы войны. Они на пенсии, живут хорошо, но отчего-то сердиты на мужчин и направлены на них какими-то невидимыми рогами.

— Как живете одни, без мужчин?.. — спрашиваю их.

— И хорошо, что их нет. Бездельники!

— Они бы работали, — говорю я.

— Много ты наработаешь!

— Свободно живем!

Свобода выражается тем, что они собираются и выпивают по рюмочке, закусывая пирогами, испеченными на поду. Выпив, поют песни, такие же старые, как избы и деревья. Потом ходят злые. Утром спросишь:

— Марь Антоновна, у вас есть творог?

— Зови меня Манечкой! — кричит она. — Не продам творогу!

И не продает: деньги ей не очень-то нужны. Все у нее есть, все у нее свое... В тот вечер старушки пели особенно долго. Я тоже. Выпил, конечно, а зря. И ночью мне приснился ученый, садящийся мне на грудь. Затем огромнейший бык пригвоздил меня к постели рогами.

Я пытался вздохнуть и не мог. Проснулся в поту и страхе и стал шарить, искать таблетки.

Эта ночь всем была тяжела: прошла сухая гроза, страшная и близкая. Мерещились сквозь сон разбиваемые в щепки крыши.

Из-за сухой грозы все и не выспались... Собиралась хозяйка по ягоды, чтобы снять их на рассвете перед чужими носами, и проспала свои ягоды. Решил петух Марь Антоновны петь, когда всходит звезда по названию Конопус, да проснулся только в пять утра. Он посердился, поговорил с собой, стряхнул тяжесть сна, кашлянул и закричал заспанным голосом: «Куре-у-у...»

Даже грачи проснулись поздно. Зашепелявили:

— Маммашша... Маммашмашшша...

Сон уходил, приподнимал вверх дом, тянул меня за собой.

— Маммашша... маммашшша... — выговаривали грачи на ближней ветле.

— Улечу... улечу... — шептал я.

...Рыбаки говорили, то была не сухая гроза, а просто летели ракетные самолеты.

Не собирался я долго жить в деревушке и не готовил себя к этому. Просто в городе мне явились три идеи.

Во-первых, мне захотелось припасть к родной земле. Еще казалось, что в тишине деревни я вымету из души мусор переживаний. Но главным, конечно, было желание примерить к себе жизнь дачника.

На это все я клал неделю, а потом домой! Я и денег взял с собой в обрез.

Но с первых минут я ощутил непреодолимое удовольствие от мягкого воздуха, от вида яблонь, которые нет нужды огораживать. Пришло желание быть здесь дольше, узнать лучше.

Конечно, деревня многим удивила меня, но и я по-

разил деревенских. Например, понять, зачем сюда надо было мне ехать из Сибири, они просто отказывались. Ну если бы в Москву, а то...

— И глуп же ты, соколик!.. — посмеивались старушки.

Глуп? А что, согласен, Догадку-то упустил... Но вот их глупыми не назовешь. Хотя я крайне осторожно расспрашивал о нивлянском быке, старушки все же разоблачили мой страх. Ум их не дремал. Мне сообщили тьму подробностей, как всем совхозом в Нивлянах отбивали несчастного уполномоченного. Чуть богу душу не отдал.

Так и шла жизнь — я боялся, а старухи посмеивались надо мной.

А вот здесь все жили смело, вели себя достойно: люди, птицы... Такой пример — на моих глазах маленький ястреб выхватил грача из стаи. Делать этого не стоило, он бы не справился и с одним, а тут была толпа: грача спасали родичи. Стаей они опустились с ястребком на поле, упали черной кучей. На другой день я нашел голову ястребка и оторванные мертвые лапы, державшие каждая по пучку грачиных перьев.

Не думаю, что грачи, разорвав, съели его. Просто убили, остальное сделали коты. Другое важно — ястребок, чувствуя себя неукротимым хищником, шел до конца.

Я же боялся иметь семью, оправдываясь тем, что должен отдать себя делу писания рассказов, струсил изобретения. Сейчас боюсь нивлянского быка, и это единственно разумная трусость.

Да нет же, не так я робок, не побоялся квартировать у тетки Кровянихи!..

...Старушка Марь Антоновна, оставив ведра, водила меня по домам, ища свободную комнату. Конец нашим странствиям пришел только у Кровянихи.

— У нее одной дом пустует, ее дачники боятся, — говорила старушка.

— Кто же она такая?

— Советская ведьма, — сказала та и вздохнула: — Ей-богу, все у ней по-другому. Остановится и с червяком говорит, агитирует. У всех жук-колорад, без конца обираем, а у ей с ним договор подписан, он ее картоху не трогает.

Старушка вела меня, смеясь моим неуверенным ногам, спотыкавшимся о все земляные морщинки: ее ноги знали их наизусть. Я думаю, если бы завязать ей глаза, то она ногами смогла бы узнать любое место, все травки, что когда-либо задевали лодыжки и скребли ей пятки.

— Но почему Кровяниха? — тревожился я.

— А в войну председателем была, нами командовала. Кричала: «Сделайте кровь из носу! Кровь из носу!»

Много говорила старушка... Кровяниха, по ее словам, была активная ведьма-травница. Она лечила всех и ничего не брала, ей партийная совесть не позволяла. Это нравилось.

Но результаты лечения Кровяниха записывала карандашом в клеенчатую черную тетрадку, и по деревне прошел слух, что она ставит опыты. Как на кошках. Это обидело.

Кроме того, куры у ней молодые и нет петуха — чужим пользуется! А еще заплатила, и механизаторы вырыли ей пруд в огороде («Бульдозером рыла, соколик!»). Теперь дожди наливают пруд, и носить воду из колодца не нужно.

К тому же Кровяниха имела странное обыкновение собирать навоз по всей деревне, росли ее овощи замечательно; свои, деревенские, брезговали есть у нее, а дачники покупали, и ничего им не делалось.

— Она!

Я увидел перед собой толстую и старую деревенскую даму.

На голове ее пестрый платок, завязанный кончиками вперед (будто рожки торчат), на босых ногах — кало-

ши, в глазах — усмешка, весьма ехидная. Но вокруг дома вертелись ласточки, а это мне понравилось.

— Что-то их много нынче у тебя? — подозрительно спросила Марь Антоновна.

— Пять гнезд, — отвечала Кровяниха и повернулась ко мне. — Что, сокол, негде остановиться?

— Негде, негде, — подтвердила Марь Антоновна. — Он из Дедовых, ты с ними крутила, когда...

— Тебя не спрашиваю, -- оборвала Кровяниха. — Ладно, живи!

— А какая цена, соседка? — забеспокоилась Марь Антоновна.

— Как все, и десять рублей в придачу, — сказала Кровяниха. — И ешь что хочешь в огороде.

— Да все еще зеленое! — вскричала старушка. — Что он тебе, бык?

— У тебя, — сказала Кровяниха. — У тебя все зеленое, даже под платком.

— А чем поливаешь гряды, умница?

— Чем хочу, тем и поливаю.

И, называя соколом, к тому же ясным, Кровяниха повела меня в комнату, указала лежанку. Спросила:

-- Белье постельное, поди, не привез? Ладно, получишь.

Она внесла потный графин воды и поставила его на стол. И предупредила, что я буду выполнять свою часть домашних работ: колоть дрова, носить воду. Картошку могу брать на «мосту», морковь — на грядках, лук тоже...

— Ложись-ка, соколик, устал, на тебе лица нет...

И тотчас, словно по ее приказу, я ощутил великую тяжесть в ногах. Прилег, вытянулся. Тюфяк захрустел подо мной, пустив крепкий запах сухой травы. Гм, кажется, полынь.

— Идея — набивать матрацы ароматическими травами, — бормотал я. Усталость закрывала мне глаза,

вынимала кости. Я вдруг увидел костер, покойного отца и себя, лежащего около, на охапке соломы. Вдаль уходили желтые стога: первый, второй... седьмой... тысяча первый... Я спал долго. В час дня — следующего — Кровяниха вошла и спросила:

— Умер, соколик?..

— Н-нет, — ответил я. — Счас встану.

Она ушла. А когда снова вернулась, я брел к столу, неся банку тушенки, кусок сыра и конфеты. Кровяниха приняла. Тушенку оставила для супа, крупно порезала сыр, конфеты высыпала в сахарницу. Принесла чайник.

— Ешь!

Весь день я был расслаблен и сидел на крыльце, наблюдал за Кровянихой.

— Ты бы погулял, соколик, — сказала она.

— Послушайте, нивлянский бык... — спросил я и прикусил язык, боясь сказать лишнее.

— Имеем такого, — отвечала Кровяниха. И вдруг так взглянула, что я даже похолодел. Ведьма! Видит меня насквозь! Что Кровяниха тотчас и подтвердила сказав: — У каждого свой бык в жизни, сокол ясный. Ладно, я пошла вертеться.

И завертелась. Варила обед на керосинке, что занимало часы. Пока она полола морковь — две гряды, — вода в кастрюле закипела. Очистив картошку и положив в кастрюлю, Кровяниха ушла в сад, подпирала шестами яблони. Вернулась точно к моменту, когда надо было класть капусту. Затем ходила и смотрела листики яблонь, снимала зеленых гусениц. Складывала их в коробочку. Набрав полную, велела:

— Поди в лес, соколик, высади. Да коробочку-то назад принеси, не забудь.

Я унес. Вернулся из леса, едва волоча ноги. А Кровяниха указывала на плетень.

— Видишь?

— Ага, плетень.

— Сокол ясный, плетень никуда не годится. Падает.

— Упал, — согласился я.

— И прохудился. Сруби-ка лозы, почини: щи как раз и поспеют.

— Где рубить-то?

— Иди к меленке, что у речки догнивает. Версты две.

— А ближе?

— Здесь мы все повырубили. Раньше и лозы, и воды, и шелесперов было много. И все ушло.

— Куда ушли шелесперы?

— Кто знает, соколик, они уходили, а мы за ними не шли. Может, мы их просто съели: народу-то сколько, и каждый себе берет. Сам ест, псу бросит!

Я взял веревку, тяжелый выщербленный топор... Вернулся нескоро. Бросил вязанку, а ко мне бредет Кровяниха, сладко улыбаясь. Глаза такие хитрющие!.. Да, да, она ведьма, а я Иванушка-дурачок и сейчас получу новое задание.

— Ты, соколик, пообедай да черпай воду в пруде, лей в канавки, — просила Кровяниха. — Тебе физкультура, а мне польза.

Поев и отдохнув, я стал черпать и лить. Вода так и покатилась к грядкам: канавки были проложены с расчетом, а огород выравнен.

— Что, и тебя ведьма запрягла? — крикнула Марь Антоновна, не смущаясь тем, что Кровяниха доила козу: свись-свись... свись-свись...

— Ду-ура, — прогудела Кровяниха из стайки.

Я бросал ведро в пруд и вытягивал за веревку. Руки устали, и все мне казалось плохим.

Речка обмелела, туристы прут из Москвы, свободно бегает нивлянский бык!.. Зачем, кому нужна эта малоудобная жизнь? Прятаться от городских неудач и страхов? Здесь они просто другие. Например, старухи боятся сглаза Кровянихи. Я — быка.

Бык то и дело приходил ночами и садился мне на грудь. От страшной тяжести я не мог ни вздохнуть, ни шевельнуться.

Э-эх, измениться бы, стать другим! Тогда не напугает меня нивлянский бык, а если я что-нибудь придумаю, то поверю себе. Но как? Что мне поможет? А вот что — формула жизни Кровянихи.

Да, приехать в деревушку стоило из-за одной Кровянихи, чтобы увидеть ее в хлопотах обыденности, неисчислимо трудных.

По-моему, Кровяниха, ведьма на пенсии, нашла алгоритм бытия. Овладев им, она предельно рационализировала свою жизнь. И не машинами, как сделал бы горожанин.

Нет! В ее огромном доме все по-деревенски несовершенно. Зато она управляла домом как общим механизмом. В него входили сама Кровяниха, ее коза, ласточки, ее куры, паучки, кошка. Все работали.

Ласточки радовали Кровяниху, паучки ели мух, кошки гоняли с грядок воробьев. Те же, гнездясь в трепаной крыше, сделанной из щепы, склевывали насекомых, а мухи опыляли цветки помидоров. (Кровяниха, приманивая мух, поливала помидоры ополосками мяса, покупаемого к обеду.)

Да, у нее были лучший огород и сад, рогатая и самая молочная коза, а в жизни — счет минутам и железная система.

Я, наблюдая первые жесты Кровянихи поутру, угадывал последние жесты вечером, когда она, шепча и загибая на руке пальцы, уходила в свою горенку спать.

Мне представляется, что каждый ее день был житейский танец, все фигуры и повороты которого были изобретены и выверены. В результате механизм хозяйства этой одинокой, хворой женщины вращался, как на шариковых подшипниках. По-моему, Кровяниха была гением домашнего труда.

Я наблюдал, следил, даже записывал, пытаясь уловить ее метод и применить его к своей лениво движущейся жизни.

Программ у Кровянихи я заметил три: День Бодрости, День Так Себе и День Хвори. Но даже прихварывая, попивая настойку корня-калгана, она что-нибудь делала хотя бы одной рукой (была у ней припасена и такая работа). И эти мелкие движения входили в планы дня, недели, месяца и, по-видимому, жизни.

— Я, соколик, последняя такая, — говорила она.

И это верно. Старая деревня — грусти или ликуй! — умрет со смертью Кровяних.

Это они, непрестанно шевеля руками, были ведьмами и отличными хозяйками, растили хлеб и овощи, кормили скот. А затем умирали достойно и молча, как сама деревня, теперь ненужная (молодые работники все перебрались на центральную усадьбу совхоза, в двухэтажные общие дома).

Мне жаль деревушку, Кровяниху, жаль Марь Антоновну, косящую траву, и ее корову, что пасется на единственной улице. Наверное, приятно есть траву. И в косьбе тоже заключено лечебное: редкостный врач направлял меня к ручному труду.

— ...Последние... — бормочет Кровяниха. Нет! Я приму ее опыт и куплю дачу. Там, подобно Кровянихе, я сделаюсь властелином нескольких плодовых деревьев, миллиарда травинок и сотен тысяч живущих на деревьях и в траве насекомых.

Но только не птиц, этих свободных, летучих существ.

РЫБАЧЬИ РАДОСТИ

Нашел рябину — узкую. Высоко она подбросила пригоршню листьев — зеленых перышек — и держит их на ветру.

Я полюбовался и срезал ее. Очищая длинное тельце

от мелких веточек, я ощутил пустоту в лесу. В лиственной толще, частью которой была эта рябина, теперь зияла черная дыра. По краям ее заголили девочки-березки тонкие ноги.

И там же лезло что-то присадистое, жирно-зеленое, с лешачьей спутанностью, с листьями величиной с тарелку. Оно вскрикнуло.

Звук прошел по лесу — свистящий и резкий...

Оно вскрикивало и вскрикивало. И чтобы только заткнуть зеленый кричащий рот, я поднял рябиновую макушечку, заострил и воткнул обратно.

И вот как удачно получилось — сразу же ударил крепкий дождь.

Я встал под ель, а дождь шагал и шагал на меня косо линованным туманом, а макушка рябины поднимала к нему горсть листьев.

Рыбачу. Так светло в воде, что видно — выплыла рыбина. Она рассмотрела болтавшуюся леску, черный шарик грузила, поплавок. Все поняв, ушла. Я тоже кое-что понял. Такое: в движении мир разбегается в стороны, в неподвижности, например при ловле рыбы, сужается до размеров поплавка и плывет вместе с ним по отражениям облаков, мимо кустов.

Стала брать рыба. Но клевала такая мелочь, что поплавок только дрожал, а момент самого клева был решительно непознаваем. И оказалось, что лучше пускать насадку ближе к поверхности и следить за ее белым пятнышком. Когда оно гаснет, тогда и надо тянуть...

Сначала шла рыба сирая, жалкая. Я пускал ее в воду — зачем обижать маленьких? Затем пришла рыба покрупнее и пошире, маленький лещ и взрослая верховка.

Ловлю я на сладкий оладий, сбереженный от зав-

трака. Мелкие рыбки безнаказанно сдергивают его рыхлую плоть. А вот у больших рот шире, они глотали кусок вместе с крючком и попадались.

В траве шебаршат пойманные мною рыбки... А время от времени вода бурно вскипает, пуская большие пузыри. Тогда каждый видит свою мечту.

Один рыбак тянет палец и кричит, что ходит голавль, другой отстаивает версию крупного леща. На самом деле бушует водяной газ, и оба знают это.

С уходом росы сильно поют кузнечики. Звон поднимается вверх и рисуется мне в виде прозрачного дребезжащего купола. Но там, где нет кузнечиков, в нем провалы и опускание до самой земли.

На всякой речке, большой или малой, есть места, где купаются, и места для рыбалки.

Там, где купаются, на пляжный песок лег голавль из солидных. На мертвой белизне его тела искрились синие мухи. Спина его прокушена одним сильным зубом.

Я смотрел и думал, кто здесь такой кусачий. И с другого берега мне крикнули, что в голавля стреляли из подводного ружья.

Я видел этих людей вчера. Они ходили по пояс в воде и совали головы в масках в укромные места. Они всовывали головы в воду, и из их дыхательных трубок с фырканьем взлетали струйки воды. Они приметили и ранили голавля.

Пропала красивая рыба, мечта удильщика.

Оказалось, что не нужны особенная леса, и секретные насадки, и прочие рыболовные тонкости. Нужно только надеть маску, всунуть голову в воду и стрельнуть, скрипнув пружиной подводного ружья.

Вечер. Пробивая румяную пленку, выплескиваются голавлики. Над водой отплясывают поденки. Они взлетают, загибая двойной хвост, и опускаются на хвосто-

вых волосинках, как на парашютах. Суть этого танца есть ритуал, передача родовых признаков во времени, затем брак и голодная смерть: поденки — существа без рта.

Вечерний дождь просыпал на воду стеклянные кружки. С берега в речку побежали глинистые микропотоки, и водоросли закачались. А на перекате кипели, вертясь, не то струи, не то алюминиевого цвета рыбки. Комары летают, а поденки спрятались.

Но кончился дождь, пахло сеном, дышали ромашки, из чащи елей выступали завитые, будто кудри, кресты. Здесь староверческое кладбище, лежат последние «сталоверы» деревушки, вымершие вместе с лесом, рекой, тальниками.

...В деревню я шел клеверным полем. Клевер и прочие травы росли высоко и густо. Среди красных шаров, пятен ромашек и усов разных злаков я едва передвигал ноги.

Приснилось — придя рыбачить, я воткнул в берег рогульку для удилища. Пока срезал ее и вгонял в берег, она вертелась в моих руках и говорила:

— Не делай мне щекотно.

И лезли-лезли из рогульки молодые веточки. Распуская листья, они вытягивались, становились ветками. И я вижу, что в берег воткнута рогулька, похожая — ветками — на оленью голову. Да это голова зверя вертится и глядит на меня!..

ШВЫРЬ В ГОЛОВЕ

Я и деревенской жизни радовался, и по городу тосковал. Вспоминал его тремя родами памяти.

Памятью желудка я вспоминал отличные городские еды. Ибо одно из преимуществ холостого безответственного положения была возможность по временам тратить

деньги в ресторане. Мой желудок с тоской и ворчанием вспоминал то петуха, тушенного в вине, то паровую стерлядку.

Второе — книги... Я не живу без них. Тоска по книгам была острая, я даже бегал по деревне, ища их. Но старушкам здесь не до чтения, они включены в круговорот рабочего года — весна, лето, осень. Отдыхая, смотрят телевизор.

Газеты я мог брать у тетки Кровянихи, но милые моему сердцу журналы о природе, космосе, о ракетах, о химии!.. Где вы?..

На грани сна, когда мозг слабел, город рвался в него с силой. Ворочаясь на хрустящем матрасике, я вспоминал... вспоминал... Являлась утраченная мною Догадка и кричала:

— Испугался, испугался!..

— Милый, — шептала подруга. — Потеряешь меня — пожалеешь...

— Хо-хо-хо!.. Я могла сделать так, чтобы ты не писал маленькие рассказы, а запускал огромные ракеты, — издевалась Догадка.

— Люблю дурачка, — шептала подруга.

— Пар-р-ровая стер-р-р-лядь, — урчал, вспоминая, желудок.

— ...Не спишь, соколик? — спрашивала из кухни Кровяниха, перед сном намечавшая завтрашний день. Забормотала: — Не забыть бы поговорить с агрономом о клевере, еще не сметан... На обед сделаю суп с крупой. — Громко: — Аль сварить борщок со свекольной ботвой?.. А?.. Молчишь? О городе скучаешь?..

— О нем.

— Плохо тебе здесь?

— Хорошо.

— Ты бори, бори скуку, делай что-нибудь. Вот, скажем...

И сообщала методы уничтожения скуки. Под ее го-

вор я засыпал. И опять будили меня щебет ласточек и те стуки, которыми сопровождалась утренняя деятельность Кровянихи.

Я вставал и выходил на крыльцо: солнце, зелень. И все ночное уходило прочь. Мне думалось, что редкостный врач глубоко прав, и мое решение купить дачу — мудрое.

Кровяниха сидела на крыльце. Перебирая какие-то травки, объясняла, как замечательно жить в городе и, например, плавать в ванне. Мечта!..

Уехала бы к дочери, но зять? А то чего бы лучше? Она уедет в город, ее дом станет дачей.

Здесь что за жизнь? Сплошные глупости! Вот судьба послала одному механизатору из Нивлян преданную жену. Где она накопила столько чувств?

Дурак, не ценил редкого счастья и связался с девчонкой, которую соплей перешибешь. Такую носит юбчонку — весь телевизор наружу! Дальше — лучше, появилась дачница, повадилась грибы собирать у поля.

Видели не раз — дурак приглушит трактор и в лес. А там ходит дачница, в сравнении с женой сущая рожа.

Свихнулся мужик! В городе это прошло бы малозаметно, а деревня, она увеличительное стекло. Микроскоп!

Что получилось?.. Погибла хорошая баба, повесилась.

Дура! В городе бы взяла развод. («Да, они здесь все идут до конца: ястребок, жена механизатора», — думалось мне.)

— ...В город надо ехать, в город, — твердила Кровяниха. — Надоела деревня, вся жизнь в работе, с малых лет и до семидесяти нынешних. Но ведь уеду — по дому затоскую.

О городе мечтали все старухи одинаково: и печь не

топить, и воду не носить, и магазины под боком. Словом, рай!.. Только в городе можно дать отдых старым косточкам.

А смерть, родное кладбище?.. Да не все ли равно, где тебя дети похоронят. Пусть сожгут, но пожить бы год-другой в свое удовольствие.

— Там ни реки, ни леса, — возражал я.

— Вот и хорошо, — говорили мне старухи. — Надоели.

— Я бы здесь жил.

— Это пройдет. Года ум-то знаешь куда вколачивают?

...А вот и не пройдет! На даче я стану жить умно, мне пример Кровяниха. Но сначала я введу тотальную рационализацию: поставлю бензиновый мотор — качать воду из реки. Стану беречь дрова (то есть деревья), устроив несколько простеньких солнцеприемников. Они мне будут греть воду.

Вот еще что сделаю — сожму огород и сад в размерах. Тогда я лучше обработаю их и получу столько же яблок и моркови. Зато оставшиеся места зарастут дикими травами, в них будет заповедник для насекомых, птиц, зверьков.

Подумал, и во мне проснулся зуд хозяина. Мне все хотелось переделать, даже у Кровянихи. Но та верит лишь в свои придумки. За ужином, едим мы вместе, потряхивая рожками платка, учила меня Кровяниха:

— Говорят, сокол ясный, голова всему хозяин. Я тебе скажу горькую правду: сам будь голове хозяином, не давай бродить мыслям по сторонам. Голове воли давать нельзя, все запутает. Словно котенок нитки. Порядок — вот главное в жизни. А какой порядок в том, что ты похолостому живешь? Года-то идут. Ну женишься в пятьдесят, а кто твоих детей поднимать будет?

— Государство.

— Мне семьдесят три, а я до сих пор государству прибыль даю, за порядком в совхозе наблюдаю. Потому что самое страшное — это когда беспорядок. Вот ты вещи пораскидал туда-сюда: швырь-швырь... В голове у тебя сидит этот самый «швырь», ты в ней приборки устраивай.

— Как это? — изумляюсь я.

Кровяниха, съев еще одно вареное яичко, вытерла рот.

— Ты ее утречком веником подмети, а все лишнее по ящикам спрячь. Перед сном все проверь, все посмотри. Но утром обязательно приборка...

Я кивал, слушая старуху. Близилась ночь, скрипели транзисторы дачников. Я вообразил, как спит, уткнув рогастую голову, нивлянский огромный бык, а дачница, озираясь, крадется к механизатору... Но о порядке Кровяниха говорит верно. Вот, скажем, мои дела — нет в них порядка никакого. Так наведу же его.

И перед сном я написал открыточку: «Здравствуйте, Антон Львович! Привет супруге, Гаю, кошкам...» И снова задал вопрос о даче. Ответ пришел быстро. Буквы неслись галопом, поперек линованной бумаги. Будто в атаку, взодрав над головой черточки-сабли.

«Николай Иваныч!

Приветствую ваше желание купить мою дачу. Не хотелось бы упрекать вас в затягивании, но думаю, что вы искали другую дачу и подобной не смогли найти.

Сначала перечислю ее достоинства. Рядом водохранилище, воду я качаю электрическим насосом. На случай стихийного бедствия в виде пьяного монтера у меня есть ручной насос, отлично развивающий мускулы груди и плеч.

Я имею десять соток под яблонями (сорок пять сортов, пять выведено мною). Смородина: три сорта черной, два — красной. Из красной смородины мы варим отличное варенье, из белой делаем вино, практически не-

отличимое от рислинга. Есть пять гряд виктории, пять кустов ирги для отвлечения воробьев от хороших ягод, из ирги получается прекрасная наливка. 10 соток земли под картофель. Я поставил в прошлом году очень высокий забор, и ребята не ломают деревьев, не рвут яблоки.Теперь мои строения: дом с террасой, летняя кухонька и баня с котлом (отопление от кухонной плиты). Словом, места хватит и вам, и будущей жене, и детям — человек не должен жить один, это совет.

Что еще могу сказать? Я был пенсионером, когда меня хватили два инфаркта и сюда меня привезли. Прошло 15 лет. За это время мной построен дом, заведена лодка с мотором (ее вы тоже получите). Рыбалки, уход за розами. Да, сначала были розы, только розы, а потом развел огород и сад. Я внедрил культурное садоводство в село, и теперь у многих растут яблоки. Но я старик, ослаб и потому продаю дачу. Себе оставлю флигелек на лето. Хорошо? Кроме того, я хочу провести кое-какие опыты с приручением южных растений в Сибири. Теперь жалею, что был инженером, а не садоводом. О цене. Я хочу получить только вложенные мною деньги (за сад — по оценке представителей общества садоводов), всего 5000 рублей. Эти деньги были заработаны неустанным трудом. Я думаю, вы не обижены тем, что я хочу получить их обратно. К тому же сад и огород станут, в свою очередь, экономить деньги вам. Мне семьдесят лет, я рассчитываю прожить еще пять-десять лет. Значит, вы сможете вносить по тысяче рублей в год, что необременительно. У меня есть другие соискатели, но хочу быть полезным вам: только вы позволите мне экспериментировать в саду».

Да, я решил купить дачу. Прикидывая так и сяк, я понял, что, пожалуй, выкручусь и с деньгами. Ну много ли мне надо, в конце концов? Старой одежды

мне хватит на пять лет, а если женюсь, то подруга поддержит меня. И друзья обещали помочь — первым взносом.

На даче я стану писать рассказы. Устав, буду собирать слизней, поливать и рыхлить гряды. Можно часто уезжать — из города путь удобен, автобус, паром через водохранилище. Вот, я вижу — приподнялся из воды правобережный бор, лохматый зверь, соскучившаяся по мне зеленая собака.

Она приподнимается, вода бежит назад, отливая тем блеском, что видишь на губах модной женщины.

Вот он, мой дом!.. Куплю!

Вдруг тихая деревушка утратила свой покой.

Шуму-то, шуму — Кровяниха изобрела! Чем обидела и старух и меня, неудачника. Помня о великой пользе лягушек, Кровяниха велела сбить щиты из старых досок. Их бросить на траву.

— Зачем?

— А чтобы было, где лягвам прятаться, — ответила гениальная Кровяниха.

— От загара? — спрашиваю я (последние дни жаркие, без крупинки дождя), еще не постигая силу и красоту замысла Кровянихи.

...По обыкновению та не ошиблась в расчетах, и деревенские лягушки, жившие где попало, ринулись к ней в огород. Дружно, будто созвонившись по телефону.

Их сотни... Скачут по грядкам лягушки величиной с ладонь, но есть и крохотные, будто кузнечики. И все ловят мух и жуков: огород Кровянихи чистехонек. Нет, не зря старухи ругают ее ведьмой: оскорбительно умна!

Вот стоит... Уперла руки в бока и слушает старух с явным удовольствием. Что ж, ее победа. Но я-то никого не победил. И так мне захотелось уйти поскорей и по-

дальше. Торопливо выбегая из калитки, я наскочил на тополь, обрубленный Кровянихой: чтобы не рос в провода.

Сто раз я проходил мимо обрубыша, а только сегодня увидел его глаза. Древесные, серые...

Выпавшие сучья образовали два печальных глаза. Ими дерево пожаловалось мне: вот, не дают расти... И подумалось, что мы забываем (я, во всяком случае) о том, что деревья живые: они родятся из семени, они живут, старятся, умирают. Что мы все берем у них: стволы, даже листья.

Был со мной такой случай: я вдруг заболел, и соседка дала мне березовые листики — заваривать их и пить. С тех пор береза лечит меня. Бросая живые листья в кипяток (лучше брать только что сорванные), я отнимаю их жизнь, чтобы взять ее себе. Но это несправедливо — только брать! В конце концов, все в мире держится на том, что берешь, отдавая свое другим.

Но чем, каким добром я могу ответить березе?.. Что дать? С привычно живым проще — человека благодаришь, собаку кормишь. А дерево, что дает мне воздух, покой?.. (В древние времена они загораживали Русь от жестоких завоевателей, то есть спасали и мою жизнь.)

Мои книги печатаются на размозженных телах деревьев.

Кроме березовых листьев, я лакомлюсь медом, терпко-сладким, собранным пчелами. Что доброго я сделал им?

Еще люблю видеть летящую желтую бабочку, после встречи с ней у меня всегда хороший день. Но что я дал бабочкам-крушинницам?..

Сколько здоровья и счастья дарят мне сообща лес, пчелы, бабочки. Я их неблагодарный должник... Предположим, дача... Я вообразил себя копающего, стригущего деревья, карающего вредных насекомых. Полезно здоровью, садоводы живут сто лет.

Сад и огород принесут и другую пользу: яблоки, морковь, картошку. Не надо будет их покупать. Гм, вдвойне полезно... Но если я хочу плюнуть на пользу «мне»?

Почему, в конце концов, все «мне» да «мне»: сад, деревья, птицы, морковка?..

ЗЕЛЕНЫЕ СОЛДАТЫ

Срезанные ветки задыхались в моих руках. Я положил их в осоку, комельками в воду. Прокислая вода приподняла, зашевелила их.

Шевелила она и зеленые ножи осоки, точа их один о другой. Звук этого точения ходил туда и сюда — жестким шелестом.

А ветки пили воду. На моих глазах их вялые листья твердели, кожица возвращала себе серую, с примесью бронзы окраску.

Напившись, ветки стали дышать и пахнуть. И на грязном берегу, истоптанном коровами и машинами, забрызганном ополосками белья, запахло тальником.

Я присел на корточки и смотрел на ветки.

Я принес их сюда, решив посадить в береговую грязь. И не решался садить — время дневное, меня могли увидеть за этим занятием. Странным...

Могли увидеть меня (и срезанные ветки) деревенские, полощущие белье, могли видеть туристы, идущие берегом.

Эти маленькие ветки я брал из густоты сберегшихся у мельницы тальниковых кустов. Их сажу потому, что речка становится голобережной.

Сажу! Первая, вторая, третья ветки... Четвертая, пятая, шестая...

Это же аксиома — речную воду берегут прибрежные кусты. Самые лучшие из них — тальники, широкие и плотные. Здесь же они частью поломаны, частью вырублены. А мелкая их поросль притоптана — человеческая

ступня идет по головам растений и губит их. Тропы ширятся, а леса и воды становится меньше.

...Сорок вторая, сорок третья, сорок четвертая...

Когда-то речка была чистая, а воды ее стояли высоко. Их охраняли деревья, подпирали мельничные плотины. Тогда на перекатах бил рыбью мелочь шелеспер, а лес втискивался в деревню. Теперь же узкие ленточки кустов не держат ни влагу, ни почву: дожди смывают голые берега. Только масса бывает силой. Потому моим кустикам надо стоять плотнее. Тогда они подопрут друг друга.

...Восемьдесят пятый, восемьдесят шестой, восемьдесят седьмой...

Ветки сотворят чудо. Они переделают корьевые клетки в белые сосочки корешков. А там, глядишь, окрепнут и будут солдатами в войне с разрушением берегов.

Так — я уеду отсюда, а в прибрежных травах будут стоять тальничата. С каждого в речку упадет несколько лишних капель воды, каждый уронит тень, каждый выдохнет облачко кислорода, когда пронзит его лист световой квант.

Это расчет — оставить по берегам тальниковых детишек. Я хитрый, я знаю свойство человека беречь и жалеть детей — человечьих, зеленых, птичьих... По веточкам не пройдут, их не срежут на костер или удилище. В конце концов, они еще малы.

Вдруг ударил дождь. Он быстро и крепко поколотил все. И поднялись запахи. С полей идет Главный запах, сытый, хлебный. На его крепком хребте, как на тракторе, ехали другие запахи — ила, травы, снулой рыбы, моих тальников...

Я смотрю на проходящих девиц, одетых в курточки, позволяющие любоваться их пупками; на бородачей спутников. Туристы!

Они приехали из Москвы: сгибались под тяжестью и сладко сопели под своими рюкзаками. Их башмаки стучали по тропинке, утрамбованной другими башмаками до каменной твердости... Прошли...

А теперь зажигают костры: дымные столбы выставились повсюду. Словно озирающиеся змеи, ставшие на хвосты, они подняли головы над деревьями.

Я не иду, не смотрю на ветки: мерещится неудача. В конце концов, приживление летом срезанных веток ненормально. Есть определенное время такого вроста — осень, — когда растение засыпает и ему все равно.

Или весна, когда оно проснется и бурно хочет расти. А сейчас?.. Заранее я так определяю результат: восемь десятых веток увяли, одна десятая еще не знает, что делать, штуки две или три пустили корни, потому что в них был избыток гормонов. Древесных. «Ты мысли научно, старик, время нормального роста черенка иное, — внушаю я себе. — Согласно заложенной в клетке информации».

Я пришел и возликовал: ветки принялись. Они стояли по побережью речного заливчика и зеленели. Все!

Я ликовал: растут мои кустики. Хотят расти — это ясно. Но радоваться еще рано.

«Тебе везет, — думалось мне. — Да и тальник — хваткая порода. Он похож на городских воробьев и тополя. Но ты вот что скажи: какие выводы ты можешь сделать из этих веточек?.. Где статистика? К тому же ты не знаешь толком, отчего здесь умирает лес. Только ли виноват человек? Нужны опыты...»

Я снова вырезаю из кустов сто веточек. Беру их из густот, чтобы оставшимся веткам было легче дышать. И сажу их потому, что речка пахнет кислым пивом. Потому, что обрывал зеленое с берегов далеких сибирских речек. Там я взял, здесь возвращаю.

...Первая, вторая, третья ветки... Кричит лягушка, с невысокого берега смотрит рыбак, толстый мужчина нулевого темперамента. Смотрит и молчит, и никаких тебе реакций.

...Двадцатая, двадцать первая ветки... Это же аксиома — воду мелких речек отлично сохранят тальники, а речки наполнят озера и большие реки. Вот наблюдение, отмеченное прессой: оголили берега восточного озера Ханки, и оно стало быстро мелеть. Вывод?..

Берегу нужны сильные кусты. Здесь же тальники, что еще растут, вялые, как магазинные овощи.

...Сорок вторая, сорок третья, сорок четвертая...

Мужчине надоело глядеть стоя, он садится. Я громко спрашиваю, не испытывает ли он желание помочь? Нет, не испытывает, ушел. Но даже спина его не высказала своего отношения ко мне, а была равнодушно необъятная, лениво шевелящая лопатками.

...Шестидесятая, шестьдесят первая ветки. Будущим кустам надо стоять общо, тогда они подопрут друг друга. Так пусть же мои тальничата будут загущены... восемьдесят пять, восемьдесят шесть... крепкими, бойкими, разбегающимися во все стороны.

...Начав, всегда увлекаешься... Я вырезал ветки ольховые, даже рябиновые и садил их. Притыкал к воде, чтобы в рыхлом и мокром вышли скорее корни. Мне хочется увидеть их, шевелящиеся и белые.

Я-1: Если бы все праздно шатающиеся у реки делали то же самое... Мы бы все потерянные леса вернули обратно. Что, если мне агитировать туристов?

Я-2: Опомнись! Ты не знаешь последствия своего поступка. Если люди тоже свихнутся и станут сажать кусты, то... места не хватит. Это делают иначе: надо ждать рекомендаций науки. Она — ты пойми! — должна рассчитать все связи. Ну, количество червяков на квадрат-

ный метр, слизней, микробов. Командовать природе опасно.

Я-1: Ждать, когда сосчитают бактерии? Не мешай!

...Я связал ветки в толстый пахучий пучок и унес их к прежним моим веткам. Стал садить их в промежутках, среди прочих зеленых огоньков, в мелкие лужицы, оставшиеся от последних дождей.

Сажая, я расщеплял ножом концы веток да вспоминал самолет и разговор тех, двоих.

Они говорили, что в США скоро будут выпиты девятьсот восемьдесят рек. Ну а мои посадки охранят воду в одной речке.

А если такое затеют все?.. Будет это колоссальным нарушением природного равновесия? Едва ли. Конечно, неплохо привлечь научные коллективы. Но мы обошлись без них, уничтожая леса. Так обойдусь и я, сажая эти таловые кустики: мне нужно оставить после себя тысячу деревьев, их задолжали мои предки, такие яростные к лесу (рубили, жгли его).

Посаженные ветки ольхи и рябины привяли, а тальнику хоть бы что: держится, зеленеет. Он нарушил требование обязательного весеннего пересаживания.

Так — сначала был один дождь, потом второй, третий... После него пришла дымка и легла на все. Она вобрала звуки и краски, приглушила очертания.

Сначала дымка мне казалась вредной, а влажность ее — с запахами трав, ягод и первых грибов — удушливой и преступной в этот вечер. Она смазывала очертания предметов, и это была кража. Но глаз привык к ее обволакивающей мягкости, и дымка стала нужной. Она, вобрав в себя мелочь, оставляла широкое. Все теперь было сближенным в массивные куски. А деревья стали одним деревом, но разбежавшимся повсюду.

Эврика!.. Смешение рас усилит моих зеленых солдатиков, гибрид сильнее родителей. Значит, нужны тальники другой семьи.

Я взял нож и пошел вниз по течению.

Здесь речка была свежее, а процесс оскудения медлительнее, как облысение заботливого к своей внешности старика. Причина: берег крут и неудобен для водопоя, рыбалок и устройства ночного лагеря. Вывод? Прежний: человек стал природным фактором, лес и река давно не живут сами по себе, а только вместе с нами.

Тальники же здесь отменные. Листья их плотнее, тела желтее, кусты стоят густыми патриархальными образованиями. Они и к жизни цепки: на галечнике зеленел вывернутый половодьем куст. Он соединился корнями с горсткой земли, тонкими коричневыми червяками сосал воду. Но рос до следующего половодья. А поблизости... Ого, кустище! С него и нарежу веток. ...В гуще куста меня кусали мухи. Но я резал и резал ветки, и нож мой постукивал, шуршали листья, и пахло так, что кружилась голова.

Я вырезал те ветки, что слишком густили кусты, и думал, что с годами ушла «мудрость» древних лет — хищная. И пришла к человеку новая мудрость. Когда-нибудь, поднатужась, она единой формулой охватит и речку и кусты — все реки и кусты на свете.

В чем она?.. Не знаю, нет, я знаю!.. Мы все твердили, что человек должен посадить одно дерево. Но это же старое!.. Новое громко кричит: надо спешить, надо спасти ручьи и мелкие речки. Что нужно каждому посадить тысячи деревьев!

Что мы боролись с природой, как во сне, бывает, борешься с самим собой. А борьба должна идти в себе — с глупостями, с нетерпением.

«Вернусь в Сибирь, — думал я. — Найду себе какую-нибудь обиженную, пересыхающую речку и обсажу ее всю».

НИВЛЯНСКИЙ БЫК

Хлеб кончился, и кофе, прихваченный из Москвы, тоже вышел. Мне скверно жить без кофе: и грудь тяжелеет, и сердце бьется медленно. А раз так, надо идти в Нивляны за хлебом и кофе. Тем более что способом передачи информации без проводов дошла весть: хлеб сегодня белый, есть мясо и привезли ящик растворимого кофе.

Его-то мне и нужно. Ну и сахар. А мясо я куплю хозяйке, так как сам, не рассчитывая здесь долго жить, обеднел и обхожусь пойманной на удочку рыбой.

— Иди, иди, сокол, — сказала Кровяниха. — Я что-то приболела ногами. Мясо дают? Значит, с быком встретишься. Ступай.

Я взял деньги, кошелку и побрел в Нивляны.

До луга, на котором пасли нивлянских коров, я шел бодро. Но блеснули огоньки на коровьих рогах, и я нырнул в лес. Так себе лес, березнячок пополам с осиной, но уходил он вправо от Нивлян, и далеко уходил: пришел я в магазин к шапочному разбору. Досталась мне одна суповая кость, а хлеба — пять штук мятых батонов.

Но банку кофе я взял и сахар тоже. Хотя и разбирали его хозяйки на варенье — в наволочки от подушек. С покупками я вышел на крыльцо и остановился, вдруг уйдя в ту странную, тупую задумчивость, что набегает иногда. Пробивались ко мне через ее ватный слой только неясные голоса, твердившие одно и то же:

— Пык... Пык...

И снова:

— Пык... Пык...

И вдруг я понял: идет Нивлянский бык! Сюда!

Он вообразился мне весь — зверь в тонну весом, подходивший со спины, целившийся в нее рогом. Я даже шаги его услышал — ух и тяжелы! — и рога почувство-

вал спиной. От их концов, будто в самолетные вентиляционные дырочки, подуло на меня ледяным, зимним холодом.

Бык?.. Нет, это смерть: никто мне не поможет, никто не спасет. Я зажмурился. И получилось, как бывает в страшном сне, — я не мог ни двинуться, ни вскрикнуть, ни позвать.

— Дорогу Нивлянскому быку! — крикнули мне в ухо и толкнули. Я открыл глаза: по ступеням магазинного крыльца тяжело, вразвалку, поднималась низкая, широкая женщина в плаще, в заляпанных сапогах. Полыхала рыжим волосом. Она взглянула на меня, презрительно дернула плечом и прошла в магазин.

Мужики, сидевшие около своих мотоциклов, переговаривались. Смешки и слова перелетали от одного к другому.

— Бык... бык... Нивлянский бык...

Бык? Нет его... И как часто бывает при испуге, слабость охватила меня. Я сел на крыльцо... Сидел долго. Подошла ко мне черная собака и, сладко жмурясь, лизала кость. Теленок взял из сумки и задумчиво сжевал батон.

Нивлянский бык... Где он?..

Я старался понять и не мог. Тогда спросил. И мужики долго хохотали, так долго, что рыжая женщина, некий кусок отличного мяса, ушла и пыль от ее сапог улеглась.

Мужики не спешили. Они ждали грузовичок, что привезет водку и другие вина, и могли смеяться и говорить со мной вдумчиво и не торопясь. Я тоже не торопился, такими слабыми были мои ноги.

Что же оказалось! Нивлянским быком звали эту рыжую женщину, искусственно осеменявшую коров.

Очень полезная женщина, зоотехник...

— А бык? — тупо спросил я. И снова хохот, и разъяснение, что быка при стаде не держат лет пять, невы-

годно. К тому же последний был сущий поджигатель войны. И вместо быка теперь у них рыжая баба.

Значит, врали мне лукавые старушки. Резвились?.. Давали урок?!. Ну ладно же.

Я дождался грузовика и купил бутылку водки. Выпил половину, заткнул скомканной бумажкой и пошел к пасущемуся стаду.

Я прошел сквозь него, мимо спящего долговязого пастуха и его недремлющей собаки овчарки. Та обегала стадо, сгоняла коров, следила за ними.

Собственно, это она зарабатывала триста рублей в месяц. Но собакам не платят, и был нужен пастух, чтобы расписаться в ведомости. Вон, храпит. Его начальник — бык... Так ему и надо!

Собака подбежала и умно смотрела на меня. (Коровы тоже смотрели, выпячивая большие глаза.) Я поставил водку около пастуха и ушел.

С выпитой водки мне было и весело, и храбро, и оскорбительно... Боялся, а чего? Это надо же, бояться тонну говядины, к тому же отсутствующую!

Я пришел в деревню и показал «рога» старухам. А затем стало худо моему сердцу, очень худо. Но я уже ничего не боялся, даже хвори. Ни-че-го!.. Я ощущал себя слабым, разбитым, но свободным от всех страхов на свете.

Конечно, я угадывал, что еще испугаюсь не раз. Да и нельзя жить без некоторого количества страха, попадешь под автомобиль. Но если догадка, то давайте ее сюда!..

Я свободен, все дороги открыты мне. И если я что-нибудь еще изобрету, то поверю себе. А я обязательно изобрету. Но что? А, будет видно...

Все мы хотим стоять особо. Но так не бывает. Наоборот, повсюду проступает общее. Если я сейчас пишу, то потому, что учился у других; если жив, то ведь люди меня спасали.

А если точнехонько сосчитать все электроны, что вертятся в твоей клетке, взятой хотя бы с ногтя, то будет модель вселенной.

Какое уж тут одиночество и отрезанность, когда видишь такую общность!

Но так же, как с гаснущими звездами, может случиться и с человеческой жизнью: она начинает затухать. И если не борешься, а злишься на мир, как будто равнодушный к тебе, то станешь Черной Дырой. Через нее же, говорят ученые, все проваливается в тартарары.

Если же ты напряжен, то непременно найдешь добрых людей, а в себе материал для новой вспышки и жизни дальше. Важно только не пугаться.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Теперь я точно знаю — изобрести можно только в смятении и недовольстве. Сытодовольный человек редко изобретает что-нибудь иное, кроме закуски, новой дачи, мебели.

Вот и сейчас я в смятении. Ладно, с быком я расправился, но как жить дальше? Покупать дачу или не покупать?.. Занимать деньги или не занимать?.. Фу-у, тяжко!

И вдруг я изобрел...

Получилось так. Решая жизнь, я брел лугом, чистым и каким-то уж слишком даже ясным. Это показалось мне неприличным, злило: как он смеет быть ясным, когда во мне все спутано!..

Но абсолютно чистых лугов не бывает, всегда на них растут кусты. Я и уткнулся в такие кусты, березовые, хворые. Это примирило меня с лугом.

В первом кусте было осиное гнездо в желтой бумажке, второй, привядший, явно объеден козой тетки Кроке, второй, привядший, явно объеден козой тетки Кро-вянихи. И как-то автоматически я вынул карманный но-

жик и стал отрезать сохлые веточки, те, что в желтых точках. Почему?..

Прекрасен луг, но станет еще лучше, если убрать эти мертвые точечки.

...В каждое изобретение обязательно входит случайность. Ведь не нарочно же в моем кармане оказалась ленточка пластыря. Вчера я порезал палец, заклеил, а катушку пластыря сунул в карман совершенно автоматически. Но теперь вспомнил и вынул.

Им я заклеивал порезы на веточках (возможно, не было в этом случайного, а я давно готовился к такому моменту).

Приспособив кустик березы к данному месту, я пошел к другому кустику. Так, бродя среди кустов, я резал и клеил, резал и клеил. И как-то само собой забылось, что нет у меня денег и едва ли мне дадут их взаймы. Скорее всего не дадут.

И это даже показалось удобным.

Ну зачем мне дача за пять тысяч — с ее яблонями, с заборами и мальчишками, которые высматривают яблоки? К чему? Когда есть лес, а в нем хворые березы.

В конце концов, мне прописана работа на воздухе, среди деревьев, а не поедание яблок. Вот и отлично! Я буду ходить и лечить деревья, возмещая вред своих бойких предков.

Я спустился к ручью и напился ключевой воды. Посидел, послушал бегущую воду и снова стал ремонтировать кусты: ходить, резать, клеить. Но кончилась катушка, а ножик мой притупился. Тогда я лег в траву и стал глядеть вверх.

И как бывает, когда лежишь в траве, а смотришь в голубое спокойное небо, я вдруг заснул и проснулся так быстро, что облако, шедшее от макушки осины, подошло лишь к соседней двойной березе. Но я был свеж и ясен, с вполне определившейся догадкой, что этот лес — все леса России — моя дача, все деревья мои и птиц,

зверей, насекомых, что живут в корнях, ветках и дуплах.

Здорово получается! Стоит выбросить слово «мое», и нет нужды воевать с мальчишками за яблоки, незачем просить деньги взаймы — ведь моя дача повсюду.

Замечательная догадка! И какая простая! Но шел я к ней трудно, медленно, долго, словно водяной жук в ледяной пыли. Но таки пришел!

Я засмеялся и смеялся так долго, что даже заплакал от невыразимого счастья расширения своего «я», в мгновение догадки вдруг коснувшегося всех лесов на свете. И этим мои тревоги кончились, в это мгновение я увидел свою жизнь на много лет вперед.

Видел — в ней я весел и доволен, что бы со мной ни случилось. И мое счастье всегда со мной, лежит в кармане: нож, липкий пластырь, тюбик охры или цинковых белил. Иногда я несу с собой разборную лопату и тогда пересаживаю мелкие деревца, лечу и огромные, пломбируя их дупла смоляными пломбами.

И живу я легко, неудачи переношу весело, а все люди мне хороши. Если и ругаюсь, то лишь с теми, кто нагло портит деревья. Да и то больше учу их. Мои многомудрые друзья, конечно, посмеиваются надо мной, зовя чудаком, но я не обижен, нет.

...Так, словно жук среди машин, я приполз к берегу той реки, что вливается в общую человеческую жизнь, природу и даже вечность. Не в холодную, вселенскую, а в теплую, древесно-зверино-человеческую.

Дикий сад-лес стал моей Большой Догадкой. А та, первая, в радуге семи цветов, та была не моя. С чем бы это сравнить?..

Ну, все равно, когда твой красивый друг идет с яркой девушкой, а тебе подталкивают другую, рябенькую курочку... Но в этом подталкивании заключен большой смысл. Такой — надо искать и найти в рябенькой все красивое. Вот я и нашел, стою и гляжу на лес с жадностью садовода: он так обширен, мой дикий сад...



СВЕТ И ТЕНЬ



ОКРАИНА

Когда в город приходит серый день, сливая дома в вязкую массу, я задумываюсь. Надолго. И спрашиваю себя, почему я живу здесь, если душа моя бродит в лесу, среди деревьев и зверья?

И, не понимая, ищу себе оправдания, разбираю свою жизнь.

Откуда я? Где рожден?..

Одни знакомые мне люди упирают на благородство своего происхождения от крестьянского корня, другие превозносят все городское, дымное, пахнущее железом.

Я же ни два ни полтора.

Имея навыки землероба, я хорошо понимаю охотника. Если дома поломалось что-нибудь железное, то беру ящик, полный инструмента: молотков, сверл, гаечных ключей, напильников и прочего добра...

И — чиню.

Больше того, человек-станочник близок мне.

А все потому, что я происхожу из окраинного племени. Оно же особенное, в нем столкнулись разные слои: мятущиеся души, которым была ненавистна лю-

бая трудовая запряжка. Эти, добывая свой хлеб, охотились, рыбачили.

И крестьяне, приходя в город, ставили домик на окраине и начинали огородничать.

Рабочие тоже селились здесь — большинство заводов было поставлено на окоеме города.

Это перемешанное общество и сформировало нас, мальчишек. Да так, что до сих пор я несу клеймо: «Сделано окраиной». Мы, пацаны, и были настоящими окраинниками, в нас слилось все: крестьянское и рабочее, от лесных бродяг и от местных хулиганов.

Да, водилась в наших местах и эта городская темь. Она обосновалась у реки, называли этот микрорайон Нахаловкой. И если кто из горожан исчезал ночью, милиция искала там. И, случалось, обнаруживала шапку либо ботинок пропавшего.

С той поры я боюсь нечистую силу темноты и свято верую, что удар кулаком по роже мерзавца стоит трактата о духовной красоте.

...Росли мы, пацаны, окраинными язычниками. Хотя мама до сих пор хранит мой дешевенький крестик, но сам я верую в Землю-Мать и сохраняю к ней молитвенное отношение. Больше того, как все почти сибиряки, я охотник и поэтому верю, что Лес — мой второй отец.

Да, да, я, современный человек, верю в научный коммунизм. Но не исключаю, как все окраинники, существование ведьм.

Как могу исключить, если лично я вырос около одной из них?.. Ведь это меня в отместку за краденую морковь сглазила Полюшка Дурной глаз, а потом долго и безуспешно лечил врач. Поставил же на ноги Старый Черт, пропев надо мной старинный наговор.

Грозя почерневшим от земли пальцем, он велел хвори, лихой сестре, уйти обратно, на зеленое болото. Та и ушла — до лесных болот было рукой подать.

...В зарослях, у Дикой Лужи, проживал ближний ле-

ший. Но с тех пор как Толстопят, поехав стрелять уток, всыпал заряд дроби в зеленый лешачий зад, мы боялись ходить туда... И разве малютки-лесовички не бегали по тропинкам, не сметывали стожки сена для своих подземных коровок. Это они разбегались с тихим смехом, завидев пацанов, идущих в лес брать грибы или чернику.

Верили мы и в силу колдовства. Больше того, нам был известен способ стать колдуном. Простой: надо было провести ночь на кладбище. И ежели мертвяки отпускали тебя живым, ты уносил с собой дар колдовства. Всем было известно, что так унесли его с кладбища Полюшка Дурной глаз и Старый Черт. И пожалуйста, Полюшка была ведьмой и летала по воздуху, перегоняла тарахтевшие в небе У-2, но отставала от тупомордых «ишачков».

У другого в огороде все росло просто замечательно!

Самый башковитый из пацанов, Димка Горин, понимал выгоды колдовства. Можно было получать, не шевельнув пальцем, хорошие отметки, летать охотиться в те места, куда нет дороги, а дичи полно — словно комаров.

Но Димка не решился провести ночь на кладбище.

— Уговорить бы дядю Сидорова... — мечтал он. — Чтобы приказал: «Сделайте Горина колдуном!» Небось не открутятся.

Следует заметить, что ведьмы, колдуны, мертвяки, даже хулиганы — все боялись милиции. Если ночью по нашей улице шел на кладбище мертвяк с узлом за плечами и натыкался на участкового, хромого Сидорова, то убегал, бросив узел. В нем, если развернуть, чаще всего оказывалось сдернутое с чьей-то веревки сырое белье.

С тобой мертвяк мог сделать, что вздумает, однако младенца тронуть не смел: на окраине их просто обожали! И если какой-нибудь орал так, что даже у нас,

пацанов, трещали барабанные перепонки, взрослые, махнув рукой, говорили:

— А-а, пусть орет, коли ему так нравится...

...Кормили младенцев грудью по-деревенски, года два, а затем пересаживали на щи и кашу. И надо отметить, что дети вырастали отменного здоровья.

Одного меня родители растили научным методом. И что же? Еще пяти лет я не мог своими ногами вернуться из леса. Отец нес меня, посадив на плечо и придерживая рукой (в другой было ружье). Врачи — годами! — пичкали меня рыбьим жиром. В конце концов, я сам взялся за себя.

Много-много пришлось работать над собой, пока я научился одним махом вскакивать на высоченный забор тетки Семенихи и не маяться животом, слопав два-три десятка своровавнных у Толстопята огурцов.

...Да, много утекло воды с тех пор. Как и все, я учился, кое-что узнал о жизни из книг, от людей.

Теперь я знаю, что нет колдовства, чаще всего это ловко скрытое преступление.

Сейчас я летаю в командировки на ракетных самолетах в юные сибирские города, что выросли, не познавши окраин.

Теперь не старухи, а телевизор бормочет мне то добрые, то страшные новости по вечерам. Да и мою окраину сгребли бульдозерами, очищая место для многоэтажных домов.

Но я по-прежнему окраинный, по-прежнему верю в Землю-Мать и убежден, что Лес — мой второй отец. Какое может быть сомнение? Ведь он спас меня в годы войны от голода и холода.

...Когда-то, возясь в огороде с ботвистыми морковками и чернозадой редькой, выращивая картофель и любуясь на кружева укропа, я узнал то, что знают люди науки, — здесь перекатывается, ходит туда-сюда жизненная сила.

Но окраинные старики, хитрованы-огородники, толковали мне и о другом...

И я верю, верю им, что если изловчиться и умело встать в круг (земля — солнце — растение — зверь — вода), то можно добиться вечной жизни: побывать щавелем, порхать жуланом, уйти в землю куколкой насекомого, побегать в лесу рыкающим медведем. А если я смогу и буду бесконечно живым, то и окраина не умрет — в моей памяти будет жить всегда.

Согласен, сказка, ерунда... Тогда хочу верить, что моя окраина, изловчась, сама встанет в тот вечный круговорот мгновений, который называется человеческой памятью.

И я буду ее жителем...

УЛИЦА КРАСНЫХ ПЕТУХОВ

Димке жилось легко, моему отцу тоже — у них было по одному увлечению. Димка неторопливо и вдумчиво строил лыжи, на которых собирался ездить по воде, снегу, суше и, кажется, небу. Мой отец, раздобыв трухлую книжицу на барахолке, стал первым йогом города. Он пил носом воду и по утрам стоял на голове.

Улица же увлекалась красными петухами. Димка, отец, улица были счастливы. Все, кроме меня.

Вообще это была улица Кончаловского, но ее звали за драчливость жителей улицей петухов (потом название уточнили). Или говорили проще: «Улица, где чокнутые живут». Она образовалась сама собой и, плюя на протесты милиции, повисла на краю оврага.

Как могли селиться люди в запретном месте? Просто. Жить там разрешали при одном условии, если человек ставил дом за одну ночь, если и печку сложил и даже затопил ее, то живи!

Пройдет полгода-год, и райисполком прописывал в

городе дикого поселенца. Тот же, прикопив денег, начинал перестраивать дом.

И потому заселилась наша улица людьми боевыми, даже отчаянными. Они жили, плодили детей и мусор, им засыпая овраг. Прошло лет пять-шесть, и не стало оврага, а улицу назвали почетным именем Кончаловского и даже нанесли на план города. Затем повырастали тополя, улица стала красивой, и мой отец, художник, купил себе дом.

Здесь я и родился и вырос.

Еще крохой я бродил по нашей улице в одной рубашке, держась за хвост знакомой собаки (в другой был огромный, через всю буханку, бутерброд). Я ходил и улыбался. Но подрос и стал самым несчастным мальчиком на свете. Жизнь моя стала мучительной. Вот отчего: увлечения, без которых жизнь, как известно, горше смерти, ко мне приходили толпами. Пример?

Пока Димка придумывал свои лыжи, на уроках разрисовывал ими тетрадочные обложки, я бился с целой толпой увлечений.

Утром я строил гиперболоид инженера Гарина, днем охотился на воробьев и гипнотизировал маминых кур. Кажется, и хватит. Но было и в-четвертых, и в-пятых, и в-десятых, и все сразу.

Да, увлекающийся я был человек в девять лет, потому со всех фотографий тех лет я гляжу кисло.

А теперь я горжусь, что мог увлекаться — сразу! — гипнозом, Люськой Шароновой, поисками ключа от шкафа, в котором отец хранил черный порох и собрание сочинений Ги де Мопассана (они казались ему одинаково опасными). Что вместе с отцом я писал этюды с натуры, с Витькой Подгорским клизмами лечил от дурного характера его кота Василия. Да еще уроки! Но тогда жилось мне трудно.

Отцам же нашим, моему и Димкиному, в те времена жилось очень легко — у них было одно увлечение на

двоих. Вечером они спорили об Испании. Они громко орали, злобно глядели друг на друга и били кулаками по столу.

Сосед Кокин, человек с поразительно кривым носом, приходил слушать их. Кривя носом, он сидел, прихлебывая чай. Можно было считать, что и на него приходится доля шумного увлечения наших отцов.

Взрослые, они хитрые, им живется легко...

Димкин отец так увлекся стучанием кулаком, что не заметил первое испытание лыж Димки: тот перевернулся в воде, как поплавок, мы его едва откачали. Проморгал и второе испытание — полет с сарая вниз, закончившийся двумя выбитыми боковыми зубами. «Слава богу, не передних, — говорил Димка. — Отец бы страсть как обозлился».

...Отцы спорили, а Кокин слушал. Что было странно. Ведь спор — дело пустое, сотрясение воздуха, а деловой Кокин терпеть не мог ни пустых дел, ни пустых дней. Быть может, он ходил потому, что хотел понять, есть ли в спорах хоть какой-нибудь прок?

Не знаю, долго бы мой отец довольствовался третью увлечения, но однажды он ушел и вернулся очень поздно, красный и взъерошенный, как петух. Но молчаливый.

Отец Димки тоже переродился в тот день. Вернулся он вовремя, но тотчас заметил выбитые Димкины зубы, хотя они и не были передними. Он железным пальцем слесаря ощупал Димкины десны (я сам видел, своими глазами) и заорал на тетку Анну:

— Распустила!

Потом:

— Я вам покажу лыжи с крыльями!

Кричал он громко, но еще громче взревел Димка. Затем послышался треск, обломки лыж и без крыльев взлетели выше сарая. После чего ставни дома закрылись, и ни Димки, ни его братьев в тот вечер я больше

не видел. Когда к нам пришел Кокин с пламеневшим носом и попросил чаю, отец усмехнулся. Он сказал:

— Не станем сотрясать воздух без пользы, а займемся чем-нибудь сто̀ящим. Например, хатха-йогой, описанной господином Рамчаракой. Я давно купил эту книжицу, да все руки до нее не доходили.

Он мотал перед носом Кокина древней книжечкой, а тот водил туда-сюда длинным и неровно изогнутым носом.

— Это любопытная книга! — сказал отец. — Я отбрасываю ее идейную сущность, ты не забудь, отбрасываю, и беру только здоровую сердцевину, а именно, физические упражнения. Договорились? А ну, становись на голову, так велит сам Рамчарака.

— Не встану, — сказал Кокин, хватаясь руками за сиденье выгнутого легкого стула. Их называли венскими, а гнули в нашем городе.

— Сделай одолжение, — просил отец, человек вежливый. — Встань.

— Нет, — отвечал Кокин. Теперь его нос побелел (он краснел и бледнел только носом).

— Так я сам поставлю его на голову! — закричал, входя, Димкин отец. Но тут мама попросила Кокина больше не приходить.

— Значит, выгоняете? Ну-ну, так и запишем, — сказал Кокин и ушел, ничуть не испугавшись. Он вообще ничего не боялся, даже своей жены, хотя она была вдвое шире и вдвое сильнее его.

Потом наши с Димкой отцы долго шептались.

— Йога? Ладно, — вдруг сказал Димкин отец. — А я заведу петухов, таких, что улица лопнет от зависти.

Вот так я узнал, что им надоело иметь одно общее увлечение.

Теперь мой отец пил носом, а отец Димки растил семь петухов, красных рокайлендов. Где он их добыл, было неясно. До сих пор у всех были деревенские бое-

вые петухи или в лучшем случае белые леггорны. Быть может, найти рокайлендов ему помог Курощуп, знавший всех кур нашего города.

Теперь наша улица по праву могла зваться улицей петухов. Горинские петухи были чудовищно огромные и как огонь красные. На них приходили смотреть даже с других улиц, нашу же теперь стали звать улицей Красных Петухов.

Когда эти громадные птицы гуляли по дощатым тротуарам, далеко слышался стук их тяжелых лап. А вот драться они не могли, были тяжелы в подскоках. Мелкие петухи их били как хотели.

Чтобы все шло по справедливости, Димка с братьями ловили этих вертких, деревенской породы петухов и ставили их перед своими, тяжелыми. И тогда красный петух сбивал обыкновенного с ног одним клевком. Во!

Мой же отец, когда не писал картины, то стоял на голове или ходил в одних трусах и босиком. Шлепая по тротуарам, он говорил:

— Я пью солнце, я вдыхаю воздух. Все прекрасно! Мир прекрасен, разумен и удивителен! Мир создан для меня!

А за ним шли красные петухи, оказавшиеся до крайности любопытными птицами. Все-то им нужно знать! Бывало, вылазишь из огорода Старого Черта и видишь петухов, наблюдавших за тобой.

Отец твердил:

— Мир полон праны, я поглощаю прану!

— Ку-ку-реку-у-у! — басил красный петух.

Но тут высовывалась из окна тетя Поля и начинала ругать отца за трусы, и он уходил домой.

С Шароновой дела мои шли неважно. Это была несчастная любовь, так я решил сначала. Я мучился (на это отводил час послеобеденного времени). Страдал я с упоением, даже перестал воровать у мамы варенье. Но любое страдание требует мести.

Я подговорил Димку, и мы в сумерках выбили окно Шароновых. Отец ее, старикан лет сорока, с удивительной прытью гнался за мной целый квартал. Но разобраться в сумерках, что я есть я, он не смог, и все обошлось.

У Димки были точила из корунда, ими можно было сточить все на свете. Я нашел подходящее стекло и, плюя на него, тер. Димка же изобретал свои лыжи. Он приделывал к ним съемные поплавки, выстругивал их из сосновых брусков.

Димка водил рубанком, а из него с шипением выползали тонкие древесные змеи. Они свертывались в красивые стружки, вкусно пахли смолой.

Петухи, не зная, куда себя девать, приходили к нам в сарай. Они то клевали стружки, то, склоняя головы, боком, смотрели на нас.

Устав строгать, Димка командовал:

— А ну, включаем гипноз.

И мы хватали птицу. Затем Димка держал петуха, я же с немалым усилием пригибал его голову к земле.

Петух не давался, переступал тяжелыми лапами, даже икал. Гребень его был пупырчато-складчатый, красный и теплый. Еще у петуха были сережки и бородка, на ощупь приятная. Гребень же и жестковат и жирноват.

— Быстрей, я устал, — говорил Димка.

Тогда я рывком пригибал голову петуха и упирал клюв в землю. Затем брал гвоздь и проводил по земле жирную черту. Вел не дуром, а с расчетом, от клюва прямо — на равном расстоянии от глаз петуха.

И случалось чудо — петух замирал.

Он, красный, сильный, стоял, уткнув нос в землю. Я уверен, он мог бы так стоять сто лет подряд, если бы линия была ровная. Да что сто лет! Он мог стоять вечность, стать белым скелетом, затем горстью праха и не тронуться с места.

Но абсолютно ровную линию провести трудно, и потому петухи уходили. Не сразу, конечно.

Постояв минут десять, они поднимали головы и шумно стряхивали с себя незримую воду (теперь я думаю, что в гипнозе они ощущали течение реки Времени, в которую я макал их головы). Отряхнувшись, еще сонный, петух уходил, бормоча про себя петушиные ругательные слова.

— Ха! Ушел, — поддразнивал меня Димка.

— Он мог бы стоять сто лет, — упорствовал я, — если бы линейка...

— Ври!

И Димка вел рубанком. Он строгал с удовольствием — любил ручную работу. Он мог починить забор, выправить старые гвозди. Все поджиги на нашей улице смастерил он, кому за яблоко, а кому и просто так.

— Это я вру? — кричал я. — Сейчас же бери слова обратно.

— Вечером придет с работы отец.

— Ну и что?

— Не понимаешь? Раз вечером придет отец, как же петух сможет простоять сто лет?

И в самом деле, это невозможно: каждый вечер Димкин отец делает смотр петухам.

Но тут вышла Димкина мать и стала кричать, что я мучаю петухов, а Димка переводит хорошее дерево в стружки.

Выходило это у тетки Анны примерно так:

— ...Мать кормит... морковь рвешь не жрешь... дерево портишь... вот отец тебе задаст... хлеб не берешь... в стружки строгаешь ...домой не приносишь... все мать да мать... жить тебе с двадцатью детьми.

Но ведь это пророчество! Нет, так нельзя. Если хочешь, дерись: если невтерпеж, ругайся, но зачем пророчить?..

А это тетка Анна любила. Стоило нам пойти на ры-

балку, и следовало предсказание, что мы обязательно потонем.

Моя мама в тысячу раз лучше. Она не предсказывала, а просто давала нам хлеб, пироги, вареные яйца: на воздухе хорошо естся!

За вкусную еду Димка меня переносил на себе через ручьи: он ничего не желал брать задаром. Я, понятно, не желал переезжать, брыкался, но Димка был сильным. Он валил меня подножкой.

Тогда я лежал и не хотел вставать. Но Димка был хитрый, он или щекотал меня, или начинал щипать. Бывало, выкручивал мой палец, заставляя лезть к нему на плечи.

Ну, уж тогда я ему задавал! Я понукал его, я подпрыгивал, долбя Димку своим костлявым задом.

— Почему ты меня переносишь? — расспрашивал я оскорбленно. — Я что тебе, маленький?

— Не хочу должать перед теткой Натальей, — говорил Димка. Он часто и половину улова отдавал моей матери. Та брала. Если отец упрекал ее, она говорила, что рыба дана ей от чистого сердца.

Вот это мамка! А Димкина знай вопит. Мы бежим. Гремят спички, брошенные в чайник, а вслед по улице несется ее завывающий голос:

— Потонете, домой не возвращайте-е-есь...

Но всем известно, что утопленники не приходят сами, их привозят домой на телеге, накрыв чем-нибудь. За телегой идут люди.

Когда я жаловался матери на тетку Анну, она советовала мне воспитывать сразу шесть непослушных сыновей.

Но с Димкиным отцом я ладил, с его братьями тоже. Кроме старшего, дурака Гришки.

...Петух ушел, зато в сарай приходит Гришка. В одной его руке пращ, в другой — добыча: семь штук убитых воробьев. Теперь он их ощиплет и станет жарить на

стружках, а потом съест. Один! Такой это был одинокий волк.

— Как поживаешь? — спрашивает Гришка.

— Гиперболоид думаю построить, — отвечаю я. — Тебе глаз выжгу.

— Где ты шатался? — кричит из окна Димкина мать. — Где был? Почему не купил хлеба?

— И не куплю, посылай Димку! — вопит Гришка. — Он наше дерево переводит.

— Ваше! — завопил Димка. — Мне его дядя Иван подарил. Ва-ше-е-е!..

И началось — семейство было шумное.

— А жрать что будешь? — переводя дыхание, спрашивает мать.

— Воробьями стану питаться.

— Вы меня в гроб вгоните! — вдруг закричала Димкина мать. — Вы меня гоните, гоните, гоните! Я умру-умру-умру! (Опять пророчество, что с ней поделаешь.)

Старший требовал:

— Пошли Димку.

— Он не хочет идти.

— Ах, он не хочет...

Гришка кладет воробья, а Димка бросает рубанок и на улицу. Но старший брат ловит его. Вот привел, держа за ухо. Делать нечего, Димка идет за хлебом, а я с ним.

Обычно мы приносили сразу пять или шесть сытных ржаных буханок, которых Гориным (и петухам) хватало ровно на один день.

У калитки выстроились петухи, но Димка проходит мимо. Вот почему.

Вечером Димкин отец сядет на крыльцо и будет кормить петухов. Сам. А тетка Анна, высунувшись из окна, станет кричать:

— Горе мое, накупил петухов! Люди держат леггорнов, а яйца отдают детям. А ты? Взял петухов! Что, они

несутся? Может, их доят? Все многодетные держат коров.

— Замолчи, мать, — отвечал Димкин отец, кормя петухов. Ухмыляясь, он следил, как они рвут друг у друга хлеб и склевывают его большими кусками. Часто хлеб не шел в горло, птицы сглатывали его, хрипя, дергая головами.

— Дурак! — Тетка Анна захлопывала окно.

— А кто же еще, коли на тебе женился, — хладнокровно отвечал Димкин отец. Сам крошил хлеб, а петухи наступали на него. Огромные, с налитыми кровью гребешками, медлительные в движениях. Словно рабочие, занятые, как и Димкин отец, работой с металлическими отливками.

У него вон и руки черные, и вообще он металлический человек.

Соседки говорят Димкиной матери:

— Как ты с ним живешь, милая? Не человек — чугун.

— И шестерых ему родила...

— Идите вы к черту, соседки! — отвечала она.

...Покормив своих петухов, Димкин отец садится к окну читать толстые романы. Или красиво играет на гитаре и поет вполголоса, а тетка Анна подпевает ему. Их слушали все: петухи, дети, соседи...

В этот раз, когда я наелся соленой краюшкой и запил ее ковшом воды, братья Димки стали дразнить меня. Они уверяли, что с одним петухом я еще справлюсь, а всех мне не загипнотизировать силы не хватит. Что я выдохнусь, и упаду, и буду лежать на земле.

Я обиделся, кричал на них горячо и дико, обзывал, дразнил и наконец расплакался. Они твердили одно и то же. Так я вам докажу!

Я взял да и расставил всех петухов по двору.

Я ставил их у крыльца и у поленницы, под окнами и у сортира, почти всегда занятого. Всюду по двору теперь

стояли красные петухи. Я был мал, наивен и не подозревал братьев в коварстве.

Когда я устанавливал в позицию последнего петуха, то был потный, хоть выжми, а ноги мои дрожали.

Шел замечательный вечер, подсолнухи в огороде ловили остатки света, во всех дворах дымились летние печки, и по улице расползался дровяной, легкий, вкусным дым. И отовсюду неслись голоса: тетя Поля сзывала куриц, Старый Черт с криками ловил мальчишек в своем саду.

Ха! Теперь завопили пойманные мальчики, и я знал почему: он совал им крапиву в штаны, беря ее голыми руками. У него от работы с землей на руках образовалась подошвенная кожа, ее не берет крапива. Он даже лечит свой ревматизм крапивными компрессами.

Я, упершись в бока, залюбовался собственной работой. А братья глядели на меня из раскрытых окон.

А ну, кто там болтал, что я не смогу загипнотизировать всех петухов? Полюбуйтесь, стоят!

И от каждого петушиного носа бежала черта, и каждый не в силах оторвать взгляд от этой завораживающей черты. (Сейчас я частенько задумываюсь, сколько раз я стоял сам, завороженный проведенной кем-то чертой.) Затем, как требовательный к себе художник, я переставил двух петухов покрасивее. Когда, по совету Гришки, я ставил последнего петуха носом к калитке и поднял на стук ее щеколды голову, то увидел Димкиного отца.

Черный, огромный, с железным сундучком в руке, он смотрел на меня.

Черные головы братьев исчезли в окнах.

Димкин отец стоял скорее изумленный, чем гневный. Глаза его перебегали с одного петуха на другого. Вот они остановились на мне. Димкин отец не читал о гиперболоиде инженера Гарина, но глаза его жгли насквозь.

Я знал, он железный человек, бывший партизан, а его пальцы рабочего по металлу были не пальцы, а щипцы.

Скорей бежать! Я рванулся, я чуть не проскочил между его ног на улицу — огромным прыжком. Но он схватил меня на лету точным и, думаю, бессознательным движением. Держа меня на весу, он рассматривал петухов.

По-видимому, он что-то продумывал. Потом он понес меня к крыльцу. Там поставил сундучок, меня, сел на ступеньку.

— Не стану больше, пустите, — заныл я, но отец Димки вроде бы не слышал.

— Гришка, хлеба! — крикнул он.

Вышел мой враг и улыбнулся, выставив щербатые зубы. В руках у него была половина ржаной буханки (теперь в окно глядела и тетка Анна).

— Сыпь!

Гришка обошел всех петухов и каждому положил горсть мякиша. Тут я ощутил желание стать крохотной мышью, но Димкин отец и не смотрел на меня. Он разглядывал петухов, бурча: «понятно» и «обидно». При слове «обидно» я зажмурился, вообразил себе отцовский широкий ремень: обычно им отец правил бритву, но иногда «полировал» меня. Так и говорил: «А кого нужно сегодня отполировать?»

И шел за ремнем.

Обычно этот ремень (пояс отца, морского пехотинца, которых теперь красиво зовут десантниками) висел на стене около двери.

— Отпусти их, — велел мне Димкин отец, сам меня, однако, не пуская.

— Вы сами меня отпустите, — всхлипнул я.

— Ах да, — сказал Димкин отец. — Иди.

Я пошел и отпустил петухов. Перешевелил их всех, и они стали ощипывать, разглядывать хлеб. Вот клю-

нул одни, и крошки отлетели в стороны. К ним с забора ринулись воробьи.

— Ладно, — сказал мне Димкин отец. — Ладно, пошутил ты надо мной. Теперь катись, и чтоб я тебя больше не видел.

Я ушел. Теперь уже в своем сарае целыми днями я работал с гиперболоидом, а ходил ко мне Димка. Мы не говорили о красных петухах, а усердно работали — он строгал на отцовском верстаке, я же точил гиперболоид на бруске, который мне подарил Димка.

— Батя на тебя больше не злится, — как-то сказал мне Димка.

— Что говорит?

— Он не со мной, он с твоим отцом говорил.

— Обо мне?

— Не-а...

— О ком же? — Я бросил гиперболоид на землю.

— Кто такой Сократ?

— Ну, был один такой, — отвечал я. — Философ в Греции, в будущем году станем его проходить.

— Чем знаменит?

— Жил в бочке. Потом его отравили.

— За что?

— Говорил людям правду.

— А вот и нет, он разговаривал с Платоном. Врешь ты все про бочку, в ней жить холодно, печку не поставишь.

— Он жил в Греции.

— И там холодно. Так вот, этот Платон, не знаю его фамилии, сказал Сократу: «Человек — это животное на двух ногах и без перьев».

— Ну и что?

— А Сократ ему показал ощипанного петуха и заорал: «Платон! Накося выкуси, вот твой человек!» Об этом они говорили.

— Ну и что? — спросил я подозрительно.

— Батя велел, чтобы ты пришел и поставил ему петухов.

— Ври!

— Вот еще.

— Не пойду!

— Слабо?

Этого я выдержать не мог. В тот же вечер на крыльце сидели отцы, а мы с Димкой расставляли петухов.

Те стояли перед крыльцом, уставя носы в землю, а отцы наши спорили и стучали кулаками по крыльцу.

— Ты кто такой? — спрашивал Димкин отец.

— Я художник и беспартийный большевик.

— А еще?

— Йог по душевному влечению. А ты кто такой?

— Партизан и Советскую власть этими руками на ноги ставил!

А когда тетка Анна вышла послушать их, Димкин отец сказал ей:

— Петухов, мать, продай соседям и заводи леггорнов.

Я так понял наших отцов: им уже надоело иметь отдельные увлечения, они соображают, как обойтись одним на двоих.

...Тетка Анна позвала ужинать. Отец послал меня к маме, и я бегом принес сверток вкусной иваси. Мы ели жаренную на воде картошку — обычную вечернюю еду Димкиного семейства. Ели ложками, такая была рассыпчатая картошка.

Затем отец послал меня, и я принес банку варенья. Из нее все зачерпнули по столовой ложке, и банка стала пустой.

Мы пили отличный смородиновый чай. Все были веселы и довольны.

А чего им было не радоваться? Димка заканчивал свои лыжи, тетка Анна радовалась будущим леггорнам, отец хвалил йогу, считая ее полезной для нервов.

Все веселились, кроме меня: жизнь моя усложнялась.

Сегодня, проходя мимо, Шаронова вынула из-за щеки и сунула мне в руку ириску. Затем, вытерев нос рукой, пригласила на свидание к той куче бревен, что лежала в середине улицы и была видна всем. Я размышлял: идти мне или не ходить? Делать гиперболоид или бросить? Лечить кота, опять начавшего безобразничать? Стащить у отца ключ?

...Я был тогда очень несчастен.

ЗИМОЙ В СТУЖУ

Зимой дома холодно. Чтобы стало тепло, надо истопить печь. Хорошенько!

Печь можно топить дровами, но лучше каменным углем. Уголь нам давали по ордеру в так называемом тупике. Дрова приходилось добывать самим.

Попробовал Димка растапливать печь вольтовой дугой — и остался без света, пробки перегорели. Поди купи их — война!.. Он поставил «жучки», но пришел контролер Паша Кузякин и оштрафовал его.

И правильно сделал! Не умничай, разжигай уголь, как все, дровами. Вот только где их брать?

Дрова росли в лесу — он далеко.

Были они в нашем саду — тополя с зеленой корой, черные вязы, кустистые американские клены. Но еще осенью мы спилили и сожгли наш сад.

Дровами были заборы, наш и чужие. Доски их стояли, будто солдаты. И каждая смотрела на тебя своими деревянными глазами — пятнами сучков.

Мы жгли наш забор вдумчиво и расчетливо, чтобы его хватило до весны. А тогда я возьму ручную тележку, и поеду в лес, и наберу сушняка.

Или весной кончится война, и все станет хорошо:

хлеб без карточек, дров и угля хоть завались. А до весны забора хватит.

Уголь мы возили на санях: нам выписали ордер на целую тонну. Нанять машину мы не могли, да и взять сразу тонну хорошего угля трудно. Поэтому мы с мамой возили уголь по мешку.

Каждый взятый нами мешок вписывали в ордер, и так, пока мы не вывезем всю тонну.

Сани у нас хорошие: довоенная работа. Правда, их полозья стерлись, но Димка поставил новые, толстые. И под гору санки катились, приходилось за ними бежать. Мне-то даже приятно, а вот мама иногда падала и ушибалась.

...Однажды нам не удалось получить уголь. Мы уже взяли по ордеру два мешка удачного угля, загоравшегося от щепок. Но на этот раз вместо прежнего старичка, пахшего конопляным маслом и вареной картошкой, нас встретила толстая баба.

Увидев нас в окошко будочки, приделанной к весам, на которых вешали машины с углем, она поставила на стол чашку недопитого чая и вышла как есть, в одном платье и с голыми толстыми ногами. Пахла она хлебом и сахаром.

На улице было минус сорок, а от нее валил пар. Такая горячая!

Баба взяла ордер и рассмотрела его. И сказала, что уголь не даст. Она была редкостного, огромного роста.

— Угля для вас нет, — сказала баба страшного роста. — Берите кокс.

— Нам бы уголька... — попросила робко мама.

— Только кокс! Ты не бойся, он будет гореть, растопки только не жалей, вот и все... А не хочешь брать, иди и жалуйся.

И ушла допивать чай с хлебом и сахаром. А мы стояли и думали вслух, что на улице морозище в сорок пять градусов, что уголь дома кончился, а шли мы сюда два

часа, на ходу подскакивая от мороза. Подумали-подумали и взяли кокс, не догадываясь, к чему это поведет.

Решившись, покивали в окно — баба вышла, но теперь в валенках и тулупе. В руках ее была лопата, похожая на ковш. Она повела нас — сани заскрежетали полозьями по осколкам угля. Мама шла позади, поднимала их и прятала в карман.

Мы прошли вдоль куч недоступного угля: он нагло выставлял из снега аппетитные кусочки. Они блестели коричневым блеском: это был хороший уголь, его звали «сахарным».

Тут баба несколькими пинками разворотила кучу снега. И нам открылись серые комочки. Они походили на угольные огарки и на металл в то же время.

Такие легкие, спекшиеся комочки, если держать их в руках. На них варят сталь? Удивительно!

— Вот привезли, а никто не берет. Что делать с ним, не знаю, — сказала баба. — Гребите!

И дала мне лопату. После чего высморкалась: сначала из одной ноздри, потом из другой. И вытерла нос рукавом тулупа.

— А чему в нем гореть? — задумчиво спросила мама. — Он же пустой.

— А это уж не мое дело, — сказала угольная баба.

...Кокс оказался легким. Свешав мешок с санями на тех весах, где вешали машины с углем, баба сказала:

— Семьдесят килограммов.

А было меньше, я легко ворочал мешок.

— Ну-ка давай ордер, — велела она и вписала химическим карандашом, слюнявя его: «В щет оставшихся восмсот кг выдано семьдесят кг». И поставила крючок. А вот дед был добрее. Иногда он давал нам два мешка угля, а вписывал только один.

Это был хороший дед, потому и заболел.

— Гребите еще мешок! — велела нам баба. Мы, странное дело, подчинились: такая она была огромная

и страшная. И она вписала в наш ордер еще семьдесят килограммов.

От тупика дорога шла под гору, сани побежали. Хотя я тянул их одной рукой. Мама шла и глядела по сторонам, ища оброненные машинами угольные кусочки.

Я бежал с санями, держа нос рукой. Сквозь пар моего дыхания, садившегося на ресницы, видел на дороге трупики замерзших воробьев. Они лежали на спине, взъерошив перья, выставив клювы. Но понять, отчего они лежат здесь, я не мог. Может, они летали вдоль дороги, искали еду — конские яблоки — и падали.

Потом дорога пошла в гору, пришлось тянуть сани обеими руками. И нос мой тотчас же стал как пробка. Но подошла мама и тоже взялась.

Мы потянули сани мимо домов и заборов, годящихся на дрова. Те с немалым страхом глядели на меня кругляшками сучков.

...Отец встретил нас одетым в зимнее пальто. Сестренка была на печке. Она, завернувшись в одеяло, зубрила уроки.

— Уголь! Уголь! — сидя, стала прыгать она.

— Нет, это кокс, — сказала мама, развязав оледенелый платок. — Милые мои, говорят, его трудно растапливать, но другого нам не дали.

— Нет таких крепостей... — сказал отец и стал готовить растопку. Он собрал дрова и вдумчиво распределил их в топке, а поверх уложил кокс.

— Ну, — сказал он весело, — если он не загорится, можете меня повесить.

И что же? Дрова сгорели, а кокс лежал, как был, даже не зарумянился.

— Вешайте! — сказал отец.

Ох, и ругали же мы проклятую бабу. Небось по блату дает хороший уголь.

И родители — шепотом! — заговорили о таинствен-

ной силе по имени БЛАТ, о том, что он дает возможность человеку хитро властвовать над жизнью. Пока не придет милиционер.

Вошел Димка. Он рассмотрел кокс и посоветовал разжигать его электричеством.

— Конечно, лучше взять кузнечные мехи и дуть. Но с работы их не упрешь, тяжелые.

От вольтовой дуги отец отказался и сжег под коксом завтрашнюю порцию дров и послезавтрашнюю. А тот лежал по-прежнему, блестящий и легкий.

— Бомбой его! — сказал Димка.

— Пускайте в ход дугу, — велел отец, и мы с Димкой потянули провод. Но ничего не вышло, только сгорели пробки.

— Может, попробовать керосин? — задумчиво спросила мама. Но я оделся, чтобы пойти к забору и выломать еще пару досок.

— Бомбой его! — повторил Димка, отец которого на фронте летал на ночных бомбардировщиках У-2. Бомбы из них бросали вниз голыми руками. Поднимут и кинут — так рассказывал Димка.

Вообще-то забор было жалко. Я его знал, как родственный. Мы и так спилили сад, а теперь ломали забор, на котором я, можно сказать, вырос.

— Разгородимся, и все овощи летом потаскают, — вздохнула мама.

— А у меня зубы стучат от холода, — сердито сказал я и пошел, выломал две доски.

Он был красив, наш забор, ровный, серый, в снежных шапочках на каждой доске, с печатью сорочьих лап на каждой шапочке. Сороки и сейчас кое-где сидели, сердитые и угрюмые. Понятно, на нашей помойке мало чего найдешь.

А вот помойка соседки Неллы богатая, потому что она работала в магазине заведующей, и еды у нее вдоволь.

Нелла была ничего себе, красивая — остановит, возьмет за подбородок и говорит, дыша жареными котлетами:

— Хорошенький мальчик, тебя бы подкормить.

И я был влюблен не то в нее, не то в съеденные ею котлеты. Я часто думал о Нелле, засыпая.

Она была веселая женщина. Вечно у нее гуляли, пели песни и толкались мужчины в сапогах и галифе, военные от пяток до пояса и гражданские сверху, от барашковой шапки до толстого живота. Они все были завхозы и заведующие, и такая была их форма: галифе и сапоги, пока тепло, или белые, обшитые кожей бурки зимой, когда приходили холода.

...От двух досок кокс разгорелся и горел всю ночь. В синих языках пламени калилась печь. Тепло пролилось на нас. Мы разнежились, и мама уже добрым голосом сказала:

— Что же такое выходит: чтобы сжечь два мешка кокса, надо разломать весь город?

Хворый отец клевал носом, а я думал, что громадная тетка ничего себе, топливо нам дала хорошее. А на растопку и чужие заборы найдутся. Ни мать, ни отец не знают, что мы с Димкой давно грабим заборы тех, что побогаче, чьи мужчины не на войне, хотя и здоровы.

О, тогда я много знал о заборах. Что доски лучше всего красть в сильные морозы. Тогда дерево крепчало и даже каменело, но зато становилось хрупким. Ломалось оно легко.

У нас с Димкой все заборы были на учете. И не одни мы были умные. Однажды, таща домой вывернутую плаху, я встретил кучку соплячков лет так по десяти.

Возя соплями, они перли на себе чью-то калитку. Она мне показалась знакомой. Но у меня была тьма знакомых калиток. Лишь придя к дому, я увидел в зияющий провал наш лунный, снежный двор. Оказывается, соплячки сняли нашу калитку, теперь ищи-свищи.

Я побегал немного, но где их найдешь. Как узнаешь, на какой улице они кряхтят?

...Когда в одиннадцать часов я провожал Димку, у меня в кармане были клещи и отвертка. Димка озабоченно говорил, что не завидует мне, так как придется красть все заборы подряд. И хотя мороз склеивал ноздри, мы прошлись по улице.

Неслись песни из дома Неллы — там гуляли.

Днем я любил глядеть на ее дом, такой он был новенький и аккуратный, а бревна желтые и веселые. Забор, что выходил на улицу, тоже. По нему пробегала железная полоска, прибитая гвоздями, чтобы доски не украли: Нелла была умненькая.

Мы с Димкой близко подошли к этому обжелезенному забору. Стояли и слушали, как на крыльцо выходят гости и, прохлаждаясь, говорят друг с другом.

Вот ушли пьяные гости в дом и теперь поют хором, будто в трубы... Вот взвизгивают и топают, должно быть, лихо пляшут. Нелла хохочет, взвизгивает — веселая, счастливая.

Ну ладно же!

И не сговариваясь, мы с Димкой подошли к забору. Я вынул клещи и отдал их Димке. Сам работал отверткой.

Но дергать гвозди было трудно, а доски все такие молодые, что ломать даже в мороз их не было сил. Тогда мы вырвали в одном месте железную полоску. Скручивая, потихоньку отдирали ее вместе с гвоздями.

Гости пели, а мы снимали железную полоску, и мороз прожигал насквозь валенки, хотя я и натолкал в них изрядно старых газет. Зверь-мороз!.. Гости пели про огонек, о костре в тумане, про славное море. Мы, кряхтя, выдирали гвозди.

Наконец забор был подготовлен, как больной к операции. Откладывать ее нельзя — завтра Нелла все увидит и снова прибьет железную полоску.

Мы, присев в снег, чтобы соседи нас не увидели, грели руки, дыша на них. «Если хочешь познакомиться, выходи на бугорок, принеси буханку хлеба и картошки котелок...» — вдруг запели Неллины гости и засмеялись.

— Пора, — шепнул Димка. И мы стали снимать доски. Быстро. Смешно: вот только что был забор — и нет его. Доски мы унесли и зарыли в снег.

Зарывать их можно по-разному, умно и глупо. Глупо ворошить снег, умно — когда приставишь доску и вгонишь ее легким нажимом. Снег останется, как был.

Мы зарыли доски в Димкин огород, зарывали и в наш.

— ...Спозабыт, спозаброшен, — рыдали гости Неллы. — С молодых ранних лет я остался сиротою, счастья-доли мне не-е-ет!

И мы с Димкой удивлялись, отчего нет счастья сытым продавцам, и завхозам, и даже директору столовой Чмырю, тонкий голос которого прорезал остальные голоса...

Теперь дрова были. Сколько влезет!

Весь остальной уголь мы брали коксом, даже когда вышел на работу, проболев месяц, добрый маленький старичок. И плита наша за зиму прогорела, пришлось поставить новую.

Нелла же быстро сгородила себе новый забор и вроде бы даже не сердилась на нас. Только однажды она взяла меня за подбородок (я почувствовал ее ногти) и протянула задумчиво:

— А глаза такие чистые и ясные... Но должна же я что-то получить взамен!

И, пригнувшись, дохнув котлетами, поцеловала меня. Я рванулся — сильно! — а дома вымыл лицо серым вонючим мылом. И после все ждал чего-то. Но к Нелле пришел милиционер. Он увел ее, а дом заселили другие. Мама была права — летом соседские дети-сoплячки, пробираясь в дыры забора, крали нашу морковь.

ПЕСНЯ О КАШЕ

Давние-давние времена: лето, год сорок третий... Сводки с фронта хорошие, наши бьют фрицев. День тоже отличный, щедрый на тепло, даже знойкий...

И светятся тесовые крыши. Мох, что пробегает их пазами, горит зеленым огнем.

Мы с Димкой лежим на крыше. Нам горячо и сверху и снизу. Сверху жжет неистовое июньское солнце, снизу греет тесовая крыша. И в животе тепло: мы здорово пообедали. Сначала ели по талонам в столовой. На первое был суп, сваренный из разного чертополоха. Его привезли к столовой на двуколке.

Выпряженная лошадь стояла и ела тот же самый чертополох, фыркая и мотая головой от удовольствия.

На второе была перловая вкусная каша. С постным маслом! Оно горчило, и все говорили, что это масло из сурепки, которая по полям растет. Желтая такая и пахнет редькой.

Но каша вкусная.

Затем мы пили чай с сахарином, тем, что в тыщу раз слаще сахара! Но такая странность: пока шли домой, снова проголодались. Дома мама напарила саранок — целый чугун! — и мы их тоже слопали. Луковиц саранок я принес вчера из лесу целый рюкзак. Их можно есть от пуза. Мы и ели.

И вот, согретые сверху, снизу, изнутри, мы с Димкой лежим на крыше. Делать нам абсолютно нечего — у Димки выходной, а мне до школы еще далеко.

Может, сходить порыбачить? Но ветер юго-восточный, сегодня рыба не берет. И охотиться еще рано, птенцы не подросли.

Делать мне нечего. С утра я привез в огород двадцать бочек воды, выстоял в магазине наши хлебные

порции, поколол дрова. Теперь работа матери — она варит суп на летней печке.

Железная труба поднимается до крыши, и дымок пролетает мимо нас вместе с голосами отца и Павлова: они колдуют над американской смазкой, хотят превратить ее в съедобное масло.

Смазку — целый бочонок! — прислали в столярный цех Павлова, где было нечего смазывать. Он же поглядел в справочник и тотчас обнаружил, что она из кокосового масла. Он решил, что ее можно есть, надо только очистить. А затем раздать лучшим работникам.

Сейчас они вдумчиво рассуждают с отцом, как очистить смазочное масло, чем его переделывать? Водой? Огнем? Горячим паром?.. Вот пробуют огонь — на крышу лезет гарь и вонючий дым.

— Газовая атака, — ворчит Димка и поворачивается сытым пузом к солнцу. Молчим, говорить нам не хочется. Но и молча мы друзья.

— Пузо себе перегреешь, — говорю я Димке, а сам гляжу на улицу. Она красивая, в квадратах уличных огородов, темно-зеленая от картофельной ботвы.

У Старого Черта картошка уже цветет. Полюшка Дурной глаз пасет свою козу, водя ее на веревке. И, отвернувшись, пускает жевать ботву старочертовской картошки.

А вот по улице идет с тремя девушками фронтовой герой Квинкин, раненный в правую руку. Он вернулся месяц назад лечить руку. В ней фашистской пулей был убит нерв, теперь Квинкин выращивает его заново. Жалуется, что тот растет медленно. А нужно целых полметра!

Пока что он гуляет с девушками — всеми подряд. И уже Манька Квашина побила из-за него Зину-Тину. Они визжали, царапали друг друга, а Квинкин стоял, курил махорку и любовался. Сам в драку не лез: ему

нельзя психовать, надо поскорее выращивать нерв и ехать на фронт.

...Теперь по улице идет директор столовой Кэ Бэ Чмырь (он так всем и говорит: «Я Кэ Бэ Чмырь»), а на самом деле Константин Борисович. Он несет судки и шагает бодро, весело подпрыгивая с каждым своим шагом. Димка переворачивается и пристально смотрит на Чмыря.

— Весело идет, — говорит он. — Сытый! Что у него в кастрюльках?

— Перловая каша, — отвечаю я.

— Живе-ет, — тянет завистливый Димка. И вдруг у меня волосы встают на затылке. Это я начал придумывать песню. Я их ужас сколько придумал, и всегда вот так.

Конечно, можно просто взять чужую песню и добавить свое. Пример?.. Скажем, я беру песню «Мой костер в тумане светит». Если ее петь как есть, это всем надоевшая песня. Мозоли на языке натерла!

Подумаешь, «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету...». Зачем разводить костер в тумане? Кому он нужен? Да в тумане он не светит, а только моргает, чадит и наконец гаснет. Дурак сочинял! И еще — в туман ветра не бывает. Значит, нет искр, которые гаснут на лету.

Плохая песня! Но стоит добавить мои слова, и она становится лучше. Я продолжаю так: «...Ночью нас никто не встретит, я с моста тебя столкну». Почему с моста? А я и сам не знаю. Ну, шли-шли, поругались и спихнули друг друга с моста. Глупо? Ну и что? Все песни глупые, так говорит Димка.

...А директор подпрыгивает и подпрыгивает: легко его ногам, легко его сердцу. И вдруг я тихонько запеваю:

— Легко на сердце от каши перловой...

— Верно, — одобряет Димка и поворачивает-

ся. На лбу его морщинка, глаза зажмурены — он думает.

— А почему легко? — спрашивает он. — Да потому, что ты сыт. А если ты сыт, то не пропадешь. Как бы ты пропел? А?

Теперь уже задумываюсь я. А во мне стучит и стучит мотив песни, что так душевно и хрипло распевает по радио Леонид Утесов.

И вот я пою на мотив замечательно красивой песни Леонида Утесова:

— Легко на сердце от каши перловой...

— Она пропасть... — подтягивает Димка и останавливается. Меня же несет дальше. Будто на санках, когда выедешь на лед.

— Она пропасть не дает никогда-а-а... — ору я.

— Вот мы песню и сочинили, — говорит Димка и снова поворачивается пузом вверх: он доволен и дальше сочинять не собирается. А из меня прет.

— И любит кашу директор столовой... — воплю я.

— Правильно, — говорит Димка, щурясь на небо, что теперь горячее плиты. Оно прямо-таки пышет голубым жаром.

Кто еще любит перловую кашу? Подумаем... Я люблю, Димка любит, все любят. Но мотив тащит меня, будто дядька за воротник, когда втираешься в хлебную очередь:

— ...И любят кашу обжоры повара!

Я задыхаюсь и замолкаю. Гляжу. По крыше прыгают воробьи, к ним крадется кот, до ужаса тощий и облезлый. Димка целится и плюет на него. Попадает — кот пугается и спрыгивает с крыши. На улице теперь пусто, а директор, уже в майке и трусах красного цвета, ходит у себя во дворе: там у него строится новенький дом из желтых бревен.

Он сам его строит, по вечерам работая топором: он сильный, даром что пузатый. Днем к нему приходят

строить дом старики улицы Гоголя. Работают они за еду, не торопясь, чтобы съесть больше каши. И директор сердится и ругает, но кормит.

Вот жизнь: спел о каше, и захотелось есть. Димке, оказывается, тоже. Мы отковыриваем с досок вытопившуюся смолу и начинаем жевать ее. Она горькая. Но если жевать долго и чаще сплевывать, то горечь уходит и кажется, что ты здорово, до самых ушей, наелся.

Мы жуем и сплевываем, жуем и сплевываем. Директор стучит топором, и щепки отпрыгивают от бревна. Старички пилят бревно, возят туда-сюда пилой.

— Шевелись! — кричит на них директор. — Других найду!

И те начинают пилить бодрее.

Мы любуемся картиной: по улице снова идет Квинкин, теперь уже с четырьмя девушками. Они хихикают. И вдруг песня приходит ко мне сразу и вся! Я пою ее с самого начала и до конца, во всю глотку:

— Легко на сердце от каши перловой, она пропасть не дает никогда, и любит кашу директор столовой, и любят кашу обжоры повара!

Я перевожу дыхание и ору дальше:

— Она им строить дома помогает, она зовет и ведет их вперед. И тот, кто с кашей в кастрюльках шагает, тот никогда и нигде не пропадет.

Сочинил! Я сочинил песню! И в восторге я издаю дикий индейский вопль. А Димка глядит на меня с уважением.

Я знаю, он куда умнее меня. Он и рыбу поймает в том месте, где она не клюет, и зажигалку сделает и продаст ее на барахолке. А вот придумать песню не может.

— Слушай, ты поэт! — говорит он мне.

— Ха! Ты сейчас заметил?

— Здорово у тебя вышло. А ну пой, я поучусь.

— Давай сразу, вместе.

И мы в два голоса начинаем:

— Легко на сердце...

Димка поет, перевирая замечательный мотив. Но вот он схватил его. А Димкин голос зычный, как у динамика, что повешен на площади. И хриплый, как у целого хора Утесовых.

И вот моя новая песня разносится над крышами и улицей, гремит и раскатывается, бежит к центру города и возвращается эхом. Ее слушает директор, склонив голову набок. Он втыкает топор в бревно и уходит в дом. Затем выходит в галифе и зеленом френче.

Директор идет к нам. Я знаю: будет жаловаться отцу. Он это любит. Когда Димка разбил его парники половинками кирпичей, отец по жалобе директора выдрал меня ремнем, приговаривая:

— Не пакости втихую, не пакости втихую, не пакости...

Я ловил ремень обеими руками, вился, мама ломилась в запертую на крючок дверь (отец всегда выставляет ее, когда шлепает меня).

Отец мне всыплет... Я молчу, и поет один Димка. Он подошел к краю крыши и поет, направляя голос, как ружье, прямо в шагающего директора.

Чмырь вошел. Теперь в нашем доме слышен шумный и невнятный разговор. Я спрыгиваю с крыши и убегаю прочь, а Димка хохочет мне вслед.

Я прячусь в лопухах: они у нас здоровые, будто в тропиках. Мне виден наш дом, его окна, двери... Я вижу — выскакивает Чмырь, а мой отец идет за ним.

Здорово! Он держит директора за воротник и ведет его. Сам он тощий, а директор толстый и очень большой. Отцу не справиться, но Павлов шагает рядом и тоже держит Чмыря за воротник. Они ругаются, и на их крики тотчас собираются: Полюшка Дурной глаз, коза, Старый Черт с тяпкой, фронтовик Квинкин с пятью девушками. Поднялся крик о прячущихся в тылу.

Я подкрадываюсь и вижу сон: Квинкин хватает Чмы-

ря за шиворот здоровой левой рукой. Он прижимает вниз его голову и вдруг бьет коленом в зад. После чего все молча стоят, а Чмырь идет необычайно быстро. Идет к себе. Он входит в калитку, гремит ею, кричит на стариков:

— Вон! Пошли вон!

Старики, собрав инструмент в деревянные узкие ящики, берут их за ручки, уходят.

...Димка слез с крыши, отыскал меня и увел к себе. Мы сидели у него, говорили об охоте. Затем наелись вареной картошки и влезли на крышу. Димка сел на острый ее конек.

Вечер. Окна Чмыря закрыты ставнями. Мы смотрим на засыпающую улицу и с торжеством, с насмешкой поем нашу песню. Мы поем и поем, мы охрипли от пения. А в густых сумерках, когда загорелись звезды, очень довольный собой, я прихожу домой.

Я босиком крадусь и слышу, что Павлов говорит отцу:

— А если попробовать щелочь?

— Омылится, — отвечает отец. — Лучше бы взогнать на водяной бане.

— А что потом?

— Сейчас мы придумаем.

Я вхожу и сажусь за стол. За ним сидят и чертят на бумажке мой отец и Павлов, крупный, тощий, желтый старик. Он поднимает голову и подмигивает мне, а отец роется в справочнике, толстом и пыльном.

На столе, в тарелке, лежит порезанный ломтиками хлеб. Он белый, это пайка хворого на желудок Павлова. Я глазами ем белый хлеб.

Мама неслышно ходит по дому и готовит чай с сахарином. В блюде она ставит на стол вкусную, склизкую кашу из сараны.

Двадцать три часа, радио, последние известия!

Отец с Павловым тянут шеи, вслушиваются — два

старых друга, изобретатели еды из машинной смазки. Оба худые-худые, только отец немного посинее, а Павлов чуть-чуть пожелтее. Известия кончились.

— Вот что мы сделаем, — вдруг догадывается отец. — Мы ее заморозим и этим разделим на жиры, имеющие разные точки застывания.

— Ждать зиму! — ужасается Павлов.

— Зачем? Сунем в погреб, на лед. Да-да, я уверен, это и есть искомое решение, — подумав, говорит отец.

— На лед? Пожалуй...

Я сижу и ухмыляюсь, довольный своим отцом. Я знаю, что он может все придумать: ярко осветить комнату одной масляной плошкой, изобрести рыболовную сеть для мелких лесных речек, приготовить еду из корней лопухов и одуванчиков, сконструировать подлодку, чтобы бить фашистов на море.

Он даже знает, как готовят луковицы сараны, те, что я отыскиваю в лесу. Одного не умеет отец — добывать кашу большими кастрюлями и строить дом из желтых бревен.

Мне это нравится. «Буду расти таким же», — решаю я.

РАЙ В ШАЛАШЕ

Грому-то, грому на улице. Открылось, что Квинкин дважды женат. Не с печатью, а так — все видят, что женщина сушит на веревке мужское белье — рубахи и прочее. А сам мужик стоит на крыльце и дымит цигаркой. Значит, женат, даже если по временам исчезает и свертывает цигарку на своем крыльце. Как, скажем, Квинкин.

— Петух, — ехидно говорила Полюшка Дурной глаз.

— Как выкрутишься-то? — тревожились старые мужики, которым не то чтобы жениться, а даже на фронт

нельзя. — Катерина баба серьезная, и Евлампии в рот пальца не клади.

— Его посадят, — твердил Макар. — Статья есть для таких субчиков, я знаю. Инвалид! Ему пенсию дают, чтобы выздоравливал, а он!..

А сам Квинкин? Удивлялся больше всех — он таращился, раскидывал руки, шлепал толстыми губами.

— Да ведь как, мужики, — оправдывался он. — Им разве откажешь? Обе вдовые, обе с ребятами. Одну пожалеешь — другая в крик, а тут еще какая приклеится.

— Ну а если участковый придет? — спрашивали его. — Тебе же за двадцать, пора умнеть. Ду-умать надо, думать.

И Квинкин тотчас покорно задумывался. Потом говорил вздыхая:

— Все нерв проклятый. Вырастить бы его скорей, а там уйду на фронт, и решится мое дело без милиции.

— ...Он на фронт сбежать хочет, — шептала всем Полюшка. — Говорили дураку, ходи с девушками. Ан нет, с вдовами связался: хоть сыт, да побит.

Такую вот кашу заварил у нас на улице Квинкин. И кто мог ждать! Ведь ушел в армию губастый парень, все еще игравший с пацанами в бабки. Вернулся же в 42-м году — глаза прежние, рот тоже, но в плечах раздвинулся вдвое — ушел парень, а вернулся мужик.

Сначала он бодрился: сегодня обитал у одной вдовы, завтра — у другой и косился на третью. Но теперь, спасаясь от трудностей жизни, когда он на улице один молодой мужик, а вдов много, Квинкин сбегал к нам, мальчишкам.

С нами он ходил на рыбалку, даже играл в ножичек. Мы ценили это: ведь Квинкин был необыкновенной личностью — единственным вернувшимся фронтовиком. Пусть раненым, пусть в лечебный отпуск.

До него шли одни похоронки. До него всем каза-

лось, что пропадут мужики до единого, а теперь появилась надежда.

Сначала шло хорошо и гладко — мы ходили за ним кучей, слушали его рассказы. Но так было, пока Квинкин гулял с безопасными девушками — сначала с одной, потом с двумя, а там и с шестью разом: не было в нем твердого характера.

Тогда-то, почуяв в Квинкине слабину, за него и взялись молодые вдовы: Надька Славина, Катерина Шуст и Евлампия Седова. У них-то характера сколько угодно! Начались ссоры и драки. До сих пор эти женщины были примером: и детей растят, и огород, работают на оборону. Но теперь, раскидав девушек и нас, пацанов, они делили Квинкина.

Мы, пацаны, их не понимали. Дело ясное — они хотели слушать его. Но почему они не могли слушать рассказы Квинкина вместе с нами? Каждая брала его за руку и уводила к себе. Там обстирывала, чинила белье и, понятно, слушала его удивительные рассказы. Потом он сбегáл домой, но его хватала другая и тоже вела к себе.

Ах так! И мы, пацаны, не дураки, тоже установим на Квинкина очередь. Как за хлебом. И установили — теперь по очереди им владел один пацан, и только ему Квинкин рассказывал о своих подвигах. Пацан же в благодарность был обязан дать Квинкину махры или сводить на рыбалку, в самое клевое место.

Только мы продолжали между собой дружить, а вдовы этого не могли. Они то и дело дрались, а иногда налетали на Квинкина втроем — с криком и квохтанием, словно курицы.

Тогда он удирал к кому-нибудь из мальчишек, а чаще всего ко мне, потому что знал про тайный лаз в нашем заборе. Он царапался в окно. Его лицо, прижатое к стеклу, таращилось, губы расплющивались, белели.

— Надька и Лампа приходили, — сообщал Квин-

кин, вздрагивая и озираясь. — Окна мои били, Настю за косу выволакивали. Потом за меня взялись. Лампа схватила правую руку, Надька — левую ногу. Каждая тянет. Мамка в кладовку заперлась. «Вы меня разорвете! — кричу. — Ни одной не достанусь!» Нет, ревут и тянут, тянут и ревут. Кобель меня отбивал. Слава богу, догадался, порвал цепку и отбил. А сейчас избу ломают (и точно, слышался звон стекла и деревянный треск).

И я уводил Квинкина в шалаш, на свою речку.

Да, была у меня в то время во владении речка Коняга. Дело простое: все ближние водоемы у нас, мальчишек, были поделены. Лишь у пристани, а также и с плотов мог ловить рыбу каждый, но имел улов лишь хитрый Димка. Это были его места, хотя река принадлежала всем.

Но вот озерца, до краев налитые ручьями, кругло-маленькие, карасевые, были поделены: рыбы там хватало как раз одному серьезному рыбаку. Мне озерца не хватило, зато был изрядный кус речушки, узенькой, быстро текущей.

Речка была нескончаемая, словно нитка на катушке. В чем я убедился, охотясь с подхода на уток. Она пересекала лес, потом громадный луг и впадала в общую реку. Лесную часть занимал я, а на луговом отрезке набивали руку пузанчики. Ловили без крючка (поди купи его!), на связанного ниткой червяка.

Речка была моя еще и потому, что в ней водились лишь гольяны да бешеного нрава хариусы.

Гольян слишком мал, хариусы же рвут лески и уносят драгоценные крючки. Ловить их можно было только на лески, сплетенные из волос черного конского хвоста, — их хариусы не замечали и клевали. Но черный хвост имела единственная в нашей округе лошадь Зорька. Я потребовал, и мой отец нарисовал с карточки портрет ее хозяина, старшего Аверкина, что воевал около Ленинграда.

Нарисовал — и волосы из хвоста Зорьки драл я один.

Хариусы были хитры, я их ловил, спрятавшись за кустом и потихоньку выставляя удилище. И все же больше двух-трех поймать в одном месте было невозможно.

Около речки я и построил шалаш, покрыл его мелкими ветками. В шалаше пахло веником и было хорошо. Он спасал от дождя и меня, и бродивших в лесу ягодников, грибников, и, бывало, охотников. Шалаш был такой удобный, что я часто уходил сюда просто так, даже жил в нем.

И когда снова расплющился на стекле Квинкин, отец разбудил меня и сказал:

— Спасай человека, вдовы в атаку перешли.

А мама заворчала:

— Разбудил в такую рань. Жили без него, не тужили, всех баб перебулгачил.

...Было смутно, четыре утра. Вдовы, шептал Квинкин в форточку, примчались к нему домой. Он же рассказывал в это время военные истории Шароновой. Квинкин взял огонь на себя, отвлек вдов смелым маневром, а Катька тем временем залезла в подпол. Теперь вдовы дерутся между собой...

Я вышел босым, только надел отцовский пиджак.

Мы с Квинкиным прокрались огородами, по-пластунски одолели росное поле и вошли в лес мокрые до ушей, но счастливые. Квинкин смеялся и советовал мне:

— Слышь, оставайся пацаном, не вырастай. Честно говорю, хлопотно быть мужиком, а почему, не буду говорить, сам узнаешь.

Но меня разбирало другое любопытство: нынче я был его спасителем и гадал о том, что мне расскажет сегодня фронтовик Квинкин.

О, его рассказы... Он втолковывал, какой свирепый и упорный враг фашисты. Рассказывал, как нашли рояль в доме, откуда выбили фрицев. И хотя в дом бро-

сали гранаты, инструмент уцелел. Он лично играл на нем «чижик-пыжик», а вокруг стреляли.

— Ты же только на своих губах играешь, — возмутился Старый Черт, плюнул и ушел, ворча себе под нос.

А рассказы Квинкина о схватках врукопашную! Как он подбил танк из обыкновеннейшей винтовки, угодив пулей в ствол орудия. Фашисты перезаряжали орудие, открыли замок, а пуля Квинкина влетела и убила командира. Потом, скача рикошетом в танке, поубивала остальных фрицев. Квинкин взял машину в плен и был представлен к награде.

Да, да, генерал обещал ему орден.

Словом, Квинкина было не переслушать. Мы, пацаны, понимали вдов: те работали днем на заводе, потому слушали его рассказы ночью. Вот только неясно, отчего им не собираться вместе?

Это была Великая Женская Тайна. А мы знали от старых мужиков, что женщин понять нельзя.

— Шалаш у тебя знатный, — хвалил Квинкин, — здесь бы и жить.

Я стоял мокрый по пояс, но гордый похвалой. Я и сам доволен шалашом: место для него я выбрал над речкой, в поросли мелких сосен, с видом на широкий луг. Когда отец не кашлял, он приходил сюда с мольбертом и писал этюды для будущей своей картины «Сибирь».

— Хорошо в лесу, — вертел щипаной головой Квинкин. — Хорошо мне с вами, пацанами. Пропал бы я без вас, честное слово...

Он улыбался. Щеки его были исцарапаны, под правым глазом наливался синяк, левая рука подвязана полотенцем к шее. Но он улыбался во всю ширь своего необъятного рта. Такого большого, что не хватало зубов, чтобы стоять сплошь, и каждый из них вырос на расстоянии от другого.

— Птички летают (мелькнула кряковая утка), —

говорил он. — Рыбки плещут (хариусы остервенело били мух). Благодать. А тебе чего надо, малый? (Бурундук пришел смотреть на нас.)

Зверек взглядывал глазами-точками, и Квинкин нарочно окаменел в своей гимнастерке. Он таки обманул — зверек забегал по его плечам. И на испорченном вдовьими ногтями, круглом и добром лице Квинкина блуждало удовольствие.

Квинкин не выдержал, шевельнулся, и бурундук исчез в росной зелени леса.

— Хорошо здесь, — говорил Квинкин и тревожился. — А бабы нас не найдут?

— Они нехорошие, — твердо сказал я.

— Ты не прав, — возражал Квинкин. — Их жалеть надо. Живется-то им как? А?

— Ты лучше расскажи что-нибудь.

— Слышь, — сказал Квинкин. — Домой я сегодня идти боюсь, а жрать хочется. Ты бы угостил меня рыбкой?

Ну это запросто, леска у меня всегда в кармане и ножик с собой. Я тотчас вырезал рябиновое удилище, оставив на нем (мой секрет) листики. Привязал леску. Подползая к речке на брюхе, я быстро и удачно поймал четырех хариусов, граммов этак по двести-триста каждый. Их, обмазав глиной, мы с Квинкиным испекли в костре и слопали.

Без соли.

Квинкин облизывал пальцы и говорил:

— Вот это жратва! От такой классной еды нерв растет. Мне такую рыбу есть надо, а то все картошка да картошка.

Он причмокнул — вкусно!

— А теперь давай расскажи что-нибудь, — попросил я и сел поудобнее, приготовился. И я угадывал его потрясный рассказ о том, как он, швырнув в танк котелок с горячей кашей, попал в смотровую щель. После чего

ослепший танк боком влез в снарядную воронку и перевернулся.

Да чего там!.. Я сам был готов рассказывать все истории Квинкина, выговорить их лесу, туману, дроздам, трясогузке, пробегавшей по узенькой полоске грязцы, что окаймляла ручей.

— Гля, — сказал Квинкин, уставившись на трясогузку, — аккуратная дамочка, идет весело... Сейчас я тебе, паря, скажу, как меня ранили.

Этого он еще никому не рассказывал. Я даже окаменел, а глаза мои стали как линзы в отцовском «Фотокоре»: ведь я должен был не только услышать, но запомнить и передать рассказ отцу, маме, сестренке, мальчишкам. Даже вдовам, ежели они хорошенько попросят меня.

И Квинкин заговорил, но каким-то чужим голосом. Словно старик лет тридцати пяти — сорока. Даже круглое его лицо обвисло и постарело, а плечи сжались, как у отцовского пиджака на вешалке.

— Там была птичка, — сообщил мне Квинкин, глядя на трясогузку. И, вспоминая, замолчал. Я решил, что рассказ Квинкина будет бесконечен. Во, повезло!

— А дальше? — спросил я минут через пятнадцать.

— Там была трясогузка, — сказал он.

— А еще...

— Странно, — сказал Квинкин, помолчав. — Память, что ли, мне фашист отшиб? Значит, он пер, а мы отбивались. И был я один городской, а все остальные таежные мужики. Народ тяжелый, их заставить что сделать, ровно пень выкорчевать.

— Ну и...

— Держали мы, парень, оборону. Сходились в том месте два оврага и перешеечек между ними, знаешь, как это бывает. Там мы зарылись, а за нами, сам понимаешь, Расея, поле, путь на восток. «Ребята! — кричит комбат. — Умрем, а не пустим фашиста! Выстоим!» За-

кричал и, понятно, разгорячился, стал пример показывать и выставился. Пулька его и продырявила, на фронте уж коли ты зарылся, то не высовывайся.

И тут-то фрицы двинули танки.

Скажу тебе: снаряд понимаешь, пушка, ее калибр и прочее. Фашиста, идущего в атаку, не боишься — ты сидишь в земле, а он-то открытый и смертный человек. Только, стреляя, не горячись. Самолет-пикировщик — это, конечно, плохо.

А вот танк ни с чем не сравним. Он вроде бы целиком из железа и, понимаешь, ползет и стреляет, приседает от отдачи орудий и стреляет. А не то как резанет из пулеметов. Жуть! Но противотанковые гранаты у нас были, две. Мы выдвинули Ковыля и Харитонова, мужиков здоровенных. Надеялись, понимаешь, заткнуть проход, подорвав два танка.

Подпустили их. Но Ковыль поторопился и гранату не докинул. Харитонов бросил удачно, да попал в березку, та и спружинила. И обе гранаты взорвались не там, где нужно.

И танки, эти ходячие железища, развернулись и давай садить по нас из пулеметов. Крупнокалиберных. А это, парень, уж не дай тебе бог!

Пришлось удирать.

Мы уходили по оврагам. Глубокие такие. Бежим, и тут-то меня и рубануло вроде топором. Сомлел я. А когда пришел в себя, то бородач Самарин сует мне в пасть горлышко фляжки. Хлебнул я — водка! Сразу мне полегчало.

И вот сижу я, привалясь к кочке, вокруг меня осока, кусты, и нас горсть осталась. Смирно, а в голове все смешалось, даже понять не могу, на что смотрю. Вижу — пятнышко какое-то мельтешится. Всмотрелся я — у воды прыгает трясогузка, раненная вроде меня. Пулей ее едва ли шибануло, скорее веткой отбитой, но крыла у нее нет.

«Вставай, — говорит Самарин. — Авось уйдем». — И погрозил фашисту кулаком.

«Ее-то за что? — спрашиваю. — Птичку?»

«Бредит, — сказал Скоп. — Поволокли его».

Так мы ушли к своим. Меня положили в лазарет (Квинкин оживился и снова был молодым). Поднялась у меня температура, паря, аж в сто сорок градусов. Термометр лопнул, ей-богу! Фельдшер глаза выпучил — дает мне воды, я хлебну, а из ноздей пар идет.

Я лежу, матрасишко кровяной подо мной дымится, я же брежу птичкой. Всадят мне шприц обезболивающего — мерещится ее оторванное крыло, вижу, будто оно — это я, сам лежу в кустах, а по мне мухи ползают.

Да, брат, странное человеку лезет в голову. У меня в башке тогда одно торчало: ну коли нам не хватает мозга жить мирно, за что калечим птах? А потом ты ведь знаешь — мне отпуск дали нерв растить. Вот и все. Чего губы надул?

Губы надул... А почему мне их не надуть, если я его спас, накормил хариусами, а он рассказывает скучную ерунду? Птички!.. Я лично стреляю даже тетеревов.

Квинкин говорил:

— Вы, пацаны, все ерзаете, на войну хотите. Поди, хочешь? А ты не торопись, успеешь. А уж коли попадешь, то помни: с танками шутки плохи. Тащи с собой противотанковую гранату, тяжело, а ты ее неси.

А коли выживешь и вернешься домой, пуще танка бойся вдов. Ты их пожалеешь, а чего хорошего? Вот, морда исцарапана, улица обхохочется. Но сами бабы добрые, это жизнь такая. Сбегай-ка посмотри, ушли Лампа и Надежда?

...Историю ранения Квинкина я придумывал сам. Такую.

Будто бы Квинкин раздразнил сразу два немецких танка, такое им крикнул, что фашисты решили задавить его. Обязательно! Он же стоит, поплевывая, и не убе-

гает. Танки разогнались на него, а Квинкин отскочил, и те сшиблись лбами. Загорелись, понятно. Квинкин, само собой, взял в плен оба экипажа, но, ведя их в тыл, был ранен шальной пулей.

И пацаны мне поверили, потому что Квинкин был первым солдатом нашей улицы, вернувшимся живым. Как тут не поверишь!

А что он боится вдов, это мне понятно. Все на улице: пацаны, старые мужики, кошки, собаки и, думаю, комары — боялись военных вдов, худых и злющих, будто осы.

Попробуй-ка сопри у такой морковку с гряды! Страшное дело!

ИГОЛЬНЫЙ БУМ

— Миллионерам живется сладко, — повторил Димка свой афоризм. И, откусив яблоко, зачавкал: такое было сочное. Словно брюква в дождливое лето. А еще было румяным, как соседка Неллочка, пока она заведовала магазином.

Яблоко шипело в Димкиных зубах, брызгалось соком — я видел эти летящие капельки.

— Вкусно?

— Апорт, — пояснил Димка. — Мировое! Хочешь?

Продавали эти чудо-яблоки южные копченые старики в ватных халатах, перепоясанные полотенцами. А есть яблоки в войну могли только американские миллионеры, торговка картофельными драниками Полюшка Дурной глаз да инвалид Кокин: он счастливо играл на барахолке в угадывание карт.

А теперь яблоки жрал Димка.

— Ешь! — Он дал мне другое. Я впился зубами — вкусно-о-о-о! — и базар вспыхнул в моих глазах.

Засветилось топленое масло в бутылках. Тыщу руб-

лей стоит такая бутылка, а мы можем купить, если захотим!

Мерцало кровяное мясо, сытное, дающее силу в работе и драках. Пожелаем и сварим из него щи, сами нажремся да еще покормим Димкиных братанов, когда те вернутся с работы.

Но яблоки лучше всего... Димка выбрал и купил еще одно. Он держал его на ладони и покачивал, словно баюкал. И ждал, когда я доем свое. Кончилось — я обсосал черешок.

— А это дашь отцу. — Димка сунул яблоко мне в руку.

Вот пошла жизнь! Я даже стал отказываться.

— Такое большое. Ты хоть откуси разок.

— Бери, бери, его сегодняшняя доля.

И верно, в нашем деле была доля моего отца. Дело такое: Димка занялся выпуском швейных иголок, я же помогал ему вечерами, после школы. Мы делали разные иголки, чаще огромные, которыми удобно починять мешки и сношенные валенки.

Пытались изготовлять и тоненькие. И наловчились в конце концов, иголки были что надо. Во-первых, материал: Димка носил с работы сталистую проволоку, желтоватую, пружинившую. Во-вторых, Димка делал иголки, а я их полировал.

Он мог сделать любую иголку на свете, но медленно. И так же любовно я полировал ее.

— Слушай, — говорил я Димке, очень довольный вечером. — На кило картошки мы заработали.

— Да, — отвечал он. — Так работают черепахи, саботажники и мы. Нужен станок.

— Зачем?

— Чтобы пропускать сквозь него проволоку. На вал приделаем наждак и будем крутить и вытачивать иглу.

Мы занялись станком. В депо Димка попросил друзей отца помочь, и через месяц станок, здорово напоми-

нающий мясорубку, быстро и легко делал иголки без ушков. И даже сам начерно полировал их. Но ушки мы все равно пробивали вручную и теперь за вечер зарабатывали два кило картошки. Что было плохо — при станке-то!..

Мы попробовали ускорить дело, пропиливая разрезные, в виде щели, ушки. Но такая игла плохо держала нить. Пришлось идти советоваться к моему отцу.

Был мороз на улице и у нас дома. Отец сидел в зимнем пальто и вырисовывал кисточкой на плакате блеск штыка, которым наш солдат протыкал фашистского осьминога в каске.

Осьминогу это протыкание насквозь штыком не нравилось, он дрыгал щупальцами. И в каждом было зажато оружие; в одном — автомат, в другом — самолет с черной свастикой, в третьем — пушка.

— Ушки не получаются? — переспросил отец и вытер кисть тряпочкой. Положив ее, он повертел в пальцах слепую иглу, бормоча:

— Черти, промысел открыли... Ладно, я принимаю ваш заказ. Но гонорар будет высокий: десять иголок. Идет?

— Половину заработка отдам! — горячо воскликнул Димка. — С ушками плачем, в них вся загвоздка.

— Нет, — заупрямился отец, — один десяток.

Он глядел на нас, странно округлив глаза. И я понял, что к нему уже пришла догадка об игольных ушках.

И другое я понимал — раз отец решил брать десяток иголок, ты хоть кол ему на голове теши.

— Лады, — сказал Димка. Они пожали друг другу руки, и отец велел маме собирать на стол — будем пить чай.

Она принесла от порога отличные паренки из тыквы и свеклы — пайковый сахар мы уже слопали и теперь кормились сахарной свеклой. Дня три подряд мама па-

рила ее с тыквой в духовке. Получался коричневый сладкий мармелад, который и звали паренками.

Мама поставила чугун на стол, Димка вынул из кармана кусок хлеба, завернутый в бумагу, а отец подцепил вилкой самую большую паренку. Сунул Димке: ешь!.. И тот отломил полпайки и положил хлеб на стол.

— Видишь, дядя Иван, — говорил Димка, жуя, — в газетах хвалят Ферапонта Головатого. Он самолет купил и армии подарил. Один. Я же, если вы поможете, Ферапонту нос утру, куплю два самолета. Сообразите: теперь иголка стоит на базаре рупь, и это справедливая цена. Иголки часто ломают и теряют. Значит, у меня деревенские и городские тетки купят миллион иголок. Я буду миллионером! Тогда сколько нужно дам на самолеты, а остальное проем. Так скажите, почему я не могу помочь вам, коли самое трудное — ушки — сделаете вы?

— Не желаю, — заворчал отец, — но все-таки спасибо.

Он высморкался в платок: и растрогался, и был простужен.

Назавтра, сгоняв меня с длинным списком в техническую библиотеку, отец обложился справочниками. Засыпал он теперь поздно: сидя у коптилки с жестяным рефлектором, он делал выписки и покашливал. Глухо, словно в подполе.

И способ был найден! Химический! В соединении с электрическим!

В мутной жиже, пахнущей чем-то бражно-кислым, отец медным электродом в секунду прорезал в игле дырку. Ровненькую, гладкую.

— Конечно, интересно было бы автоматизировать процесс, — говорил, светя глазами, довольный отец. — Но это задача не изобретателя, а инженеров.

Я же раздувался от гордости — отец мой все знал и все умел. Он и картины писал, изобретал разное. Ска-

жем, этот ушкодел. Также он изобрел лопато-вилы с хитро выгнутой рукояткой. Ими было легко, весело копать картошку.

Или, скажем, тыквы... Они плохо вызревают в наших краях, в Сибири им холодно. Что тут придумаешь? Но мама потребовала, и отец изобрел метод. Он пускал плети вверх, по доскам забора. Тыквы поднимались на солнце, а там ложились на специально прибитые полочки. Замечательно вызревали даже в самое холодное лето.

И хотя мама кричала, что теперь надо изобрести метод выжить и не помереть ему самому, отец работал над подводной лодкой с экипажем в два человека. Даже строил модель на чердаке: доносился сверху железный грохот, стуки и скрипы. И еще то радостный хохот, то чертыхания.

— А что вы тут наболтали? — нюхая жижу, спрашивал Димка.

— Секрет фирмы, — похохатывал отец. — Буду тебе давать раствор. А то, чего доброго, ты и вправду станешь миллионером. Но где ты возьмешь батареи?

— Мое дело, — сказал Димка. Он сделал множество электродов из красной меди. Затем я зажимал иглы в деревянные планки, притыкал к ним электроды и опускал в бражный электролит. Димка же через выпрямитель давал ток. (Брал его из сети, ослабляя трансформатором и контролируя вольтметром, — мы их дешево купили на барахолке.)

И скоро пришел день, когда мы с Димкой заработали за один вечер на бутылку топленого масла (яблоки были потом).

Теперь каждое воскресенье Димка, повтыкав иголки в полоски холста и перепоясавшись ими, ходил по базару. Я брел следом.

— Иголки-и! — орал Димка. — Иголки-и-и-и!

— Разные! Острые! Сами шьют! — вскрикивал я.

— А вот иголки-голки-голки! — орал Димка... Их здорово покупали, и мы с Димкой зажили сытно. (Ленивые его братья иголки делать не желали, но кормились вместе с нами.)

Во пошла жизнь!.. Раз в неделю мы ели самое настоящее мясо! Я приобрел себе Брема — десять растрепанных томов. Но Димка обзаводился одежей. Он купил за страшные деньги слегка потертую кожаную куртку и высокие резиновые сапоги — для охоты. Он даже завел себе шелковую рубаху. Вскоре это был самый шикарный пацан нашей улицы и, быть может, всего города.

Что же, умен! Лобешница во какая, а губы поджаты, будто у взрослого, синие веки накрывают глаза, чтобы в них попусту не заглядывали.

Я гордился Димкой. Вот его отец воюет, померла мать. Он же ходит в шелковой рубахе и передовик на работе в паровозном депо, изготовляет иглы и уже поговаривает о покупке первого самолета.

...Когда мы продали за воскресенье тысячу иголок, улица взволновалась. Теперь, работая и оглянувшись на шорох, мы часто видели в сумерках чью-нибудь физиономию, размазанную по стеклу. Наблюдающий за нами глаз ворочался, шарил по комнате, словно прожектор.

Я высовывал язык, а Димка вставал и этак небрежно подходил к окну и задергивал новенькую штору с дырочками, красиво прорезанными всюду.

— Из такой материи, — хвастал он, — ежели б не дырки, любая тетка себе блузку сошьет. А я ее на окно! Во!

— Хорошая штора, — соглашался я.

— Потому что я умный, — хвастал Димка. — Все мозги, отпущенные на братанов, достались мне. Заметь, у меня теперь все хорошее. И ружье я себе куплю самое лучшее на свете, вот увидишь.

— И увижу, — не сомневался я.
— А что, дядя Иван не берет свой процент?
— Он такой, он не возьмет.
— А ведь кашляет все пуще. Давай так сделаем, — говорил мудрый Димка. — Ты будто едешь на рыбалку, а я куплю у Максимыча десяток-второй окуней. И с охотой мы его станем объегоривать.

Таким вот образом я вскоре гремел на улице как добычливый рыбак и замечательный охотник. Всхлипывая, мама щипала уток и называла меня кормильцем.

...Приходил к нам участковый Сидоров, друг Димкиного отца. Хороший дядька, но с грыжей. Потому был не в окопах, а дома. В револьверной кобуре он носил кисет с махоркой и подарок Димки — зажигалку из латунного патрона.

— Миллионером, говорят, хочешь стать, — ухмылялся Сидоров и закуривал. — Что с миллионом делать будешь?

Участковый садился в деревянное кресло и снимал фуражку. Затем он морщился и трогал правую ногу — в нее отдавала свою боль грыжа. Но Димка все продумал заранее.

— Миллионеры живут сладко, дядя Сидоров. Я сделаю так: двести тысяч отдам на самолеты, на остальное стану жить. Отцу приберегу. Вы его знаете, кулаки у него здоровые, а голова слаба...

— У отца-то?.. — изумлялся Сидоров. — Ах ты, паршивец! Бросай-ка это дело, парень, вконец испортишься. Или, не ровен час, грабители пришибут.

— Я-то? — удивлялся Димка. — Меня-то?

— Тебя. Конечно, ты у нас один на улице Рокфеллер.

— Ружье у меня зачем?

— Гм, фроловка? Ты, фабрикант, сначала бы ружье завел с двумя стволами.

— Одностволки лучше бьют! А закончится война,

я куплю себе «зауэр три кольца». Во будет ружье! А чо, дядя Сидоров, вам иголки не нужны?

— Только две, я заплачу.

Сидоров вынимал два рубля. Но не уходил, а спрашивал:

— Ты уговорил торговать иголками Старого Черта?

— А чем плохо? — немедленно отзывался Димка. — Работаем с половины. Деду сытней, и мне хорошо.

— А что в депо?

— Передовик в цехе, двести процентов даю, карточка на доске! Я умный, — хвастал Димка, — везде успеваю.

— Востры вы уж слишком сделались, — вздыхал участковый, глядя на нас. — Не дети, а старички. Ты, — он указывал пальцем на меня, — старей своего отца. Ты же, Дмитрий, у меня на участке теперь самый старый, тебе две тысячи лет, ты только с виду пацан. Дай мне иголки, те, что потолще.

— Мы вам дарим.

— К черту! — вспыхивал участковый. — Рупь-два у меня всегда имеется.

...С яблоками и мясом мы вернулись с базара, сварили щи и пообедали сытно. А когда я уходил, Димка остановил меня.

— Тут лежит доля отца, спрячь. А подобреет, отдай ему... Или нет, лучше мамке отдай.

Димка пошарил в ящике, куда братья кидали обрывки веревок, ржавые гвозди, сломанные щипцы и прочую дрянь, и вынул сверток. Тугой, жесткий на ощупь.

Я сжал деньги и стоял. В окно мне виделся город. В небе жужжали истребители: их делал наш завод, а испытатели проверяли, гоняя днем и ночью.

— Изобретателям надо платить, — важно говорил Димка. — Иначе все остановится, никакого тебе прогресса. И... знаешь, — вдруг прошептал он, — ходят вокруг какие-то. Грабанут еще! А в сберкассу я боюсь ид-

ти, деньги храню дома. Суну, куда вор сроду не поглядит.

...Я принес отцу деньги и яблоко. Отдал.

— Вот твоя доля!

Отец яблоко разделил на три части, дав сестренке и маме. Затем он сунул нос в Димкин сверток и вдруг разбушевался.

Он бил желтым кулаком по столу и кричал гордые слова. Но вдруг устал и заснул прямо за столом — он теперь быстро слабел. И старел быстро, словно с горы катился. Старухи на улице говорили, что он помрет следующей весной. Зацветет черемуха, опадет ее цвет, и он уйдет вместе с ним...

— ...Я вашу чертову машину поломаю, — бормотал отец, просыпаясь. — Ах, бестия, он покровительствует. Нет, каков поросенок!

— Что ты, старый, бесишься? — говорила мама. — Ребята трудятся, они хорошие, непорченые, нас подкармливают. А ведь это полагается делать тебе.

— А ты знаешь, сколько здесь денег? Десять тысяч! Да! И пусть я сдохну, а не стану брать! Мой сын вырастет делягой? Не допущу и Димке не позволю. Я их разгромлю, я им покажу...

Но громить нас отцу не пришлось; вечером того же дня, часов в десять, я побежал рассказать Димке. Но войти к нему я не смог, хотя и стучался в окно. Сильно. Димка не выходил, не открывал мне дверь.

Свет в доме есть, а его нет. Помер он, что ли?..

«Убили, — шепнуло мне. — Ограбили».

И знакомый с детства горинский дом, темный и горбатый, с повисшими ставнями и слепыми маленькими окнами, стал чужим и страшным.

Я дружил с Димкой, шутил с его петухами, слушал песни его отца и вообще любил этот дом. Но теперь боялся его, даже ноги расслабли.

Страшное было в молчании дома. Оттого, что в нем

ярко горела плошка с зеркальным рефлектором, бросая отсветы на потолок, становилось еще страшнее.

Это значило, что Димка там, а с ним случилось худое.

Да, его ограбили, это случается с богатыми людьми.

На мой стук повыходили соседи, а Старый Черт прибежал с вилами.

И Семениха ушла за милицией, а я вскрикнул, разбежался и ударил плечом в дверь. Она оказалась незапертой — я влетел в сенки и врезался башкой прямо во внутреннюю дверь. Затем стали входить соседи — сначала в сени, а потом в дом. Лезли всей толпой, мешая друг другу (я не шел, мерещились ужасы).

Но Димка был жив, соседи вошли и увидели: он сидел в старепьком кресле и плакал. Молча.

Рот его, большой и усмешливый, был заткнут сырой картофелиной. Огромнейшей, фиолетовой, взятой из ведра, что стояло около двери, чтобы картошка не дрябла.

Он жив, жив!.. Но до чего же крепко привязан!

Я развязал его, Димка встал и вынул картофелину. Он ходил по комнате, мотал головой и все не мог закрыть рот, чтобы сказать, кто здесь был.

— ...кятая... тошка... — выговорил он наконец. А затем Димка, который был умней всех стариков нашей улицы, сел на пол и заревел, как ребенок, только басом.

— Иг-гой, — орал он, плача, — иг-гой...

Я кинулся в другую комнату: и верно, игольный станок утащили воры. Это грабеж! Его предвидел дядя Сидоров. Ну не дураки ли воры?.. Торопясь, они забыли прихватить бутыль с раствором для травления ушков, забыли ванночку с электродами. Хотя она стояла на виду.

Не поняли, что это такое?.. Спешили?..

— Дуки, — говорил мне Димка растянутым ртом.

Сам вытирал глаза и рот, размазывая грязь по щекам. Затем умылся.

Прихрамывая, вошел Сидоров. Он ходил туда-сюда и вдруг сунул руку в печурку, где валялись щепки и старые тряпки. И вынул деньги. Пересчитал вслух:

— Сто... тысяча... две тысячи... Пятнадцать! Твои?..

— Мои, — просипел Димка.

— Расскажи мне, как выглядели грабители?

— Ак вюди, — сказал осторожный Димка.

— Они тебе грозили? Ты их боишься?

— Дуки, убют...

Участковый бросил пачку денег на стол и велел:

— Их спрячь, приобщать к протоколу не буду.

— Невадо... покова... — просил его Димка. — Невадо... убют дуки...

Сидоров, махнув рукой, ушел. Я остался. А в двенадцать ночи, стуча деревянной ногой, вошел мужик с чемоданом. Огляделся, снял шляпу. Настоящую. Сказал:

— Я с заказом. Беру сто, деньги со мной. Но плачу не по рублику, ясное дело, а по три четверти. Зато вперед.

— Тись ты, — сказал Димка.

— Не понимаю я вас, молодой человек, — с достоинством возразил одноногий, — учтите хлопоты и риск... Ясное дело, хочу иметь выгоду.

— Тупай, — велел ему Димка. — Я босил...

...Отец положил Димкины тысячи в сберкассу на имя Дмитрия Горина. А те деньги, из печурки, Димка сдал в фонд обороны, пятнадцать тысяч легковесных военных рублей. И невыносимо заважничал. Но иголки он больше не делал.

Игольный бум кончился, иголки в городе тоже. Воры промахнулись. Станок наладить было просто, но ушки... Их воры делать не умели.

А кому нужна иголка без ушка? Так и не стал Димка миллионером. Но когда заходит разговор о тех, за-

морских, он важно кивает большущей головой. Потом изрекает новый афоризм:

— Миллионерам живется трудно.

ДИМКИНЫ СОРОКИ

Мясо!.. Оно мне снилось.

Я чувствовал его во рту, невыносимо, дерзко вкусное, и просыпался, глядел с высоты моих теплых полатей. Пронзительно сияла луна. В углах стояли черные тени.

Я видел спавшего отца. Он тяжело дышал. А по комнате, тяжело ступая, идет Невидимый.

Мне страшно. Волосы мои шевелятся — под ногами Невидимого хрустят половицы.

Я коченел в ужасе и опять просыпался. И видел луну, отца, лежавшего неподвижно, и слышал, как в комнате за занавеской сонно дышали мама и сестренка.

И мне хотелось съесть кусочек мяса. Но мы его давали отцу —он хворал, он был нашим кормильцем, ему нужно копить силы. Сами ели картошку, а ее не хватало. Она кончилась в январе. Теперь в подполе лежали только закатившиеся проросшие картофелины.

Ростки их были как лапы белого паука.

А чтобы у нас снова появилась картошка, был нужен нашатырь. Тот самый, что употребляют для паяния. Димка приносил нам нашатырь в свертке из оберточной бумаги, грубой, скверно сделанной, с деревянными занозами.

Но я клеил из нее маленькие пакеты, развешивал нашатырь по сто граммов и твердой рукой писал: «Нашатырь натуральный. Вес 100 г».

Четки, уверенны были мои буквы, колхозные женщины не сомневались в нашатыре и лечили им телят. Только недоверчивые старики говорили мне:

— Если врешь, паря, большой тебе грех, животное погибнет.

— Хороший нашатырь, — клялся я, вертя головой. — Смотрите, пробуйте, нюхайте. Сахарный нашатырь!

— Ладно, ладно, не трещи... сорока...

Я не врал — Димкин нашатырь был действительно хороший. Цена его тоже: ведро картошки шло за стограммовый пакетик.

Картошка могла быть крупной или мелкой, розовой или желтой с фиолетовым (отец называл ее Вторым Интернационалом, а Димка — союзниками). Любая, но ровно ведро. А вот за отцовский костюм, ненадеванный, нам дали только мешок картошки.

Такие были нашатырно-картофельные дела.

Так нашатырь в химии жизни обращался в деревенскую картошку. Она же, если кормить поросенка, становилась мясом. Наевшись картошки, можно было идти на охоту и добыть дичь, то есть опять превратить картошку в мясо. А оно давало силу жить дальше.

Шел воскресный день. Я побежал к Димке Горину, надо было уговориться о нашатыре — зима клонилась к лету, рождались телята. И надо было договориться с ним о дроби: с юга уже спешили к нам утки.

Я бежал улицей, серой, с исчезнувшими заборами, с недовольными рожами домов. Бежал, подпрыгивая, — февраль прожигал насквозь подошвы валенок.

И была во мне ласковая слабость, и хотелось мяса (утром мы ели паренки из турнепса, кисленькие, с привкусом редьки. Отцу же дали сало и несколько ложек меда).

Димку я не застал, дом был открыт, но пуст. В нем пахло горелым порохом — значит, Димка опять практиковался в стрельбе.

Дом после смерти тетки Анны торопливо превращался в берлогу: стены поковыряны Димкиными дробинами, братья Горины колют дрова отчего-то не на ули-

це, а прямо на пороге, и тот ерошился щепками. Стены не побелены. На печи углем написано: «Жди!» Написано Димкиной рукой мне.

На столе же рассыпана вареная картошка и поставлена солонка со скотской крупной солью. Одна картофелина наполовину очищена и кудрявилась кожицей. Она подсохла и пожелтела, будто кусок лежалого сала.

Слюна наполнила мой рот: в свои четырнадцать лет я всегда хотел есть. Еда не только снилась мне.

Сидя на уроках, я рисовал на промокашке котлету и тотчас начинал видеть ее, нюхать, жевать.

Сейчас я повелел подсохшей картошке стать сладким пирожным.

Я взял ее, слизал крем, съел и, не раздеваясь, сел к печке. Она холодила — куржак медленно поднимался вверх по двери.

Но где же Димка? Раз велел мне ждать, значит, он недалеко. Он не ходит без дела. Наверное, Димка сейчас в хлебном — стоит в очереди. Ему тепло и вкусно пахнет хлебом.

Пусть стоит. Я буду ждать.

Димке хорошо, у него рабочая карточка (он работал на месте своего отца в паровозном депо).

Кстати, где его братья? На работе? Хорошо, что их нет, а то бы стали шутить, загибать мне салазки. Или, схватив за виски, поднимали вверх, показывали Москву.

От скуки я стал ковыряться в инструментальном столе братьев. Они богатые — тисы, щипцы, подпилки разной величины. Что и говорить, мастера... У меня же странно косолапые отношения с инструментами: я мог все придумать, а делать ничего не умел.

Вот придумал разборные сани для поездок в деревню, но сделать их придется Димке.

А тот умел все делать. Сейчас он делал финские ножи. На столе лежали заготовки — несколько стерших-

ся напильников. Один нож был закончен — полированное чудо!

У него наборная рукоятка.

Набирал ее Димка из кусочков плексигласа. Он опиливал, формовал ручку, шлифовал ее шкуркой и затем хромовым порошком — до игры на ней солнечных зайчиков.

Я взял нож — и тотчас увидел фашиста. Тот шел прямо на меня. Крикнув: «Гитлер капут!», я поразил его точным ударом.

Пока фриц корчился на полу, я положил нож и стал искать ружье. Мне хотелось подержать его в руках. В четырнадцать лет мне не только все время хотелось есть, но и было скучно без ружья в руках.

Я мог вертеть его целыми днями, вскидывать, целиться.

Охота же для меня была непрерывным счастьем.

Я охотился с отцовской тулкой — Димка купил себе «фроловку» — одностволку двадцать восьмого калибра, переделанную в дробовик из трехлинейки.

Но ружья не было. Скучно! Я из окна стал рассматривать двор: сарай без крыши (ее сожгли), черное пятно помойки, забор. Доски его оторваны, от забора остались столбы и продольные жерди.

На них сидят две сороки. Неподвижные.

...Эти сороки!.. В город они являются с первыми морозами — кормиться, но каждый день улетают ночевать в лес — вечером, на закате.

Летят высоко, скрипя морожеными крыльями. Закат румянит их белые животы.

А вот их прилет в город я никогда не видел. Чуть рассветет, а сороки уже торчат на заборах, деревьях и дымовых трубах.

...Сороки сидели. Я прижал нос к стеклу, разглядывая забор, его жерди, торчащие гвозди от оторванных досок. Около снежный надув. В конце дорожки, подхо-

дившей к забору, видна нищенская помойка братьев Гориных — пятно грязной воды и розовая картофельная кожура.

Я смотрел и не верил этим двум сорокам. Их неподвижность странная, так же, как исчезновение Димки и его ружья.

Ведь сорока всегда в движении, ее бойкий глаз не дремлет. Только в сильные морозы сороки задумчивы. Наверное, соображают, замерзнут они или нет.

А вот и третья — обыкновенная — сорока. Она только что прилетела, она вертится, переступает, качает хвостом.

Она то глянет вниз, на помойку, то в сторону неподвижных сестер. И тут ударил выстрел, будто палку сломали.

Обыкновенная сорока качнулась, махнула одним крылом и упала. Из белого снега черным ножом выставился ее вздрагивающий хвост. Я же увидел Димку. Он вышел из сарая с «фроловкой» под мышкой. Из тонкого ее ствола шел узкий дымок.

Я выскочил на улицу — лицо и губы Димки были почти белые. Такое лицо, говорят, бывает у замерзших людей.

— Сорока! — крикнул я. — Ты убил сороку!..

— Ясно, — сказал Димка. Он такой, ему всегда и все ясно.

Я тычу пальцем в сидящих на заборе сорок.

— А эти почему не летят?

— Мои, — ответил Димка. — Мороженые чучела.

— Ты был в сарае?

— За-замерз, как фриц, — смеется Димка.

— Давно там сидишь?

— Часа два не шевелился. Тебя увидел, а не шевельнулся.

И он раздвинул губы в замороженную улыбку.

Я подошел и снял сорок с забора. Это были убитые

и хорошо замороженные птицы. Сороки-чучела, сороки-подманки...

Ну и хитер!

Я взял убитую сороку за хвост, поднял ее: такая красивая, но легкая птица! Она пробита единственной дробиной. Та вошла в сорочью голову.

Во меткость!

И меня распирает гордость за Димку. Я тоже охотник, и не раз я стрелял настоящую дичь, уток и тетеревов. Но сороку убил только одну, и то в гнезде: с одной стороны гнезда высовывался ее хвост, с другой — клюв.

Сорока кричала стонуще-счастливо. Я выстрелил в нее из «тулки», и дробь расхлестнула гнездо, вышвырнула из него сороку и разбила ее яйца.

Они повисли на березовых ветках — яркие цветки желтков. И тогда лишь я понял, почему сорока подпустила меня.

...Мороженых сорок Димка спрятал в ящик, поставленный в сенях, и мы вошли в дом.

Войдя, Димка поставил ружье и стал греметь зубами и трястись.

— Замерз? — спросил я Димку.

— Н-н-нарочно, — ответил тот. — Хол-л-лод из себя вытряхиваю. Понимаешь, сначала надо вытрясти весь холод, а греться потом.

Протрясясь, Димка набил печь кусками легкого паровозного угля — он носил его домой в сумке, с работы, из паровозного депо.

— Стрелять зимой неловко, — говорил он. — Пальцы... В суставах смазка замерзла. Ты за нашатырем?

— Картошка у нас кончилась.

— И нашатырь кончился. Мастер меня застукал, к начцеха таскал. За ворот. Вон, бери на столе картошку, дожевывай.

— А ты?

— Я сыт, я вчера ножик продал. За три ведра.

— Вкусно, — сказал я, пожирая холодную картошку.

— Ты что, опять свой паек вчера сожрал? — презрительно спросил Димка.

— Ага. А отцу мы сегодня мед давали.

— Напрасная трата, — вздохнул Димка. — Все одно помрет.

— А твой? Молчит?

Димка смотрел в окно. Оттаявшие его губы стянулись в узкий шов. Он молчал.

Мама говорила: мои чувства все лежат наверху, словно картошка на сковороде, а Димкины глубоко зарыты.

Димка смотрел в окно и молчал, а я, его лучший друг, не знал, о чем он думает.

— Вернется, — сказал Димка. — Куда он денется? Горины не пропадают. Партизанит он, фрицев бьет. А твой все кашляет?

— Кашляет.

Что я мог сказать? Отец мой болел туберкулезом с начала войны, и с тех пор он становился все суше, белее и меньше. Бывало, сидит у печи в зимнем пальто, то рассказывая о гражданской войне в Сибири, то размечая на карте стрелы наших фронтовых ударов.

Что о нем скажешь?

— Еще учится на касторке лепешки жарить.

— Лепешки картофельные?

— Ага.

— Скажи, пусть тогда не старается. А вот рыбий жир — верное дело. Его можно и так есть, с луковицей.

Но мне хочется сказать что-нибудь. Я говорю:

— Отец половину легкого выкашлял.

Димка смотрит на меня. Глаза его маленькие, серые, едкие. «Нашатырь!..» — иногда зовет его мой отец.

— Ошибаешься, полтора ушло. Я уже прикидывал. А что, по ночам Невидимый ходит?

— В лунные ночи аж пол гнется. Сядет — стул под ним трещит.

— Ты смотри, это смерть к твоему отцу идет. К матери моей так же ходила, я ее слышал... Я бы на твоем месте спал в школе, а ночью от отца смерть отгонял. Отец, он, знаешь, все же один.

— Он добрый.

— А вот мой драться любил ремнем. Но бил за дело. Э-эх, проспишь ты отца.

И Димка презрительно ежит плечи. Кожа белеет в прореху. Он сует в нее палец и чешется.

— Зачинил бы рубаху, — говорю я. — Мамку мою попроси.

— Так удобней, вишь, свободно чешусь. Нет, не укараулишь ты отца. А я бы укараулил, я ужас какой терпеливый. Потерял хлебную карточку, и, как братаны ни орали, я их хлеба не ел! Хочешь, палец себе в огне сожгу?

Я знаю — сожжет.

Он тянет палец к покрасневшему железу дверцы. О-о... Я чувствую его боль, и меня охватывает слабость. Такая: все переворачивается вокруг меня, и я падаю. Обычно, когда такое случается, я стараюсь побыстрей сесть, тогда хоть голову не разбиваешь.

Вот и сейчас окна, Димка и печь перевернулись вокруг меня и стали на свое место. Я сидел на полу.

— Слаб ты, — вздыхает Димка, дуя на палец. — Как ты весной на охоту пойдешь? А вот я бы не брякнулся и отца вылечил. Говорят, если разом съесть кило стрептоцида, можно вылечить любой туберкулез. Даже чахотку.

— Врут, наверное.

Печка раскаляется до белого цвета, дышит, и весна кажется близкой, завтрашней.

— Давай стрелять, — говорит Димка.

Мы долго стреляем в цель одной дробиной из встав-

ного стволика. Дом наполняет восхитительный запах горелого пороха.

— Нет, — вдруг сказал Димка, отставляя ружье. — Ты сообрази, уж лучше есть сорок, чем ходить в деревню по морозу. Во-первых, мясо, во-вторых, валенки целы. В-третьих, на себе картошку не таскать. Глянь-ка, ты ею себе, как прессом, всю грудь сплющил. Оттого и падаешь.

— Сороки поганые, их не едят.

— А давай-ка сварим. Я уже двух слопал. Братаны орут, а я жру.

— Не буду.

— Тогда ставь кастрюлю и помогай щипать.

Мы ощипали сороку и осмолили ее разогретой кочергой. Пахло горелым пером. Мы выпотрошили, сунули птицу в кипяток. Синеватая жалкая тушка нырнула при вращении кипящей воды и тут же всплыла наверх побелевшая, держа лапы двумя оглобельками.

Огромная сорочья голова поглядела на нас темными, выпукло-закрытыми глазищами.

— Во, мозгов-то у ней! Как у меня, — сказал Димка.

Мясо!..

Я не хотел есть эту сороку, но она пахла так вкусно. А когда мы положили картошку и лук, я уже ничего не имел против сороки, только старался не видеть черную голову. Ее съел Димка, говоря:

— Вот еще мозгу прибавилось, жить легче станет.

Потом хлебали суп, и я стал блаженно сыт.

— Я терпелив, я все могу, — хвастал Димка. — Вот какую себе зеркальную дробь накатал. На десять метров дальше твоей летит. Я и отца могу дождаться, и сороками прокормлюсь, и порожним с охоты не пойду. Я все на свете могу.

...Вечерело. Летели обратно в лес сороки. Каждая несла немного розового заката на груди. Димка считал

их, на каждом десятке загибая палец, и говорил довольно:

— Тысячи их здесь, тысячи, прокормлюсь. И конца войны дождусь, и буду есть курицу! Каждый день. Во-о! Увидишь.

...Солнце садилось. Вспыхнули окна и порозовели, и стали добрыми поношенные морды соседних домов.

Сороки летели. Я глядел на них, и летел вместе с сороками, и видел наш город сверху — реку, два моста, кубики домов. Мне было и страшно и весело... Грохнула дверь — пришли братья. Они раздевались, смеясь, говоря что-то, но я не видел их.

— Очнись! — крикнул на меня Димка. — Блажной! Сеструха твоя бежит.

И точно, мимо окон дома бежала моя сестра, в ватнике и пимах, с голыми синими коленками. Она раскрывала круглый рот, крича на бегу.

— Иди! Отцу плохо... — сразу догадался Димка.

...Братья хором ругали Димку за сорочий суп.

Он дождался-таки своего отца. А мой умер той же весной... Умер! На похороны Димка принес нам три булки хлеба — для поминания. Сказал:

— Это для гостей, сам не жри. Мы с братанами три дня копили.

Димка шел за гробом рядом со мной. Мы все как-то раскисли — маму вели соседки, а меня Димка держал под руку.

Бледные губы его все время шевелились. Он говорил:

— Вот в чем дело, черемуха сильно цвела. Она твоего отца убила. А если бы ты вовремя позвал меня, я бы оживил его, я бы велел ему встать миллионов десять раз подряд. Я ужасно терпеливый. И чахотку его я бы пересилил.

...Димка дождался своего отца — в 46-м году — и умер после. Я бываю на его могиле. Уж двадцать с

лишком лет, как он похоронен в толстом красном мужике, озабоченном квартирой, автомобилем и сытной едой.

Мужчина этот отличный слесарь в номерном институте и может сделать все на свете. Живет он заслуженно хорошо, ничего не скажешь, но мне он чужой. Нас держит прежнее — сороки, охоты, нашатырь, картошка...

— Помнишь, — говорит мне Дмитрий Сергеевич. — Я сорок ел? А сейчас жую курочку. Давай ешь, пей... И ты, старик, жуй, — велит он отцу.

Или:

— Поздравь, — говорит Дмитрий Сергеевич. — Заказал себе штучную тулку. Не ружье, молодой сон. А тогда чем стрелял? «Фроловкой»...

Я слушаю его, сам же думаю о своем отце.

Я почти не знал его тогда. Но он добр, он приходит ко мне вечером, когда в лес из города летят сороки, неся по кусочку заката на груди. Я молчу и смотрю на них. Он же, сидя в зимнем пальто, маленький и небритый, спрашивает, шелестя голосом, хорошо ли живет Нашатырь.

— Богато... — отвечаю я и опять молчу — нам хорошо вместе...

ЧЕТУШКА ТОПЛЕНОГО МАСЛА

Я промахнулся и вторым выстрелом, пущенным вдогон тетерке.

Она летела над картофельным полем, темным и взрытым. И все, кто выкапывал картошку, обрадовались, что можно выпрямиться и глядеть, как тетерка летит к желтым березам.

А я смотрел на лес с упреком. Зачем он напустил на меня эту хитрющую тетерку? Почему так подвел? Ведь сотни раз он спасал меня, давая застрелить какую-

нибудь дичь. А тут поступил жестоко: патроны на счету, пороха не достанешь. Кроме военного, вискозного, от которого лопаются стволы охотничьих ружей.

Да и сам я хорош! Должен был догадаться, что порядочная птица не смогла бы здесь уцелеть. Ведь из каждого десятка копающих пятеро были охотники. И свои ружья они не принесли лишь в твердой уверенности, что еще весной перебили всех здешних птиц.

Я погрозил улетающей тетерке кулаком и пошел к своей делянке — на общем поле у нас было десять соток, засаженных картошкой. И, вырастив ее — трижды прополов, два раза окучив, — мы теперь копали ее.

Копать картошку готовились загодя. Еще прошлой осенью мама выстирала мешки и починила их громадной иглой, суровыми нитками. Всю зиму мы собирали посадочный материал, а для этого у каждой картофелины, которую готовились съесть, срезали макушку с глазками — зародышами будущих корней, листьев, картофелин. Эти глазки мы прорастили весной.

Чтобы не мять зеленые ростки, унесли их на поле в фанерных ящиках, на своей спине. Несли к этой вот недоброй, жесткой земле макушки с листиками, веселыми и морщинистыми, будто лицо бабки Семенихи. Затем ждали всходы, пололи, окучивали и снова пололи.

Наступила осень, и мы засуетились — копка подошла.

Готовилась к ней отцовская организация, добывая грузовичок для вывозки картошки (а нам надо было припасти расчет с шофером — деньги или бутылку водки).

Готовилась мама — копила масло, сахар, сушила хлеб.

Я же сам точил орудие копки. Его придумал отец, а сделал Димка. Это была помесь вил с лопатой (сейчас бы сказали — гибрид): три широких, длиннющих зубца, тяжелых и крепких.

Копалось лопато-вилами удивительно легко. Они шли в любую почву и выгребали, почти не пошевелив землю, картофельные клубни.

И выворачивать их из земли было легко из-за особенного выгиба рукоятки. Поэтому Димка, выкопав с братьями свою картошку, в выходные дни нанимался выворачивать чужую (собирали ее сами хозяйки). Платили хорошо — мешок с загона. Так набирал он пять-десять мешков, назначаемых им к продаже весной, когда стоит она дорого.

Ну а мы садили и копали картошку сами.

...Тетерка улетела в березы. Лес здесь был реденький, нищий, как сама земля. Да и год выдался засушливый: в лесу нет осенних опенков, таких вкусных в похлебке.

А картошка! Не земля была — глина, и картошка не росла, а задыхалась в ней.

Дрянь земля, неудачный год!

Много времени прошло с тех пор. Делал я самые разные работы, даже составлял топографические карты. И теперь знаю, что труднее всего выкапывать картошку из плохой земли, если она величиной с горох.

— Без лупы не разглядишь, — бодро острил отец, выбирая картошку из вывороченного твердого кома, не желавшего рассыпаться.

...Мы копали день, второй, третий, а картошки набралось всего-навсего пять мешков. Можно было ожидать еще один. Хлеб мы слопали, даже растительное масло, темное и горькое, подходило к концу.

Мама почернела от грязи и расстройства, отец шутил, а я упрекал родителей в безмозглости. Ведь давали же нам другое поле.

— Но оно очень далеко и заросло поляком, — покорно говорил отец. — Его полоть — черта за волосы тянуть.

— Зато там настоящая ка-арто-ошка-а-а! — орал я

(Время от времени, дразня, приносился грохот с железной дороги, по которой можно было уехать к глупо отвергнутому полю. И локомотив выговаривал ехидное: — «Дрянь картошка... дрянь картошка... дрянь картошка...»)

Отец решил отдохнуть. Он воткнул вило-лопату, оперся на рукоятку и заговорил. Как обычно, ни к селу ни к городу.

— Раньше в Сибири было удивительно много стерляди, — сказал отец, и мама внимательно посмотрела на него.

Отец стал подробно рассказывать, как он в детстве ловил стерлядей в Оби, варил, ел... Также рассказал, сколько в Сибири водилось зайцев — тучи! И глотнул слюну. Лицо его было старое и худое, борода серебрилась, а глаза ушли вглубь, туда, где и лежали его воспоминания о стерляжьей ухе.

— Ладно, — сказала вдруг мама, но теперь уже глядя на меня. Я видел во всех узеньких морщинках ее лица черную пыль. Она прорисовала ее лицо, будто карандаш недопроявленную фотографию.

— Сынок...

— Чего тебе?

— Снимай-ка рубашку, мы ее продадим, — велела она. И я снял рубашку, доставшуюся мне от дядьки к дню рождения.

Хороша была рубашка, шерстяная и яркая, словно апельсин. Мне завидовали все мальчишки с нашей улицы.

— А что надеть? — спросил я, ежась на ветру.

— Ходи в ватнике, а мы...

И я понял маму: если что было возможно обменять в деревне на еду, так это рубашку или отцовское ружье.

Но ружье выгоднее оставить. Оно кормило нас дичью и будет еще кормить. К тому же я люблю стрелять.

А рубашка — это ерунда!.. Кончится война, и красных теплых рубах будут горы... Мать свернула рубаху.

— Пойдем-ка, отец.

Он встрепенулся с неприличной, даже хищной, радостью, чем поразил меня в сердце. Не то чтобы я любил рубаху больше него, нет, отца я жалел.

Он оброс светлой и толстой щетиной в эти четыре дня, здорово похудел. И лишь сейчас я понял, как отцу хотелось есть. И пусть ест! Что мне, жалко рубаху? Да ничуть!

Он потрепал меня по голове.

— Ты не печалься, мы поменяем ее на масло, сметану и огурцы.

— Попробуйте-ка, — сказал я. Отец прихватил с собой и холщовую сумку — надеялся на крупный обмен. Я вздохнул.

Обычно менять вещи на еду ходили в деревни мы с мамой. В этой деревне я бывал и знаю, здесь свиной совхоз. Все кусочки сала, что оставались на снятой шкуре свиньи, деревенские срезали и засаливали. Это и было их продуктом обмена на городские вещи — пальто, велосипеды, ружья. Огурцы и сметану они и сами не ели — коров не держали, огурцы выращивать не умели.

...Я надел ватник и затянулся ремнем. Взяв ружье, я обошел поле, все его закрайки — без надежды, а так, на удачу, авось что-нибудь попадется. Скажем, дрозд. Но повсюду я видел лишь угрюмые, грязные лица и реденькие сборища картофельных мешков: у многих урожай был еще хуже нашего.

Мы были — в масштабах этого поля — картофельными капиталистами. Ее нам хватит до середины зимы: мелкая картошка выгодна в еде — клейкая, и много ее не начистишь.

А если мама отпустит меня с Димкой на дальнюю охоту, то я привезу домой штук сто присоленных уток, и мы протянем эту картошку до весны. А вдруг я уло-

маю старика Викентьича, что торгует барсучьим жиром. Он возьмет меня с собой на охоту, и я настреляю барсуков. И мы сытно проживем зиму. Не нужно будет в морозы ходить по деревням.

Да, надо, надо кормить отца. Но раз он хочет масла, то нужна вареная картошка.

Я вернулся и стал разводить костер. Когда он загорелся, пустив дым, я лег с заветренной стороны и грелся.

Я дышал теплом и дымом и мечтал о соленых огурцах и сметане, которые не принесут мама с отцом. А вон, на лесной опушке, мои родители. Они идут быстро. Вот отец поднял руку и что-то блеснуло в ней, а теперь так ярко желтеет в отцовской ладони. Будто солнечное пятно вспыхнуло в этом сером, ветреном дне. Отец кричит:

— Настоя-ще-е мас-ло-о-о-о...

И все копальщики с завистью посмотрели на отца. Нечего завидовать, надо иметь красные рубахи.

И вот оно уже рядом, это масло. Топленое! Налито в четушку! Я беру четушку и гляжу сквозь стекло. И вижу, что масло крупитчатое и каждая его крупинка — звездочка. А в гущине масла (оно в середке полужидкое) ходят и свиваются какие-то спирали, будто кипит что-то.

Я знаю, что ходит. Сила! Она поможет нам докопать картошку, просушить ее и ссыпать в мешки. А затем кинуть их на машину, и даже самим забраться наверх, и быть счастливыми — картошка выкопана.

— Хорошее масло! — ликует отец.

— По запаху похоже на довоенное, — говорит мама. — С ним ты поешь картошку.

— Вы отдыхайте, — говорю родителям. — Я сварю картошки.

И вот они лежат на сене у шалашика, серые, как земля. Я же сбегал к ручью и быстро намыл картошки.

И вот сижу у костра и в котелке варю картошку. Собственно, варит костер, а все знакомые наши художники приходят, нюхают наше масло. И, шевеля носами, говорят, что пахнет оно божественно.

А отец уверяет, что если бы он ел такое масло, то выздоровел бы. Я же то и дело иду к нему от костра, беру четушку и нюхаю масло, гляжу на ходящие в нем спирали и не жалею свою рубашку.

— Не хотели давать, такой вредный старикан, у него одного корова в деревне. Но я настоял.

— А огурцы?

— Какие тебе огурцы? Масла, что ли, мало?

Родители дремлют. Я беру четушку и ставлю так, чтобы костер не грел, а только дышал на нее, превращая масло в солнечную жидкость. Потом мы станем есть картошку.

И вдруг тетерка!.. Вот перелетела поле и села у березняка, совсем рядом. Но там ее пугнули, и дура летит над полем, мимо меня, охотника.

И прямо на глазах садится, я даже увидел всплеск ее крыльев в картофельной ботве. Хватаю ружье: до тетерки метров сто. План охоты готов: я подкрадусь к ней, вспугну и подстрелю летящей... Вот будет жизнь! Вареная тетерка! Свежая картошка!

Отцовское тяжелое ружье в моих руках легче перышка.

Я крадусь... Где же тетерка? Она здесь, лишь бы не отбежала! Но хитрая тетерка вылетела сзади от меня. И пронеслась вдоль поля, опять села... Проклятие!

Я спешу, спотыкаюсь о какой-то чертов корень. Как он попал сюда? И снова тетерка, взлетев, опережает меня. И опять села на поле — такая странная тетерка!..

Затем она решительно полетела в березы, и дробь моих пущенных с отчаяния далеких выстрелов не задела ее.

...Бывают года удачные и невезучие. Этот год всем был плох для нас — отец болел, я нахватал двоек. Взять хотя бы эту картошку. И лекарства отцу не помогают, он все кашляет и кашляет.

Гоняясь за тетеркой, я не подумал, что год этот жесток к нам. А я должен был подумать, что неспроста же попала тетерка в место, где дичь выбита подчистую. Задать вопрос, почему она и взлетела-то ненормально, вверх, а там давала вираж. Так порядочные тетерки не летают! А потом увильнула от меня в лес.

Ушла тетерка... Одураченный и безнадежно несчастный, я шел к костру. Шел и думал, что в этом распроклятом году все идет боком: наши отступили, Димкин отец потерялся.

Издали я вижу копошащегося у костра отца. И мама тоже что-то делает. Что? Ага, картошка сварилась. Эх, подойти бы к ним с тетеркой, показать ее! А я шел с даром истраченными патронами.

— Я тебя бы разбила! — закричала мама.

— Тише, тише, — говорит отец.

Проклятый год!.. Среди нарубленных мной дров оказалось ольховое полено, стреляющее угольками. Они с хлопком выкатываются из горящей кучи дров и, случается, даже распахивают дверцу печи. А я-то его не заметил. Куда смотрели мои глаза?

Я подходил, а отец затаптывал полено, что укатилось к четушке масла. Бутылка, понятно, лопнула, и масло сгорело. От сладковатой его гари отец и проснулся и не увидел меня у костра... Он ничего не сказал, но в тот день я впервые заметил в нем покорное уныние.

С ним он и помер. И хотя я осенью землю носом рыл, добывая дичь, но это уже не шло ему впрок.

...Я смотрел на бутылочные осколки, на уходящие — дымом! — солнечные спирали.

Ни масла, ни рубашки — все ушло дымом вверх, к

серым тучкам. Проклятая тетерка! Злая судьба! Чертовы фашисты!

Я наказал себя — не стал есть горячую картошку и пить чай с сахарином. Я ушел и копал один.

Я вдавливал трезубое лезвие в глинистую землю, потом тянул ручку на себя: вспучивался глинистый ком, и появлялись лезвия лопато-вил. Разбивая глину, выбирал полузадушенные картофелины, бледные, жалкие, коростлявые. Складывал их в ведро.

Оно наполнялось медленно-медленно. «Не хочу есть, никогда больше не стану есть, пусть будут прокляты все пестрые тетерки, перестану охотиться и жить не буду, помру и все, так мне и надо», — думал я, всаживая вилы в землю... Пришла мама и стала выбирать картошку — работа двинулась быстрее. Затем подошел отец. Я отдал ему трехзубую помесь, а сам стал помогать маме выбирать картошку.

К вечеру, когда смеркалось, посыпался реденький снежок. Отец и мама ушли разводить костер и греться. Понятно, звали и меня, но я копал. От злости на себя я стал костяной, не уставал, даже руки не мерзли. А если бы и замерзли, то так мне и надо!

Темнело. Устав звать, родители ушли к шалашику. Я копал всю ночь и к утру прикончил наш участок. Тогда я лег у шаявшего костра и проснулся лишь в полдень от крика и шума: картошку грузили на машину-полуторку.

Грузили скопом, крича почти безнадежно под тяжестью мешков, сделанных из матрацной наволочки, на тридцать полных ведер картошки.

— Раз-два... взяли-и-и... У-ух!.. А-ах!..

...До города было недалеко, к вечеру шофер приехал вторый рейсом. Мы уезжали, навсегда оставив за спиной это поле, шалаш, кострище. И осколки четушки из-под удивительного масла. Но только не беды этого тяжелого года...

УДАЧА

Иногда приходит большая удача, но это понимаешь не сразу. А лет через тридцать вдруг спохватываешься и видишь, что удача одного дня была удачей всей твоей жизни.

Люди быстрого ума такой промашки не допускают, но если мысль бредет с палочкой, то понимание приходит всегда поздно. Но радуешься и этому.

Однажды такое было: навис туман, как дым. До полудня солнце его не пробивало, а только наполняло розовым свечением. Потом он рассеялся. Быстро. Только что был, и уже нет его, и все так далеко видно.

Но за это время произошло то, что в ясные дни не случается. Ведь туман не просто глотает землю, обрывая ее впереди тебя, он притемняет голову. Вот и мы тогда заблудились в тумане, хотя дорога была прямая. Мы шли на картофельное поле накопать молодой картошки.

Я нес лопату, мама — два чиненых-перечиненых мешка. На поле я подрою кусты, и, набрав по два ведра картошки в мешок, мы завяжем их, потряся, разделим картошку ровно пополам.

Затем перекрутим мешки посредине и, забросив их на плечи, унесем на станцию, а там увезем домой — еда кончалась. До поля было примерно семь километров ровной степи, и вела к нему почти прямая дорога.

Но в тумане мы спутались.

От станции отходило множество дорог, нам же нужна была та, что сначала шла мимо будки сторожа, мимо его лопат и метел.

С пригородного поезда мы сошли прямо в туман, а на перроне вдруг произошла какая-то суета, раздались крики. Кажется, в отходящем поезде что-то забыли.

Это произвело шум и сутолоку, а маму хлебом не корми, лишь дай побегать и покричать от нестерпимого

желания помочь. Я бегал рядом с нею, чтобы нам не разбрестись в тумане, таком густом, что он запросто сглотнул целый поезд. Когда мы вспомнили о будках и лопатах, то уже давно шли, а впереди нас бежала степная дорога с пучками полыни, тут же исчезающими в тумане.

Наша дорога или чужая, мы не знали, все дороги в степи похожи одна на другую. Потому и шагать по ней было страшновато. Но бодрая мама уверяла, что это ничего, мы придем куда-нибудь, и добрые люди скажут, где наше поле. Еще говорила, что туман произошел от лесных пожаров, что так бывает в августе, когда на севере горит тайга и дым застилает Сибирь.

Что такое семь километров для тощего хожалого человека военных лет. Ерунда! Но мы прошли семь и еще семь километров, а березовые столбики у дороги, которые отмечали наше поле, куда-то провалились.

Если бы не туман, пробравшийся в наши головы, мы должны были вовремя спохватиться и все начать заново: вернуться на станцию, найти будку с метлами и там свою дорогу. Мы даже говорили, что нужно бежать обратно, искать знакомую дорогу. Но туман вошел в наши головы, и мы оскорбились за себя, неужели уж такие бестолочи и заблудимся. Хуже, мы убедили себя, что идем почти верно, что туман рассеется и мы увидим поле. Даже, спрямляя путь, мы пошагали прямиком в степь.

Не бездумно: в сторону нашего поля шла не одна, а две понемногу расходящиеся дороги. В нормальные дни, шагая по своей, мы с ясностью видели соседнюю, даже фонтанчики пыли, что взбрасывали босыми ногами огородники завода радиодеталей. (Такие же фонтанчики видели и они, потому что мы тоже ходили босиком, сберегая обувь к осени.) Но чем дальше, тем больше расходились дороги. А затем наша описывала полукруг и приводила к полю. В этом месте, мы зна-

ли, дороги отстояли одна от другой на три-четыре километра. Их-то и решила спрямить затуманенная мама. Я же, как и все охотники от пяти до семидесяти пяти лет, всегда стремился к приключениям, к ходьбе вдаль.

К тому же мы сильно рассчитывали на прояснение.

И здесь, в степи, мы погибли окончательно. Если верить отцовскому «мозеру», что был посажен в моем кармане на цепь, было восемь утра, потом девять, десять, а туман не рассеивался.

Мы шли по травянистой, от веку не паханной степи, и нам хотелось есть. Но еда была на поле — картофель, который можно выкопать, а затем испечь в костре. Для него припасены соль и аптечный пузырек с растительным маслом.

Часов в одиннадцать, если судить по «мозеру» (и ворчанию наших желудков), мы уже роптали на свою неудачу. И не то чтобы устали.

Мне не раз приходилось с ружьем и патронташем, сгибавшими меня в дугу, исхаживать в день по сорок-пятьдесят километров, чтобы добыть какую-нибудь дичину. Мама на такие же расстояния ходила по деревням, обменивая отцовские рубахи и свои платья на еду. Пронять нас ходьбой было нелегко, а запугать километрами просто невозможно.

Но туман... Казалось, что он лег навсегда, что мы будем идти и никуда не придем. А отец и сестренка останутся голодными и помрут без нас.

И вдруг туман стал расходиться. Он быстро редел, поднимаясь и становился желтым. Солнце, что было за нашими спинами, отбросило на убегающий туман наши тени, громадные, будто мы были великанами.

...Да, путает головы туман. Громадны в нем поездные вагоны, будто уносящиеся в неведомый мир, и деревья похожи на пучки полыни, а те словно деревья. Проклятый туман в голове ли, на улице прятал или корежил все.

А мне была нужна ясность.

Я хотел ее, я дрался за нее: тогда я был сильный и злой мальчишка, заботящийся о пропитании семьи. От меня зависело все относящееся к картошке (мама лишь помогала).

Я садил картошку, окучивал ее, копал. И мешки грузил в машину тоже я — двадцать или тридцать кулей — не хуже взрослых.

А еще я охотничал. Я выслеживал дичь, стреляя ее из отцовского ружья. Охотился в одиночку в свои пятнадцать лет, бродя по лесам, бывая в поле, на берегах рек. И пока ясно видел все вокруг, ничего не боялся.

Ни-че-го!

...Туман поднялся и открыл незнакомое место. Мы увидели поблескиванье воды и темные избы деревни.

Деревня! Озеро!

Значит, найдутся люди, которые скажут, как нам идти к картофельному полю. Но могут и наврать.

Я знал, есть деревни добрые, в которых покормят даром.

В иных живет люд недоверчивый и злобный. Там могут обмануть и даже отобрать вещь, принесенную мамой на обмен. Конечно, если рядом нет меня, взъерошенного, верткого, злого. Моя городская голодная озлобленность поражала деревенских мужиков. Они говорили:

— Тебя я соплей перешибу.

— Попробуй, — отвечал я, подбираясь ближе и зная, что военный хилый мужик не устоит перед жестокими приемами наших драк

— ...Неудачники мы с тобой, — говорила мама, но я молчал, злобствуя на туман, на нашу безголовость. Еще во мне сидел вызов неведомому, тому, что близилось с каждым шагом.

Какие люди здесь? Добрые? Злые? «А ну попробуйте обидеть!» — топорщился я.

Но когда долго не везет, то приходит и удача. Мама, шагавшая со своими мешками, вскрикнула:

— Что это?

В траве лежала, раскинув крылышки, красивая уточка, мертвый чирок-трескунок.

Я охотник и многое знал об утках, а в особенности о чирках. Их было проще встретить на весенних пригородных лужах.

Охотясь, я чирков влет не стрелял, носились они с громадной скоростью, хотя были величиной с голубя. Я охотился на чирков скрадом, бил сидящими, ползя к берегу на брюхе, пока не оставалось до уточки метров пятнадцать-двадцать.

Умерший чирок... Все равно к мертвому ли, к живому чирку я питал большую нежность. Обожал их, убивая, и не задумывался почему. Как и все охотники.

Я любовался уточкой. Мама всеми запылившимися по дороге морщинками тоже смотрела на нее. И вдруг задала женский вопрос:

— Почему он умер?

А я почем знаю? Может, заблудился в тумане. Не зная, где низ и где верх, он расшибся о землю.

— Есть его можно? — спрашивает мама.

— Дохлого! — возмущаюсь я.

— Ну, если он не совсем протух, — бормочет она. И я делаю то, что делает каждый охотник, найдя убитую птицу: он раздувает перышки и смотрит, куда попала дробь. Я тоже дую и вижу кровяные следы дробинок: чирок был ранен выстрелом. Это понятно, вот озеро и деревня, и в ней охотник.

— Он застрелен, — говорю я, и мама начинает улыбаться. Ведь каждого убитого мною чирка она делит сначала пополам, а затем еще и еще. И каждую часть варит в полуведре картофельной похлебки.

Ладно, убит... Тогда проверим, давно ли убита красивая уточка. Она еще тверденькая, не отмякла. Значит,

недавно. Может, она подбита вчерашним вечером, но улетела и умерла в степи? Остается самое важное испытание. Мама раскрывает плоский клювик и приближает к нему свой заостренный голодом нос. Нюхает долго. Затем нюхаю я, и снова она. И мы улыбаемся друг другу — уточка свежая.

Во удача! Добыть дичь, не истратив не единой дробинки!

Что там картошка! Она в земле, не убежит, а вот чирок...

— Спасибо тебе, туман, — говорит мама, а я прячу уточку в «сидор», и мы спешим к селу: напиться колодезной воды и узнать дорогу к нашему полю.

И вот мы пьем холодную, до боли в затылке, воду, а хозяйка колодца, курносая старуха, глядит на нас. Потом она заговорила с мамой, сначала о тумане, откуда такой, о войне, семьях. Старуха безжалостно и подробно выспрашивала маму о хвором отце, о сестренке.

— Почему тощий парнишка? Чахоткой болен? — допытывалась она. А мама такая, с ней только заговори, и она все выкладывает, со смехом, с вскриками, слезами.

Вот и сейчас она рассказала все до ниточки, а я стоял и молчаливо презирал ее.

Старуха, слушая, подперла щеку рукой. Сама она длинная и худая, и лет ей, наверное, двести. Вон как ее морщинками перепахало! Она слушала и кивала: да, да, и в городе тяжела война... Подошел и стал слушать маму зеленый дед, подбежал парнишка с меня ростом, только в плечах пошире, и тоже стал. Распахнул рот, будто калитку.

Они жадно впитывали неудачливую историю нашей семьи.

— А отец при смерти? — сказала старуха.

— Болен он, болен...

— А сына спасешь?
— Детей я сберегу.
— Государство помогает?
— Обед по талону дают.

Эх, увести бы мамку! Но разве ее теперь утащишь...

Но как хорошо, что я не увел маму, замечательно, что ее слушали старик и парнишка с круглыми глазами. Прекрасно, что в русском человеке есть та доброта, что обволакивает все шершавинки мира, этим смягчая их и давая возможность жить.

Мне было пятнадцать лет, и я хорошо знал, что деревни в сосняках и березовом лесу населены людьми благодушными, те, что поставлены около комариных болот или в глухом лесу, сердиты и скучны. Я знал, что степной человек хитер и скрытен, он словно бы городит в себе те деревья, что укрывают от беды живущих в лесу.

И так же хорошо знал, что всюду есть и злые и добрые: и около болот, и в лесу, и в степи. В этот день туман привел нас к добрым людям.

И ежели теперь я, поживший человек, внутренне холодею, страшась увидеть новую жуть человеческой истории, то вспоминаю старуху и ее зеленого деда, предложивших нам — даром! — кровь телки, что они закололи.

Когда мама сказала им, что нет, не донести кровь в город, испортится, они подарили нам половину головы телки, объевшейся клевером. Да, да, нам дали половину несчастной телячьей головы и показали дорогу к картофельным полям. И мы, легкие и почти бесплотные, пробежали сначала в поле. Оттуда же, взвалив на плечи мешки, рванули на станцию, к будке и метлам, решив, что ладно, поедем голодными, зато накормим отца и сестру.

А когда, устав так, что шевелился только язык, мы садились у дороги и отдыхали, мама говорила сразу о

всем: о доброте людей, о телячьем студне, о том, как его делать.

— Во-первых, нужен чеснок, и не забыть бы сказать Семенихе, чтобы, молясь, она попросила лет десять жизни той старухе и ее старику.

А еще мы бредили о супе из головизны, о жареном с картошкой чирочке.

...Пригородного поезда ждать было долго, и мы уехали даром. Взобрались на буфера одиноко стоявшего паровоза, а тот помчался в город почти без остановок.

Паровоз ревел и дрожал, будто хотел стряхнуть нас на рельсы. Мы цеплялись, ноги ерзали по железу, руки наши слабели, клубы то дыма, то пара обволакивали нас. Из тендера, обдуваемого встречным ветром, осыпало угольными крошками.

Появился на тендере кочегар. Он что-то крикнул, но мы не услышали его. На первой остановке к нам подошел машинист, перемазанный с головы до пят черным маслом. Он сказал матери:

— Тебя же ветром сдует, бабка.

— Не сдует, милый, — ответила мама. — Удержусь.

Но было что-то странное в ее голосе. Что? Я взглянул на маму и впервые увидел сухонькую, пыльную, озабоченную старушку.

Мама старая...

Это меня как-то придавило, будто я на плечах держал не два, а четыре ведра картошки. Домой я шел молча и не слушал, как она будет кормить нас жареной, нет, тушенной в духовке уточкой.

...Вот какой в жизни был счастливый туман. Он привел меня к добрым людям. С тех пор их доброта берегла мою жизнь, стоила она того или нет. Но понял я это, лишь постарев.

Да, часто силу жить дает мне знание, что доброта и есть тот слон, который держит наш яркий, милый, пропитанный горечью мир.

СВЕТ И ТЕНЬ

1

Когда наметили открытие выставки (откладывали ее раз десять), шла зима с желтым небом, средней глубины снегами и нестерпимым их блеском.

В такой день Горшков, в черных очках, похудевший и словно выросший из старого зимнего пальто, нес картину на выставку. Помогал ее нести сын, Колька-Молчунок.

Картину они обернули двумя бязевыми вечными простынями, перевязали веревками крест-накрест. И по несли, жмурясь на встречный ветер.

Не хотелось Горшкову показывать ее, но выставка... Оконченное полотно требует показа людям. Горшков и так задержал: покрывал холст лаком. Работа была деликатная, утомительная, приятная.

Они несли картину: впереди шагал Колька — быстрыми мелкими шагами, за ним пыхтел Горшков в новых жестких валенках.

...В зале они поставили картину, сняли веревки и простыни. Горшкову было страшно — рядом стояла картина Птушко. Огромная картинища! И как сработана!

Горшков решил, что соревнование он проиграл.

2

Горшков жил на окраине города, и ему это нравилось. Во-первых, народ еще не городской, но уже и не деревенский.

Все, все у них городское: и приемники скрипят, и антенны телевизоров выставили рога, и мотоциклы, будто кони, поставлены во дворах.

Вполне городские люди! Но и деревенские в то же самое время — живут в своих домах, у каждого есть двор с яблонями и зеленая плесень мхов на тесовой крыше.

Были дома, вылитые из шлака с цементом. Крыши их покрывали черепицей, похожей на чешую вымерших ящеров, либо черным толем в несколько слоев.

Толь — хрусткая штука. Бывало, разойдется, разгуляется ветер. В центре он оборвет провода да расшибет в ледяные клочья незакрытые окна. А здесь и деревья трясет и крыши. И толь сорвет, пустит лететь по воздуху огромнейшей черной птицей.

Потому и нравились окраинным жителям тесовые, плотно сколоченные крыши: и тепло, и надолго положено.

И художникам нравились: в дождь крыши темнели, в ведро блестели вытопившейся смолой, а вечерами мох, прошедший пазами крыш, обретал цвет ржавчины. Глаз радуется!..

И в огородах сущая благодать: морковки, редьки, томаты, подсолнухи. Напрягая шершавые, мускулистые шеи, они поворачивали головы за солнцем, ловя его широкими лепестками и теми мохрушками, что прикрывали вызревающие семена.

Любили художники окраину. Они приходили с деревянными треногами и раскладными стульчиками. Поставив треножники, развинчивали тюбики с красками. Пуская запах скипидара гулять по улице, писали голубятни, тополя, желтые подсолнухи. И, кивая друг другу на краны строителей, говорили: «Надо спешить, это уходит».

Горшков объяснял подробнее:

— Исчезает окраина, наступает город, теснит. Надо поскорее зарисовать и сберечь красоту окраины нашим правнукам.

— Рад, что ты хоть это понимаешь, — отвечал Птуш-

ко, набирая на кисть краску. Он не любил Горшкова, считая его пишущим по старинке чудаком.

— А солнце-то, солнце, — говорил, крутя головой Горшков. — Слепит! А ты черно пишешь. Говори, зачем сажей пачкаешь холст?

— Это сложное дело, объяснять, — отвечал Птушко.

Нет, не любил он Горшкова: непостижимый тип! Живет здесь, а мог бы переселиться в центр. Огород возделывает глупо. Надо посадить сладкую, с витамином, морковь, благоуханные огурцы и высокие, цеплявшиеся за палки томаты. Горшков же сеял одни подсолнухи. Их в горшковском огороде полным-полно. Разных: величиной с палитру и маленьких, черномазых, с фиолетовыми лепестками.

Осень, а случалось, и зиму, горшковское семейство щелкало семечки этих подсолнухов, если пейзажи Горшкова не покупали.

Птушко в добрые минуты не раз манил его в центр. Но Горшков твердил о бархатистых тонах, о чародействе дождей, о подсолнухах.

— Одно меня обижает, Вася, — говорил Горшков. — Я солнце люблю, а оно ко мне приходит последним. Поднимаясь, оно освещает самолеты. Что же, я не обижен, высоко залетели. Потом греет телевизионную башню, которую я ненавижу: сколько теряют люди! Они мало бывают на улице, красота ее гибнет незамеченной.

— Я смотрю на то же самое противоположно, — говорил Птушко.

— Когда солнце поднимется выше, лучи его падают на городской центр. Последним иду я. Есть и другая обида — все могу написать, а солнце нет, краски тусклы. Но вот солнце лежит на моей крыше.

— На дырявой крыше, — язвил Птушко.

— Я прикрыл дыры старыми этюдами, — возражал Горшков. — Дождь не пробивается... Солнце по крыше

ручьями скатывается в огород и падает на подсолнухи. Затем начинают светиться тыквенные и огуречные цветы у соседей. И каждая травка просит солнца. Кстати, ты не думаешь, что в травинке проступает человек?.. Мы с тобой, например?..

— Не думаю, — отвечал Птушко, кладя следующий мазок. — А солнце ты пиши белилами, вот и все!

Он начинал сердиться на Горшкова, мыслящего невнятно. Оттого тени, крыши и деревья казались ему синее, чем были на самом деле. «У меня синее настроение, — соображал Птушко. — Пусть и уличный пейзаж будет синий».

— Солнце, солнце... Не забывай роль тени, — ворчливо говорил он.

— Но мы, живописцы, дети солнца, — отвечал Горшков, улыбаясь. Птушко скосил глаз и заметил на его носу шелуху сгоревшей кожи.

— Твое солнце, дай ему волю, сожгло бы все. Тень родит жизнь. И какое же ты дитя солнца? Ходишь босиком, рубашку на груди не застегиваешь, не уважаешь ты звание живописца. Погляди на меня — я всегда в костюме и при галстуке.

— Ты прав... — соглашался, конфузясь, Горшков и застегивал ворот.

Ему было весело. Солнце, когда он смотрел сквозь ресницы, становилось то зеленым, то черным. Играло с ним.

«Отчего умный Птушко пишет солнечную улицу черной краской? — задумывался Горшков и не понимал. — Быть может, в черноте зарыта мысль?»

— По-моему, — говорил он. — Каждая мысль светозарна и выражается ясными красками.

— Нет! — отвечал Птушко. — Мысль плотна и тяжела. Как тень, в которой мы отдыхаем, как сталь. Сталь можно отполировать, и она заблестит. Ее можно отложить до времени. Мысль плотна и крепка, такое

мое убеждение. А световые кванты?.. Унеслись и нет их. Но ты мне мешаешь.

— Прости... — Горшков уходил домой рисовать пейзажи.

3

Посреди комнаты стоял мольберт, в окно било солнце, по крыше, стуча пятками, бегал сын. Горшков писал — по этюду — реку и по ней плывущие лодки.

Вода принимала в себя розовый цвет солнца, а лодки вбирали в белизну своих бортов небо.

В лодках сидели голые по пояс рыбаки, кожа которых была и розовая и голубая в одно и то же время. Но солнце... Горшков понимал: солнце не может быть нарисовано, оно выражается только в светозарной мысли, вложенной в картину. Мысль... Птушко всегда думает, всегда размышляет. Но мысль его тяжела.

— О чем я думаю, когда пишу? — спросил себя Горшков. — И думаю ли вообще?

Он стал перебирать этюды: на одних написано небо, на других — река, на третьих — лес. И всюду солнце. А мысль?.. «Я люблю тебя, солнце»?.. Горшков разбросал этюды по полу и ходил между ними, за ним бродил кот Филька, взодрав пушистый хвост.

Да, в каждом этюде он пытался поймать солнце, ловил его, но солнце было рисованное, а не горящее.

— Слаб я, — бормотал Горшков. — Слаб!

— Мрм, — соглашался Филька. Зеленые его глаза были прижмурены, усы огромны, шерсть отвисла до пола.

— А тебе, брат, жарко, как Птушко, — сказал ему Горшков. И ужасался: — Какой я художник, если нет у меня мысли? Люблю солнце! Это не мысль, а ощущение.

— Мрм-мря... — Филька, утешая Горшкова, потерся о штанину.

— Я бездарный, — сказал Горшков, как все художники, любивший ругать себя. — Но чем рисовать солнце?.. Какими красками?..

4

— Вот дом еще напишу и уйду, — решил Птушко.

Птушко не мог писать не думая. Временами ему даже казалось, что каждым мазком на холсте он говорит слово и его картину можно читать, словно книгу.

Работая, Птушко говорил с собой.

— В этом доме, — рассуждал он, — живет старушка с дурным глазом. Так сообщил Горшков. Старухи не видно, но я должен отметить ее проживание в доме. Чем?.. Итак, дом, старуха... Как это передать? А вот как — дом обязан походить на старуху. Пусть будет дом-старуха с недобрым окном, то есть глазом. Я должен передать присутствие старухи цветом, но с иронией: кто верит в дурной глаз? Решено: пишу дом черным цветом с проблесками синего, красного и желтого. А окно сделаю глазом. Так глядит уходящая окраина.

Птушко перемешал краски, подцепил их кистью, и дом стал похожим на горбящуюся старуху.

— Молодец, старик, молоток! — хвалил себя Птушко. И закрыл шкатулку: ему хотелось пить холодный квас в густой тени и рассуждать о живописи с чудаком Горшковым.

— Зайду к нему, — решил Птушко.

5

Дом Горшкова стоял в глубине двора.

Птушко шел по дорожке. Видел: каждое дерево, каждая травинка бросает тень и ею прикрывает землю от солнца. «Вот она, спасительная роль тени!»

Горшков в одних трусах любовался подсолнухами.

Жена его, сидя на корточках, щипала растительность с грядки — одна морковная грядка все же была.

— Здравствуйте! — сказал Птушко. — Опасно работать в жару, я чуть не сварился.

— Пойдем в тень, — сказал Горшков.

Они ушли в тень большой яблони, там пили холодный чай и ели оладьи, смазывая их медом. Закружились пчелы. На ветке тряс крыльями, требуя еду, знакомый воробьеныш Горшкова.

Птушко рассказывал Горшкову о тени, умирающей окраине и доме-старухе. Он снял с шеи галстук и кинул его на веточку, снял пиджак. «Куплю-ка я себе дачу, — думал Птушко. — Там буду пить чай и кормить оладьями воробьев».

Горшков думал, насколько умнее его Птушко. «Мне бы такую голову!» — завидовал он.

— Ты говорил о светоносной мысли, — разглагольствовал Птушко. — Это, знаешь ли, метафора, поверхность мечты. Чем ты сможешь выразить ее на холсте? Провертишь дыру в холсте и поставишь лампу?

— Не знаю, — сказал Горшков.

— Вот то-то же! А я свое мнение о тени могу спокойно выражать красками. Хм, знаешь, мне пришла в голову идейка... Давай-ка сразимся, а? Я беру мысль реальную, плотную, а ты светоносную. Старик, мы напишем окраину, я свое мнение — она вредна, а ты свое — да живет окраина! Согласен?

Горшков смотрел в широкое лицо Птушко. Они вместе учились, потом разошлись: Птушко гремел на выставках, он копошился в своей мастерской.

Насмешливы глаза Птушко, до железной синевы выбриты щеки. А рука, держащая стакан, а плечо?.. Сильный человек сидел перед ним.

Этот все напишет.

А если согласиться?

— Старик, этим предложением я тебе открываю го-

ризонт славы и опасности: ты не писал картины, все пейзажики. И предупреждаю: победит тень.

— Светозарность!..

— Вот и покажи светозарность окраины, я же сделаю ощутимость ее. Ну пока.

6

Смеркалось... Текла по улице мутная река сумраков. Горшков пошел нагулять сон. Ему было приятно идти — все знакомо, родственно...

Всплыла луна, похожая на тыкву, скрипела транзисторами гуляющая молодежь, бегал вдоль улицы сын Колька, раскидывая руки, хотел взлететь, как он сам когда-то...

Горшков размышлял... Хорошо, картина. Но справится ли он? Ведь картина растет, как дерево: семя, корни и так далее. Любое дело прочно годами работы, но Птушко работает быстро, и выставка на носу. Горшков вернулся к дому, и лопухи касались его, а табак раскрыл белые звезды своих цветов.

И Горшков вдруг увидел будущую, написанную им картину: улица светится в широкой темной раме.

Горшков видел около нее людей, там был в сверхмодном галстуке Птушко. Он кривил железную щеку и ругал Горшкова, говоря, что одна гравюра честно сознается в том, что нам не по силам отобразить краски мира.

— Светозарность... — шептал Горшков. — Нужно заставить краски светиться. Но как?

Он схватил себя за толстые щеки.

...Пришло утро. Заря разбросила крылья над городом. Проносились, мигая плоскостями, самолеты. Раскалялся шпиль телебашни.

Горшков проследил утро — серое небо, движение по нему пятен и красных полос, а затем возгорание солнца.

«В конце концов это как и у нас, живописцев, — думалось ему. — Сначала серый льняной холст, затем его мажешь грунтом, делаешь подмалевок. И наконец пишешь картину. Так и солнце. Оно великий живописец, я малый».

7

Горшков дело не откладывал. Позавтракав, он стал вычислять размеры будущей картины. Она не должна оглушать зрителя размерами, а обязана тихо вбирать его внимание. Значит, размер ее должен быть для большой комнаты или малого зала, а холст самого мелкого зерна.

Горшков пошел в магазин, где продавали льняные ткани. Отличные! Одни были приятны глазам, другие — рукам... Наконец он зашел в уголок, где были повешены ткани поплоше — полосатая бязь на матрацы, образцы льняного холста, зеленовато-серые и плотные.

Горшков смотрел их, изучал, как шла нить. Он тянул, пробуя, уступчива ли ткань. Наконец выбрал и подозвал продавщицу. Девушка с нарисованными глазами осмотрела простоватого Горшкова, зевнула от скуки и выписала талончик.

Этот холст, если отодвинуть его подальше, сильно походил на предутренний сумрак.

— А вот мы тебя загрунтуем, — сказал Горшков холсту. — Сначала тянем на подрамок и... того.

Он взял рейки, разметил их, отпилил. От сыплющихся дождиком опилок поднялся запах дерева — смолистый, бодрый. Горшков взял рубанок и сощурился... Пустил первую стружку. И, как всегда при такой работе, Горшков запел; с забора вверх полетели воробьи. Стружки, падая на пол, корчились. Пришла жена и стала брать их на растопку.

— А ты весел, — сказала она, улыбаясь.

— Как вор-воробей, — отвечал Горшков.

Выструганные рейки Горшков сбил в подрамник, в уголки его вделал клинышки. Теперь, если натянутый холст ослабнет, подбив клинышки, можно сделать его снова упругим. Горшков сбрызнул холст водой и натянул на подрамник.

Он брал край холста щипцами-плоскогубцами и натягивал. В этот момент сын молчаливо ставил гвоздик и стукал по нему молотком.

— Последний нынешний денечек, — пел Горшков.

На следующий день он сварил клей для грунта. Особенный. За ним ходил к Птушко: тот славился качеством своих художнических припасов. Был у него и рыбий клей. Отсыпая в бумажный кулек, он спросил Горшкова:

— Что, заказ?..

— М-да, — ответил Горшков.

— Трудись, старик.

8

— Но тебе не кажется, что денежную работу нужно брать зимой? — спросил Птушко. — А летом полноценно отдыхать.

— Зимние дни коротки, — отвечал Горшков.

— Их я продляю лампой дневного света. Это удобно, купи себе. Ее спектр близок солнечному.

— Интересно! — оживился Горшков.

— Так что же ты затеял?

— А я, — сказал Горшков, — за картину принялся, как мы договорились: улица, соседи, березки в огородах.

Птушко потер грудь ладонью — сердце больно кольнуло.

— Справишься? — спросил он. — Не принимай близко к сердцу тот разговор.

— Я буду писать, — сказал Горшков. — Пейзаж и жанр, соединение города и природы на окраине. И солнце, конечно.

— А деньги? — напомнил Птушко. — Большая картина — большая работа, а семью надо кормить. Где ты возьмешь деньги?

В самом деле, о них Горшков не подумал. Деньги... Он даже вспотел.

— А ты мне не дашь взаймы? Рублей сто.

Птушко обрадовался: просьбами денег Горшков признавал, что плохо разбирается в деле жизни. И, помогая, Птушко дополнительно возвышался.

— Дам пятьсот, — сказал он. — Сам принесу. А что писать-то будешь, откровенно?

— Окраину, солнце.

— Окраину! — вскричал Птушко, до сих пор не веривший. — Но как будешь рисовать, если... — начал он и остановился, у художников это спрашивать не полагается. Поправился: — В каком... размере?

— Для небольшого зала.

— Но ты же теряешь в силе воздействия на зрителя! Простейшая логика! А тон картины?

— Она будет светиться.

— Понимаю, светозарность... Но предупреждаю, ты сработаешь световую обманку. А вот я бы стал писать огромных размеров черную гравюру. Но каждая черта, каждый штрих картины — это слово, это отходная окраине, это мысль о городе будущего. И несколько красных пятен придадут тревогу, и несколько синих протянут в картине звенящую ноту вечности... Ладно, мы посоревнуемся с тобой, старик. Я тоже берусь. А деньги сниму с книжки и принесу. Трать расчетливо.

— Спасибо.

Горшков простился и ушел, думая, отчего у него нет сберегательной книжки?

— ...Где ты был? — спросила его жена.

— Куда ходил? — закричал Колька.

Горшков рассказал им и стал распускать клей в горячей воде.

9

Зрел грунт, готовясь принять краску. Но через болтливого Птушко всем стало известно намерение Горшкова писать окраину и солнце. Художники заволновались: сломает шею, чудак, а поднимется ли? Все же семья. Они заходили к Горшкову, будто нечаянно. Пили чай и вели с ним разговор об опасностях такой работы.

— Как писать солнце? — спрашивали они. — Поднимешь ли?

— Попробуем, — отвечал Горшков.

— Ну-ну, — говорили художники. — С пупа не сорви. Нашему бы теляти да волка поймати.

— Поймаю, — отвечал Горшков и решил картину на мольберт не ставить: придут, будут сочувствовать или ругать, портить настроение. Пусть мольберт держит на себе ерундовую картину; полотно он привесил к стене.

Он вбил посредине рамы два гвоздя и образовал этим продольную ось картины.

Другую пару гвоздей он вколотил в стену и привязал к ним два крепких шнура. И концы шнуров — к гвоздям, высовывающимся из рамы: получилась вертушка.

Чуть кто приходил, брал Горшков картину за край и переворачивал лицом к стене. А картина не человек, ее с затылка не узнаешь.

10

Птушко, предчувствуя победу, подобрел к Горшкову. Однажды замечтался, будто со сверточками приезжает в горшковское семейство. Жена Горшкова срочно варит картошку и кипятит чай, его Ириша тоже участвует:

нарезает севрюгу и раскладывает на тарелку. Затем варит креветок с укропчиком и перцем.

Горшков же, красный от благодарности и смущения, откупоривает бутылки с пивом, тоже привезенные Птушко. Младший Горшков смотрит удивленными глазами на этот натюрморт.

Затем они пьют чай под яблоней: Горшков повесил в ее листьях пятисотсвечовку, и лампа рождает световые эффекты в листьях, целых или свернутых насекомыми в трубочку.

И, вдохновленный крепким чаем, обнял бы он Горшкова за плечи и прошептал на ухо (чтобы жена не услышала):

— А ну их, эти пятьсот рублей. Не последние! Никогда и ничего я тебе не дарил в день рождения, вот и забери их. Лады?

Горшков станет отказываться, а потом многословно благодарить. А он, Птушко, будет втолковывать, что без Горшкова не взялся бы за тему окраины. Или взялся бы слишком поздно, когда ее снесли. А время-то уходит, его впитывает вечность.

Горшков морщит лоб и суетится душой. Благодарность к Птушко плющит его, как камбалу. У Птушко же отличное настроение.

— Спасибо, друг, — говорит ему Горшков. — Без твоего клея, без пятисот рублей не смог бы я приступить к работе. Пусть неудача, но и высокая жизнь!

Птушко отвечает ему:

— Безумству храбрых, как говорил Максим, мы поем песню и каждый свою. Я рад тебе помочь. Кому-нибудь другому я бы еще посмотрел, а ты добрый человек. Кого ни спроси, все говорят, что ты добрый. Я уверен, что и кот твой, и подсолнухи, и воробьи, и лес, поле, река — все знают тебя, доброго человека.

— ...Нет! — вскрикнул Птушко. — Он денег не примет. Провал потерпит, будет семечки щелкать, а деньги

мне вернет. И потому, что не может понять: мне деньги достаются легко.

Но Птушко все сделал: и закуски добыл, и прихватил жену, и приехал в своей «Волге». Был чай, картошка, лампа (не в пятьсот свечей, а двести пятьдесят).

И, гуляя с Горшковым по мокрой от росы дорожке, где репьи хватались за брюки, он сказал:

— Вот тебе деньги. С отдачей не спеши.

Ощутив протестующее движение Горшкова, добавил:

— Жена им быстро ножки приделает.

Гулять по дорожке было хорошо. Летучие мыши не садились на белую рубашку, запахи белых табаков улетали к звездам, казалось, ходили среди них серебристыми облаками.

Птушко на миг показалось, что и он там, в черноте поднебесья, а тайны космоса глядят на него открытыми глазами.

И Птушко стал втолковывать Горшкову, что ночь благо.

Горшков слушал, хотя ему было скверно. Он страдал: креветки и севрюга вместе с кетовыми икринками гонялись в желудке друг за другом, вызывая неприятные ощущения.

— Смена дня и ночи, — диалектика мироздания, — втолковывал Птушко. — А ты хочешь одномерности солнечного дня. Нехорошо, старик.

Он подумал о своей картине — вот бы написать ее размером от той звезды и досюда. А?

— Там что за звезда? — спросил он Горшкова. Тот икнул и ответил, что в голову пришло:

— Альфа Центавра.

Ирина Птушко в это самое время говорила с женой Горшкова.

— Скажите, милая, как вы делаете растертую калину? Я тоже хочу удивлять своих гостей.

— Муж осенью набрал калины, а я ее протерла с сахаром.

— Вы мастерица. А салат? Он слегка горчит и все же очень приятен. Какая в нем тайна?

— Я добавляю листья одуванчика, муж неравнодушен к ним, он видит в одуванчике образ солнца.

— Очень мило, — говорила жена Птушко. — Очень. Ваш муж оригинал.

— Дорогая, не пора ли нам домой? — сказал Птушко, вдруг захотевший немедленно рисовать картину.

— Прощайте и заходите к нам, — говорила жена Птушко.

11

За руль села жена, Птушко смотрел на отражения фар. Бегучий свет мерцал на асфальте, но подчеркивала его тень. Не будь ее, и понятия света не существовало бы.

— Чудаки они, — сказала жена. — И как на севрюгу кинулись. Икра, я заметила, им тоже пришлась по вкусу.

Птушко ощутил злобу.

— Странно, — сказал он. — Очень странно. Я помню тебя тощей студенткой, большой любительницей поесть. Счета в ресторане бывали изрядные.

— Прости, я сказала не думая, — прошептала жена, но Птушко не расслышал ее.

— Странно, странно... А что ты сделала с сыном? Вбила в его голову, что ему можно, не заработав ни копейки, носить костюмы, о каких Горшков даже не слышал! ...Пора, пора все опрокинуть, — злобствовал Птушко. — Вот уйду на творческую работу, и посидите вы, голуби мои, на картошечке. А когда продам картину и куплю ветчинки, грамм этак двести, вы ее сожрете причмокивая.

Тут машина остановилась, они приехали... Пока жена стелила постель, Птушко бродил по квартире: все не нравилось ему. Работа будет тяжелой. Готов ли он к ней?

— Надо и жизнь, и себя очистить! — ворчал он.

Птушко не ложился всю ночь, со злобой рассматривал мастерскую. Лампы дневного света нужны, слов нет. Но к чему здесь понавешены тряпки? Даже поставлен бар?.. К черту!

Завтракая, Птушко смотрел на жену: в ушах ее золотые побрякушки, и это для выхода в магазин!

— Странно ты на меня смотришь, — сказала жена.

— Странно, странно... — передразнил он. — Я подумал о человеке, имевшем твердое мнение о золоте и его роли в мире.

— Ты хочешь писать его? — догадалась жена.

— Пока нет, но Горшков расшевелил меня. Видишь ли, мы устраиваем некое соревнование, и невольно он подтолкнул меня к новой картине и, уверен, к славе. Близкой.

— Горшковы — добрые люди, — говорила жена.

«Странно, — подумалось Птушко. — Если разобраться как следует, его идея света, проникающего всюду, безжалостна и зла. Но добрым зовут его, а не меня. А солнце жжет, и если его слишком много, то получится не земля, а обугленный Меркурий. Надо поразмыслить о роли тени».

Чего-чего, а головой работать он умел. Настолько, что даже учитывал вред города для спокойного размышления.

— Здесь слишком много яда для ума, — объявил он жене. — Шум, телефон, ядовитость стен, в которых мысли застаиваются. Словом, я уезжаю на природу. Проветриться, подумать...

— Куда же?

— Сам не знаю. Купи дня на три продуктов.

12

Птушко верил: решит задачу! А вот Горшков странный тип, пренебрегает работой мысли, все постигая чувством.

Прихватив удочку сына, Птушко рванулся из города. Он ехал, подминая машиной столбы света, — дорога шла зеленым лугом.

Километров через пятьдесят Птушко свернул к реке. Он долго выбирал место и нашел его в окружении тальниковых кустов, над омутом. Солнце просвечивало воду, и Птушко увидел ходящих среди кувшинок подъязиков с красными плавниками.

Не спеша Птушко развел костер, закинул удочку. И входили в него тишина и солнце, и уходила вон городская суетливая хлопотня.

...Дней пять он жил на берегу реки, купался, полеживая на солнце, спал в машине. Голова отдохнула, и мысли его взбурлили.

Надо писать дом-старуху... Ура! Догадался!

— О, я умен, — ликовал Птушко и решил писать картину-гравюру, применив лишь красную подсветку.

13

Приехав в город, он сходил к знакомому физику спросить, существует ли вещество, поглощающее свет целиком.

— Зачем тебе световая ловушка? — удивился тот.

— Мне нужна особая краска, чернее черного.

— Не могу помочь, старина.

...Птушко ушел на завод, наблюдал за обработкой металла.

— Если растереть железо в краску, что будет? — спросил он технолога.

— Грязь.

Тогда Птушко утвердился в замысле рисовать картину, как гравюру. Но словами, выписывая ими штрихи. Пусть те несут сразу два груза: и художнический, и тяжесть информации.

О, он такое скажет картиной!..

Птушко переделал комнату — убрал все, что напоминало разнообразие солнечного спектра. Маляры за сто рублей выбелили стены до снежной белизны и выкрасили пол сажей. Единственным ярким пятном были красные георгины, что ставила жена в простую вазу.

Пока уходили из комнаты запахи покраски, Птушко искал.

Три краски разыскивал он: белую, черную и красную. Ему был нужен тяжелый оттенок черного цвета, пронзительная белизна и краснота, как пожар!

Белила он заказал химикам, сажу брал в трубе Горшкова, а киноварь привезли друзья — английскую. Только щепотку, поставить в нужном месте нужный мазок. Он растер ее с льняным маслом — краска горела огнем...

Когда он все подготовил, он заперся в мастерской. И пошли гулять в Союзе слухи о затворничестве Птушко. Говорили, что, выходя обедать, он запирает комнату (это была правда); что-де поселил он в квартире взятого напрокат тигра и тот съедает в день пуд сырого мяса. А когда гуляет вечерами, то из глаз Птушко брызжут отсветы творческого пожара и освещают ему путь в темноте, как фары.

Нет, Птушко не светил глазами, тигра не держал. Он работал, работал, работал. Это он умел — много работать.

Горшков как-то пришел к нему сказать, что деньги скоро не отдаст. Но Птушко не захотел видеть Горшкова.

— Ладно, ладно, — говорил он, не открывая двери.

И Горшков не обиделся, у него были и свои проб-

лемы. Картину он писал такую: по окраинной улице шел рыжеватый крепкий блондин, а с ним девушка, его будущая жена (верхний угол полотна занимало солнце).

Они шли. За изгородями распускались подсолнухи, в каждом сидело по солнцу.

Любовь, молодость, солнце, летающие воробьи — все написал Горшков, все было на месте. Даже написаны подсолнухи с мускулистыми шеями, огород с просвеченными насквозь растениями. И с натурой ему повезло — был сосед Лукьянов, была девушка, невеста его.

Вначале картина двигалась подозрительно легко, а потом застопорилось: светозарность не давалась Горшкову.

— Что ты хочешь сказать картиной? — негодовал забредший к нему на огонек Птушко. — Где светозарность?

Птушко был прав, Горшков понимал это.

— Твоя картина должна брызгать светом, — внушал Птушко. — Бить в глаза, жечь душу. Иначе это просто милый сюжетец. Но таких красок еще не придумали, за ними тебе к солнцу надо лететь, на ракете. Хо-хо! Где светозарность? Где лозунг: «Да живет прекрасная окраина»?

— Что делать?

— Схитри.

Птушко зашел к Горшкову из мастерской, где наблюдал оттенки металла. От него пахло железной гарью.

— Преодолей себя! — приказывал Птушко. — Бери пример: я привязан к благам жизни, но для работы отрешился от них. Я обычен, но стану гениальным, клеймя твою возлюбленную окраину. Я крикну: она мешает быть нашему городу прекрасным! Скажу: «Она уходит, туда ей и дорога». Шепну: «Мы создаем другую, нашу, человеческую природу». А тебе я советую переписать

картину. Хочешь дать свет? Дай его иллюзию, сопоставив белизну цинковых белил с чернотой сажи. И картина засветится фантастическим светом.

— Не могу, — стонал Горшков. — Я вижу только обычный свет, люблю обычное: людей, дома. Фантастика холодна.

— Пойдем-ка, я покажу тебе свою работу!

Он привел Горшкова к себе, отомкнул дверь.

— Но голова, но зрение не выдержат так! — воскликнул Горшков в ужасе. — Ты убиваешь себя!

— Эх, милый, кому дело до наших голов. Искусство... Оно безжалостно.

— Я не смогу так.

— Что и требовалось доказать. Пойдем-ка пить чай, — звал Птушко. Он внушал Горшкову, что ждет от него качественный пейзаж. И только.

Брызгали светом автомобильные фары, шла ночь.

— Ночь-то... — вздыхал Птушко. — Черный бархат.

14

Горшков долго ходил от калитки к дому и обратно — шаткой походкой.

Да, Птушко писал необычно, ставить рядом их картины нельзя. А ведь решили дать их на одну выставку.

Да, Птушко сказал на холсте все, что хотел, а он не может...

В следующие дни Горшков ставил опыты с краской. Он похудел, одичал и днями торчал в огороде, пытался зарисовать светозарность. И видел, что может дать только эффекты летнего солнца. А солнечный свет?..

15

Однажды Горшкова охватила работа — до восторга, до поднявшихся дыбом волос. Он вынес мольберт и картину на улицу и работал там.

Самоотверженный сосед с невестой (он ухаживал за ней с прошлой осени) костенели в неподвижности.

Горшков, работая, все поглядывал на солнце. И вдруг крикнул ему:

— Слепишь меня? Да?

Борода его ощетинилась, мороз прошел по коже.

— Была не была! — закричал Горшков.

Он выбрал чистую кисть, шагнул к солнечным растениям и смахнул с подсолнуха сияние. Оно исчезло с растения и вспыхнуло на конце кисти, и Горшков перенес его, как бабочку, и осторожно посадил на картину.

Он забегал — сначала перенес огоньки солнечного света с растений. Осмелев, взялся за людей.

Он принес из дома чистые, сухие кисти, толстый пучок, и стал ими обирать сияние с позирующих ему людей. Те замерли, одеревянев от страха, а он водил кистью по их лицам, плечам, рукам. И видел, что они тускнеют в ярком солнце дня.

Видел — разгорается полотно.

— Эх, до облаков не подскочишь, — хищно заметил Горшков и собрал кисти. Заорав «спасибо», он схватил холст, опрокинув мольберт, и убежал в дом. Бежал не к двери, а отчего-то прямо в окно. Он бы порвал и испортил картину, да жена вовремя увидела его. Крикнула:

— Куда тебя несет!

Горшков остановился. Жена смеялась над ним.

— Доработался, поздравляю.

— Но я не вижу двери, — сказал он. — Все так черно.

Жена вышла из дома. И за руку увела Горшкова в дом.

В комнате, взяв картину из его рук, она зажмурилась — так светились краски.

— Тебе все же удалось! — воскликнула она. И по-

глядела в окно — там серые, будто фотографии любителя, торчали фигуры их молодых соседей. Те с недоумением и ужасом разглядывали друг друга.

Она взглянула на мужа: глаза Горшкова тоже глядели в окно, но прямо на солнце. Будто стеклянные.

— Ты? — спросила жена. — Ты... не видишь?

— Да, все черно, будто картина Птушко.

— Значит, ты потерял зрение, — тихо сказала жена.

— Похоже! — ответил он. — Я сжег сетчатку. Но картина получилась?.. А?..

— Она замечательна!

— Теперь все увидят, как хороша окраина. Авось и не тронут ее. Я победил.

— Я знала, я знала, что этим кончится! — закричала жена.

— Да замолчи ты. Картина светится?

— Светится...

— Ну и лады, — сказал Горшков, ища рукой стул. — Она греет? — спросил он погодя.

— Греет.

— Так веди меня к врачам.

16

В больнице Горшков пролежал до ноября месяца и был выпущен с запретом глядеть на солнце и выходить на улицу без плотных темных очков.

— А дома? — спросил он. — Тоже в очках?

— Дома носите дымчатые очки.

— И надолго это? — спросил Горшков врача.

— Минимум шесть месяцев, — отвечал тот. — И мы не ручаемся за ваше возвращение к искусству.

— Значит, не вернусь?

— Природа творит чудеса.

— Спасибо и на том, — сказал Горшков.

...Жена вела его улицами и подробно говорила, что

приходили товарищи из отборочной комиссии. Они смотрели картину и дивились пронзительной силе ее красок. Картину они берут на выставку, и уже есть желавшие купить ее, приходили из музея.

17

На выставке были «шумные» две работы — Горшкова и Птушко. Комиссия, устав гадать, чья картина лучше, сначала повесила их в разных местах, подальше друг от друга.

В первом выставочном зале повесили картину Горшкова, освещавшую все. Птушко висел в третьем выставочном зале, большом, только в нем картина и могла поместиться.

Но походили-походили члены выставкома и перевесили Горшкова в средний зал. Так, путем многих переносов картины, к удивлению всех, оказались рядом.

Пришел Птушко, посмотрел и промолчал.

Пришел Горшков и прирос к картине Птушко. Глядеть на нее было сладко его обожженным глазам: такая черная. Горшков прочитал все мысли Птушко о космосе и городе, о человеке и окраине, с громадной ловкостью вписанные в каждом штрихе.

— Вот это работа! — сказал Горшков. — А ум!..

Но лишь случай помог узнать художникам мнение Птушко.

Кутин, председатель правления, возвращался домой с заседания.

Была зимняя ночь — ни светлая, ни темная, а как негрунтованный холст. Проходя мимо выставочного зала (сообщающегося, между прочим, с мастерскими стариков художников), он увидел странное сияние. Пожар?.. Нет, светит ровно. Тогда он вспомнил сказки о картине Горшкова. Что она-де не прост

феноменально передает солнечный свет, а сама излучает его.

Словом, бред.

— Проверим, — сказал он и подошел к окну. Приподнялся на цыпочки и взглянул. С улицы он увидел в промежуток штор только две картины в выставочном зале.

На одной, весь в летнем солнце, шел зеленой улицей молодой парень с молодой девушкой и прямиком к солнцу.

— Светит... Светит!!

Председатель вздрогнул, протер глаза, не веря им. Посмотрел — да, идут молодые люди, а им светит солнце, и впереди ждет такое счастье!

— Необыкновенно, — прошептал Кутин. — Умри, Горшков, так больше не напишешь! Но это что?

Он явственно разглядел — свет от картины Горшкова падал на картину Птушко. На громадном полотне поднимался дом — символ сил человека, направленных к тому, чтобы все взять и унести к себе.

— Своеобразно, гм, гм...

И все же эта картина показалась ему лишь громадным фокусом трудолюбивого терпения.

Но кто это? — Он увидел человека, крадущегося по выставочному залу. Как злоумышленник смог попасть сюда? С какой целью?

Председатель, кося глазом в поисках милиционера, сквозь стекло наблюдал за человеком и вдруг узнал Птушко. Тот подошел к картине Горшкова и долго смотрел, качая головой. Вот осторожно протянул к ней руку и отдернул. Подул на палец.

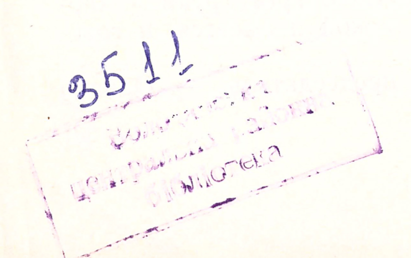
Председателю хотелось крикнуть: «Не трожь!», но он молчал и смотрел, как Птушко греет руки у картины, ловит ее свет руками, щекой и смеется, и говорит что-то.

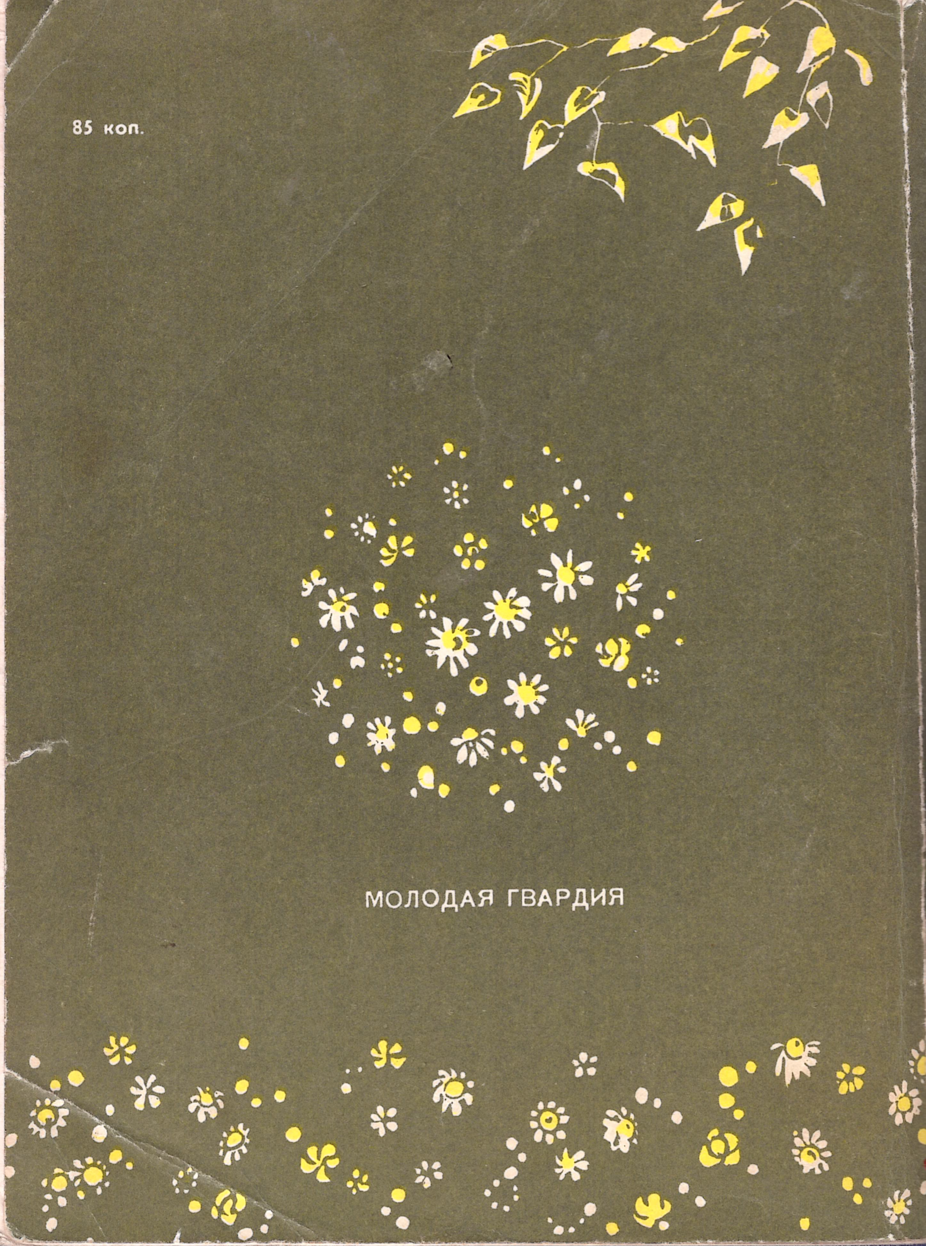
— Во дает! — изумился председатель. — Однако

как он здесь оказался? Понимаю, прошел из мастерских, днем не будешь такое выкидывать.

Кутин рассматривал Птушко, думая, стучать ему в окно или не стоит? Так и ушел не решась.

— Настоящее искусство! — рассуждал вслух Кутин. — Ради него стоит слепнуть, как Горшков, и творить ночные глупости, как Птушко.




85 коп.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


НИВЛЯНСКИЙ БЫК
А. ЯКУБОВСКИЙ